

2/2010

Начало века

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

2



2010

НАЧАЛО ВЕКА 2010/2

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:
Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:
Александр КАЗАРКИН
Борис КЛИМЫЧЕВ
Вениамин КОЛЫХАЛОВ
Валерий МАРКОВ
Валерий СЕРДЮК
Валентин РЕШЕТЬКО
Александр ЦЫГАНКОВ
Сергей ЯКОВЛЕВ

Адрес редакции:
634069, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369,
e-mail: skar50@yandex.ru

**Электронная версия
журнала:**
<http://www.lib.tomsk.ru>
(электронная библиотека)

При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Начало века»
обязательна.
Мнения авторов
не обязательно совпадают
с мнением редакции.

На обложке: картина
художника **Сергея Лазарева**

Журнал выходит
при поддержке
Администрации Томской
области

В НОМЕРЕ:

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сергей СМИРНОВ.
День первый – день последний 2

ГОСТЬ НОМЕРА

Беседа с Ниной Барабанщиковой 6

ПРОЗА

Борис КЛИМЫЧЕВ. Корона скифа.
Роман. Окончание 12

НАШИ ДАТЫ

К 100-летию
Александра Твардовского 105

ПРОЗА

Борис ИВАНОВИЧ.
Моя лерга. Фрагмент романа 113

ПОЭЗИЯ

Татьяна ЧЕТВЕРИКОВА.
Но этот дождь в холодном переулке... 132
Елена КЛИМЕНКО.
Оплетает ежевикой... 135
Елена КИРИЛЛОВА.
Мы полетим над лесом... 136

ПРОЗА

Ирина НЕКЛЮДОВА.
Рассказы о природе 140
Владимир ИЛЬИНЫХ.
Прощались два брата 154

ПОЭЗИЯ

Сергей ПОТЕХИН.
Рос я колосом в поле... 165
Леонид ПОПОВ.
Одуванчиков сор золотой... 167

ПРОЗА

Олег ЛАПШИН.
Рассказы 168
Валентина ЧУБКОВЕЦ.
Ботиночки 171

ПАМЯТЬ

Виктор ПОКРОВСКИЙ.
Всё, что людям оставлю...
Памяти Бориса Овценова 173

КРАЕВЕДЕНИЕ

Сергей ДАНИЛОВ.
Уничтоженная родина 185
Авторы номера 197

Сергей Смирнов

День первый – день последний

*Из воспоминаний моей мамы
Марии Степановны Смирновой (Суминой)*

День рождения у меня 12 июня. В 1941 году я работала в школе в деревне Козловка Татарского района Новосибирской области, и на свой день рождения приехать к маме в Татарск или, как мы называли этот город, Татарку, не могла – занималась ремонтом деревенской школы, подготовкой к новому (41–42-му) учебному году. И только 21 июня, в субботу, смогла вернуться в город.

День рождения мы справляли с подружками, в воскресенье. 22 июня пришли в гости подружки – молодые учительницы Люба Павлова, Надя Крайнова, Зина Черноусова – всего семеро девчат. Сели за стол, выпили ликеру, поем песни. Вдруг, было 10 часов утра, по радио голос Левитана: «...Гитлеровские войска без объявления войны бомбили города Киев, Житомир...». А мы не очень-то испугались – дальше поем. Вдруг мама двери открывает, плачет и говорит (она хохлушка, родилась на Украине, выдали замуж насильно, за старого мужа, тот и увез ее в Сибирь):

– Чи вы сдурили? Такэ горе, а вы спиваетэ!..

Мы притихли, тихо допили ликер и тихо разошлись.

А на другой день старшего брата Ваню призвали на фронт (он уже отслужил действительную и работал в банке инспектором). Сестра Анастасия прислала телеграмму из Ташкента: взяли в армию ее мужа Митю, она осталась одна, беременная, хочет вернуться домой.

Мы с роднёй посоветовались и решили, что надо мне ехать в Ташкент, за сестрой. Пришли на вокзал (Татарка – станция крупная, узловая), а на поездах – народу! Все, кто мог, кинулись возвращаться, люди были на крышах, на ступеньках, ехали в тамбурах...

Мне было семнадцать лет. Приехала в Ташкент, вышла – батюшки, кругом одни узбеки, спросить не у кого. Вдруг ко мне подбегает узбечка, дергает за руку, хватается за чемодан и кричит:

– Ешь хлеб? Ешь хлеб! Ешь хлеб!..

Я – в слезы, вырываю чемодан, тут прохожий остановился, русский. Узнал, в чем дело, – рассмеялся:

– Иди с нею, это – хозяйка квартиры, где твоя сестра живет!

Народ в Ташкенте гостеприимный. Провожали нас с сестрой хорошо, надавали продуктов на дорогу. На вокзале – народу, все бегут, лезут в вагоны, а тут еще по радио сообщают, что такие-то города захвачены фашистами, немцы быстро наступают... Шум, гвалт, хозяйка-узбечка сует нам арбуз, плачет и все повторяет: «Ешь хлеб! Ешь хлеб!..» – она по-русски только эти слова и знала.

Вернулись в Татарку. И стало окончательно ясно: все, хорошая жизнь

кончилась. Младшего брата Колю (ему было только 14 лет) взяли на работу в Новосибирск, на военный завод. Он иногда приезжал домой – под вагоном, в «собачьем ящике».

Анастасия родила мертвого ребенка.

Потом мы с ней поговорили, и пошли в военкомат, проситься на фронт. Тасю сразу взяли – бухгалтером в воинскую часть, а мне велели через год приходиться...

Пришла через год, когда 18 исполнилось. Мама со мной – плачет. А в военкомате говорят: «Не берем. У вас – бронь». Так и вернулись домой со слезами. Я – от горя, мама – от радости.

Работала в школе, вела историю в 5–7-х классах, а историю не любила. Посылали на фронт посылки – с вязаными носками, рукавицами. И письма писали бойцам, чтобы дух поддержать. Так вот, по фронтовой переписке, я и с будущим мужем-краснофлотцем познакомилась. Кстати, письма писали под копирку – сразу по пять.

Летом на три месяца нас с учениками (по 12-13 лет) посылали на работу в колхоз. Я одна, а учеников тридцать. Некоторые из них не потерялись, один и сейчас мне письма пишет – из-за границы, из Латвии. Он старик уже, и плохо ему там.

Мы заготовливали дрова: в лесу пилили деревья, на быках (лошади заняты были, тоже «ковали победу») возили. Работали в поле, иногда собирали малину в саду (это, конечно, был праздник). Жили в школе. Нарвем, бывало, травы, настелем в классе и спим вповалку. Мыться ходили в деревенскую баньку – договаривались с хозяйками. Мылись, стирали одежду в щёлоке, а поскольку сменной одежды не было, надевали мокрое на себя. Кормили нас как придется: хлеб да просянка. А хлеб черный, невкусный и того не вволю – делила на всех, по кусочку. Однажды такой случай был: поужинали, легли спать. Я пересчитала – Оли Меклухиной нет. Вышла на крыльцо, а темно уже, – не знаю, что делать. Села и плачу. Вдруг слышу – шорох какой-то. Я за угол. Смотрю – стоит Оля и тоже плачет. Оказывается, боялась – не шла. Думала, попадет от меня. А за что? За то, что хотела с колхозного поля огурцов наворовать. Сидела – ждала, пока сторож уйдет. А сторож-старик ее заметил и поймал. Спрашивает – чего, мол, хотела? Она говорит: «Огурцов!». Старик ей: «Ну, бери». А она как заплачет: «Дак мне 31 огурец надо!»... В общем, нарвали со стариком огурцов – Ольга их за пазухой принесла. Ровно 31. Утром на завтрак каждому досталось...

Сейчас вспоминаю – очень трудно было, особенно в первые годы. Еды не было, одежды не было. В домах теснота – очень много эвакуированных прибыло. И всем ведь нашлись и угол, и работа... А сейчас гляну на улицу – столько бездомных... Почему так жизнь изменилась? Или это люди изменились?..

Фашисты нашим солдатам передышки не давали, а мы, в тылу, – себе. После Сталинграда легче стало. Нам в школу радиолу из райцентра прислали. Это для нас, ничего не видавших, кроме репродуктора и патефона, была диковинка. Стали после уроков оставаться, петь, плясать. Конец войны ближе – и люди веселей.

9 мая, когда объявили о безоговорочной капитуляции Германии, ко

мне в пять утра прибежали учителя и ученики. Кто в чем, некоторые даже в ночных рубашках. Нам шелковые сорочки выдавали по талонам, мы их носили вместо сарафанов... Ну вот, обнимались, целовались. Принесли в школу все, что у кого было, а директор школы Любовь Никитична Маслакова (не знаю, жива ли она сейчас) принесла... живого петуха. Самогонки достали – разбудили деда, что по соседству жил. А он глухой – ничего понять не может. Мы сами в погреб к нему полезли, достали что-то мутное...

В тот день уроков в школе не было. А на деревенской площади митинг устроили. Так радовались – кто-то к бронзовому Пушкину целоваться полез! А бюст высоко стоял, без лестницы вроде и не достанешь, – нет, достали!..

И началась мирная жизнь. Счастливая. Нет, конечно, по-всякому было. Разной жизнь была. Но и счастливой – тоже. Точно.

ВОЙНА. ПИСЬМА НИОТКУДА

В самом начале войны, в июле 41-го, мы с подругой Шурой Орловой пошли в военкомат, проситься на фронт. Шуру взяли санинструктором, а мне сказали: «Вырастешь – приходи». Мне еще 18 лет не было.

У Шуры была старенькая мать, 76 лет ей было. Младший брат Шуры Олег уже был на фронте, так что мама оставалась одна. Прощаясь с Шурой, я обещала, что буду заботиться о её маме.

А еще через месяц на Шуру пришла «похоронка» – погибла при бомбежке эшелона, шедшего на фронт. «Похоронка» пришла на мой адрес – так мы с Шурой условились, чтобы она письма писала через меня: мама была неграмотной.

Ну, и что мне с этой «похоронкой» делать? Пошла к маме Шуры, на улицу Крестьянскую. Подошла к избе, села на лавочку... Зайти и правду сказать – не могу, боюсь. Думала-думала – и придумала от имени Шуры письмо написать.

Вернулась домой, написала коротенькое послание «с фронта», и пришла обратно. Мама обрадовалась, я ей письмо прочитала, поговорили, и я ушла.

И так продолжалось три года. Письма я уже прямо на лавочке писала. Написала – стучусь в дверь: письмо пришло! К тому же дома писать было некогда – весь день на работе, ночью, по осени, перелопачивали зерно в зерносушилке; зимой обходила дворы, людей на заём подписывать. А лето мы с моими учениками (7 и 8 классы) работали в колхозе.

Через три года после первого «письма» мать Шуры умерла. Вернулся с фронта по ранению Олег, и я не выдержала – рассказала ему про письма.

Он всё понял.

Только вот сейчас вспомнить уже не могу, о чем я в тех письмах писала. Словно темное пятно в памяти.

ВОЙНА. ПОСЫЛКИ С ФРОНТА

Мы постоянно посылали посылки на фронт. Вся страна посылала, и мы – что могли. Вязаные носки, варежки, самодельные кисеты, платки... А из чего было шить и вязать? Клубочки шерсти собирали всем миром, вязанье разноцветным получалось. На кисеты и платки сначала все свои скатерти порезали. Потом директор школы, где я работала, Любовь Никитична Маслакова, предложила: «Давайте снимем шторы в актовом зале!». Голубые шторы, красивые. Сняли, порезали, подрубили по краям, – много платочков вышло. На каждом разные имена мужские вышили.

Как-то сидим, шьем, и вдруг входит директор соседней школы Виктор Васильевич Зарубин (а мы свое шитье от всех прятали), увидел, кричит:

– Что вы делаете?

Мы сознались, конечно. Зарубин засмеялся:

– Молодцы же вы, женщины!

И в своей школе тоже организовал «пошивочную мастерскую» из штор.

Однажды мы узнали, что на вокзальной почтовой сортировке наши посылки кто-то берет, обратный адрес переписывает, и отправляет. Тогда ведь каждая организация должна была посылки на фронт слать, и вот кто-то схитрить решил. Нам не жалко – всё равно на фронт, но обидно.

И вот мы с Марией Филимоновной Петренко – подругой моей, тоже учительницей, – решили сами посылки в Омск отвозить, и самим в почтовый вагон класть. Так и стали делать. Садись ночью на поезд... Да не садись, – вставали боком на приступочку почтового вагона и так, стоя, и ехали несколько часов. Омск – первая от нас остановка. Там соскакивали с подножки и ждали, когда омские почтовики начнут свою почту загружать, – тут мы и свои посылки подкладывали. И – обратно, домой, на любом проходящем товарняке: надо было успеть к урокам. А поезда в те времена медленно шли: когда 4 часа, а когда и все 6 до нашей станции Татарской. Да и посылок было много – по 20 штук. Бывало, что не успевали тетради проверить или к уроку подготовиться, – так подменяли друг друга: одна урок ведет, другая домой бежит тетрадки проверить.

Так вот и помогали бить врага.

Но забыли нынче обо всём, и кто старое помнит? Мария Филимонова жива еще, но тоже болеет сильно. Переписываемся всё реже: у обоих руки трясутся от старости и болезней.

1 декабря 2004 г.

ЮБИЛЕЙ ПУШКИНКИ

В мае этого года в культурной жизни Томска два значительных события. Здесь пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс. И Томск объявлен библиотечной столицей России-2010. Наверное, впервые в культурной жизни области состоится мероприятие такого уровня.



Это съезд библиотекарей, книгоиздателей, распространителей, людей, связанных с информационными технологиями. Одновременно с конгрессом Российской библиотечной ассоциации (РБА) в библиотеке будет проходить 11-я выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг. В ней примут участие издатели, библиотекари Москвы, Петербурга, других российских регионов. Наверняка достойно представят свою продукцию и томские издательства, такие как «Красное знамя», «Gala Press», «D-Print», издательство ТГУ и другие.

А Томской областной универсальной научной библиотеке имени А.С.Пушкина, которая принимает гостей, исполняется 180 лет. Вообще-то Губернская публичная библиотека была основана в ноябре 1830-го, но решено объединить эти два неординарных события.

С директором библиотеки (Пушкинки, как зовут её читатели) **Ниной Михайловной Барабанщиковой** беседует соредатор журнала «Начало века» **Владимир Крюков**.

В.К. Всякий юбилей заставляет оглянуться назад, на пройденный путь ...

Н.Б. Конечно, всякий юбилей – подведение итогов. Мы пролистываем страницы истории, а история нашей библиотеки трудная. Десятки раз она переезжала, теряла книги, читателей, традиции. И снова возрождалась. За моё директорство переезжали шесть раз. Наконец имеем свое здание, что позволило создать нормальные условия и для работы, и для читателя. А скоро получаем пристройку под фондохранилище – это большое дело.

В.К. Что изменилось, что осталось неизменным в содержании и качестве работы Пушкинки?

Н.Б. Что изменилось за это время? Главное – приход новых современных информационных технологий. Это уже не то место, где часами, днями, неделями люди сидят в читальных залах. С 1994 года библиотека ведет электронный каталог. Он представлен в интернете, можно, не выходя из дома, узнать, есть книга в библиотеке или нет. Но сегодня и этого недостаточно. Народ требует полный текст. И библиотека с этим так же успешно начала справляться. Создается электронная библиоте-

ка. Четкая позиция нашей публичной библиотеки: мы должны представлять все информационные отцифрованные ресурсы в свободном доступе. Это отличает нас от других библиотек. В основном эти ресурсы носят краеведческий характер. Если бы не 4-я часть Гражданского кодекса о защите интеллектуальной собственности, которая ограничивает возможности использования текстов интернета, их было бы больше. Но закон есть закон.

Возможности библиотеки увеличились, у нас два интернет-класса. К моему счастью и, полагаю, к счастью наших читателей, интернет-услуги мы оказываем бесплатно. Это нелегко. Фактически во всех регионах взимается плата.

Богатые к нам не ходят, здесь больше бывают люди среднего достатка, много пенсионеров, которые приходят читать газеты. Вы знаете, как финансируются бесплатные услуги в стране. Так что качество работы пока нас не совсем устраивает. Однако стараемся держать достойный уровень.

Неизменно то, что библиотека остается интеллектуальным центром, где всегда собирались интересные люди. Библиотека притягивает самых разных людей разных взглядов, но они встречаются именно здесь – это пенсионеры, которые изучают интернет, это студенты, которые проводят интеллектуальные литературные балы, это молодые поэты, прозаики. Библиотека всем рада. Мы стараемся примирить тех, кто в ссоре, ничего не навязываем, мы за свободу высказываний. Поэтому иногда бывает нелегко.

Главное: у нас много друзей. И те проекты, которые мы осуществили, – это продукты хорошего качества, ими можно гордиться: «Томск и томичи в истории российского парламентаризма», «Памятники архитектуры Томска», это и мемориальные доски, и серия книг «Жизнь замечательных томичей».

В.К. Что бы Вы отметили как главные достижения Пушкинки?

Н.Б. Библиотека – многократный победитель всероссийских конкурсов в области информационных технологий. Был премирован наш сайт по краеведению. Недавно в конкурсе по электронной библиотеке, где приняли участие 170 библиотек страны, отмечены дипломами четыре российские библиотеки (и мы в их числе). За проект «Томская книга» мы удостоены диплома и первого места в общероссийском конкурсе библиотечных идей и проектов в области развития чтения. В прошлом году заняли второе место в конкурсе «Лучший отечественный интернет-проект».

Именно благодаря этим успехам мы заполучили в 2009 году в библиотеку больших отечественных писателей, лауреатов премии «Большая книга» Алексея Варламова, Александра Кабакова, Илью Бояшова. Приятно, что наш Владимир Костин был в этой компании как финалист конкурса «Большая книга» 2008 года. Возможности встречаться с писателями такого уровня сегодня практически нет. И вот такой шанс поговорить, задать вопросы. Для нас важно не замыкаться в своей провин-

циальной среде. Подобные встречи полезны всем: и читателям, и писателям. И мы надеемся, что такие встречи станут традицией.

На конкурс «Чеховский дар» мы отправили свою книгу «Чехов и Томск». Этот проект выстрадан нами, мы сами это сделали, издали на то, что заработали. Если говорить о рекламе, широко представить его не было возможности: везде надо платить. Выйти на городские СМИ бесплатно практически невозможно. Материалы о культурной жизни тоже бесплатно не проходят. И власть не может нам помочь. Значит, по-просту нет внятной культурной политики на местном и региональном уровне? Хорошее оправдание у газетчиков: «нет информационного повода». Чехов – не информационный повод. А клубничка, и чернуха, и скандал – тот самый повод.

В.К. Вот только хотел спросить, что бы Вы назвали сегодня главными трудностями в работе, а Вы об этом уже заговорили...

Н.Б. Я всегда старалась оградить библиотеку от масскультуры. Нас активно призывают к новым формам работы. Но мы не должны заниматься плясками и танцами, у нас другая функция. То, что библиотека создает интеллектуальный проект, выполняет справку, важную для работы читателя, девизом и лозунгом не выступишь. Библиотека создана, чтобы быть полезной **каждому** гражданину. А то, что надо отчитываться массовыми мероприятиями, – плохо. Не надо из библиотеки делать балаган. Новые формы работы, конечно, нужны. Но здесь важны чувство меры, равновесие. Литературный бал гениев или конкурс «Король томской поэзии» – это было потребностью юной аудитории, а не принуждением.

Есть официальные, дежурные мероприятия – их нужно проводить. И наши мероприятия бывают разные – и массовые, и камерные. Но лучше, если люди придут по велению души. Однако политика нынче такая – согнать зал полнее.

В.К. Любимый вопрос всяких «круглых столов» с деятелями культуры – художник и власть. И я хочу его поставить. Итак, библиотека и власть: вопрос взаимопонимания.

Н.Б. Что ж, можно сразу сказать: не всегда мы понимаем друг друга. Понятно, власть, вкладывая деньги в учреждение культуры, требует отдачи. Но не всегда статистический показатель характеризует работу. Эти прописные истины приходится доказывать. И еще: среди управляющих культурой много непрофессиональных людей. Это бич нашего времени, когда дают оценку, не понимая специфики нашей работы. Не зная тонкостей. Не имея на это права. Не имея должного уровня культуры. Но, слава Богу, в Томске очень много делается **вопреки**.

Я часто вспоминаю Моисея Мироновича Мучника, человека, очень много сделавшего для культуры. Человека, который высоко держал планку культуры и мнение которого для меня всегда было авторитетным. Таких людей, к сожалению, становится всё меньше.

Всегда с благодарностью вспоминаю Зинаиду Ивановну Солопову. Она первая в своё время поставила вопрос о передаче библиотеке зда-

ния Дома политического просвещения и из-за этого пострадала. Но она нас не подставляла, не предавала, хотя и получали мы от неё по первое число. Просто она была умным начальником и порядочным человеком.

Книгу «Очерки истории библиотеки», которая вскоре выходит, мы посвящаем памяти Лили Карловны Кабанковой. Она отвечала за культуру в то время, когда в стране была разруха, не платили зарплату, случился дефолт. И, тем не менее, она смотрела вперед, видела перспективу. Погибал театр «Скоморох», его руководитель Роман Виндерман был в отчаянии, Лили Карловна пошла на конфликт с большими чиновниками. Но теперь у театра есть дом. Шла борьба за помещение между нами и музыкальным училищем, мы не давали друг другу жить и работать. И она добилась для нас отдельных зданий. Это была такая преданность родному городу и культуре, какой я не встречала больше среди руководителей этого ранга.

Никогда не забуду, как ряд депутатов выступал против того, чтобы нам выбираться из гиблого для библиотеки помещения на проспекте Ленина, 108. И единственный человек, который тогда сказал, что библиотека погибает и её надо спасать, был Виктор Мельхиорович Кресс. И он же был за то, чтобы все помещения в сегодняшнем здании отдать нам.

Многие годы председатель областной Думы Борис Алексеевич Мальцев деятельно помогает библиотекам, поддерживает престиж нашей профессии. И эта помощь и поддержка так необходимы нам сегодня. У нас немало совместных проектов с Думой.

Борис Алексеевич владеет информацией о том, что происходит в библиотеках. Может просто прийти, посмотреть формуляры, узнать, что читают. Мальцев всегда бывает на фестивале «Томская книга», на различных конкурсах, других мероприятиях. Он всегда поздравляет нас с профессиональным праздником – Днём библиотек, который отмечается 27 мая. Вот с кем у нас есть понимание и контакты! Он и депутатов в округах призывает обращать внимание на библиотечные проблемы.

В.К. Еще один важный вопрос: библиотека и интеллигенция. Мы нужны друг другу? Может, в этом – взаимоспасение?

Н.М. Безусловно, в союзе библиотеки и интеллигенции – взаимоспасение. Потому мне очень больно видеть, как отъединяется, становится замкнутой системой наш славный университет. Он, то есть его преподаватели, во многом определяли уровень культуры, играли большую роль в культурной жизни города. Это давняя традиция. И создание нашей публичной библиотеки – во многом заслуга сотрудников университетской Научной библиотеки. Эта традиция, к сожалению, уходит.

Еще одна государственная проблема сегодня – падение интереса к чтению. И в её решении могут помочь те самые интеллигенты старой выучки.

В.К. Нина Михайловна, в этом году и Вы отметили свой юбилей. Ваше имя неотделимо от истории и жизни Пушкинки. Потому эту часть разговора я называю «судьба Барабанщиковой» (да простят мне каламбур читатели Гайдара). И прошу Вас рассказать о себе.

Н.Б. Что касается меня, мне крупно повезло. Не часто бывает, когда человек достигает в жизни того, что хотел, имею в виду выбор профессии. Мама и отец хотели, чтобы я была учителем и пошла в пединститут. Но я сразу категорично сказала, что это не моё, и поехала из маленькой деревни в институт культуры, имея слабое представление о том, что это такое. Просто хотела работать в библиотеке. Уехала в Улан-Удэ, поступила. Потом случайно попала в Томск. Мне сразу показалось, что здесь живут странные люди. Город деревянный, малоухоженный, но попробуй-ка скажи что-нибудь о Томске плохо – как коршуны налетают. Этот беспрецедентный патриотизм шокировал, но спустя три года я сама стала такая. Никто не смеет ругать наш город – он самый лучший. Хотя сами мы его ругаем, но он любимый.

У меня одна запись в трудовой книжке. 34 года отработала в этой библиотеке. В 1989 году собрание коллектива выбрало меня директором. И началась борьба за выживание, за здание, потом за информатизацию. В библиотеке всегда была команда, было много хороших людей. Пришел Эдуард Кондратьевич Майданюк, внёс свою ноту краеведения, мы теперь так же любим его старинные открытки. Появился клуб «Старый Томск», клуб «Библиофил». Пришел Женя Кольчужкин, появилось издательство «Водолей», открывшее нам культуру Серебряного века. Помните книгу Никиты Струве «Осип Манделъштам» – первую ласточку этого издательства? Сейчас пришел Владимир Михайлович Костин, привнес что-то свое, интересное. В культуре надо смотреть на личность. Надо помогать ей раскрыться.

Библиотека позволила мне встретиться с таким людьми как Никита Струве, Поль Морель, наши российские писатели. Владимир Игоревич Суздальский. Ни званий не было у человека, ни должности. Я помню, как он приходил в библиотеку на рождественские встречи, читал стихи, импровизировал... Что он был для Томска? Явление. Помните, как был заполнен переулок Батенькова в день его похорон? Холод нипочем, все шли с цветами. Он был просто продавцом книг. Но там собирались все. Это был Олимп томской культуры.

А Роман Михайлович Виндерман, Сергей Александрович Королёв, Виктор Дмитриевич Колупаев! О таких людях надо рассказывать, чтобы помнили. И в этом направлении библиотека тоже работает.

В.К. О чем мечтает Нина Михайловна Барабанщикова?

Н.Б. Я хотела бы, чтобы библиотека стала тем местом, куда (как в магазин Суздальского) люди стремились бы приходить по потребности, по душевному побуждению. Чтобы круг томской интеллигенции числил это здание своим. Чтобы это было тем центром притяжения, каким для старшего поколения был тот книжный магазин, который сегодня называется «Букинист Суздальский». Чтобы люди читали здесь стихи и пели. И вообще, чтобы ценили книгу и любили читать.

В.К. Несколько слов о предстоящем в мае Большом Съезде.

Н.Б. Форум – это Съезд профессионалов: библиотекарей, издателей, людей, связанных с книгой, которые знают нынешние «боле-

вые точки». Они постараются найти решение существующих проблем, выработать политику в области библиотечного дела. Форум – это выставка, приезд интересных, значительных людей. Мы принимаем около одной тысячи гостей. Хотелось, чтобы они увидели наш город, узнали, полюбили. И, вернувшись, рассказали, что видели. Ведь это не только наши профессиональные и культурные дела, это – пиар города. Пусть огромная делегация Москвы увидит, что Россия не заканчивается Садовым кольцом. Когда мы в Вологде показывали виды города, по залу прошла волна восхищения, и люди говорили: «Мы обязательно приедем в ваш замечательный город».

Этот конгресс – главное событие в библиотечной жизни страны, тем более что конференция юбилейная – пятнадцатая. Томск не случайно назван библиотечной столицей России. Библиотекам города есть что показать, есть чем гордиться. Мы очень надеемся, что наш опыт и наши наработки будут интересны и полезны для профессионального сообщества.

В.К. Спасибо за искренний и содержательный рассказ. Успехов Вам и нашей любимой Пушкинке.

Борис Климычев

КОРОНА СКИФА

*Исторический приключенческий роман
Окончание*

23. СИБИРСКИЕ ПАЛЬМЫ

После Пасхи идет Светлая седмица. Снега рыхлеют на глазах, тают, мчатся ручьи, кричат пичуги, и каждый человек может влезть на любую колокольню и звонить в колокола – хоть взрослый, хоть ребенок.

И радость на сердце не остывает, старикам вспоминается прошлое, и светлые слезы застилают глаза, а молодые сердца стучат звонко, взволнованно. Девушки вглядываются в парней: он? не он? Парни думают о девушках. Весна. Ручьи. Всё оживает в природе, в сердцах, даже камни и те, кажется, оживают.

С грустью смотрел в эту весну в окошко Миша Зацкой. Матушка совсем слегла в постель с легочной болезнью. Денег не было. И взять было негде. Нынче Красная Горка! Радуница! К батюшке надо идти. Все проводят в этот день усопших родителей. А воздух на улицах благостный, говорят, уже первые вербы оделись пушком. А Мише и на улицу выйти не в чем!

Ах, сколько раз он бродил зимой возле гимназии в надежде увидеть Верочку. И видел несколько раз издалека, повзрослела, похорошела, прямо сказать, расцвела! Один раз с каким-то гимназистиком шла, и ревность иглой пронзила Мишино сердце. Но он подойти не мог, слова сказать не мог, стеснялся, обут-то в стоптанные, подшитые валенки. Ну, что это за кавалер, ей с таким и стоять-то рядом будет зазорно.

А как же теперь быть? Ботинки с дырами, правый – еще ничего, а в левом – две дыры, такие заметные. И носки купить не на что. Как быть?

Миша решил. Он взял банку с ваксой, щетку и стал «чернить» свои босые ноги. Навел глянec, обул ботинки, и их тоже принялся чернить ваксой и чистить. Потом посмотрел в зеркало. А что? Дыр и незаметно. Вроде бы и целы ботинки.

Блуза старая, но еще целая, брюки он аккуратно заштопал, так что и заплат не видно, отутюжил. Ничего, идти можно. Авось Верочка не заметит ничего.

И пошел медленно, закоулками весны, мимо домов, домишек, украшенных кружевами резьбы, металлическим литьем, витражами. Старый город, уютный, домашний, милый.

Все дыры в замшелых заборах знакомы, спрямлял путь.

Вот и забор кладбищенский. Оглядел свои ботинки. Выпачкались в глине. Главное, не заметила бы она, что он без носков, и дыра в ботинке.

Эх, а нищих-то сколько! Идущие к родителям томичи приносят освященные просфоры, в чашках рис, сваренный с изюмом, кагор. Угощают друг друга и нищим дают. Только у Миши ничего нет с собой.

В кладбищенской церкви, что была неподалеку от ворот, шла служба. Большая икона «Спас Ярое око», колышущиеся язычки свечей. И Миша купил и поставил свою свечку. В церкви пахло ладаном и вербой. Вышел на открытый воздух.

Священники служили литию возле могил. Были они все в белых пасхальных ризах, все старички, вида благолепного. Звенели цепочки кадильниц, и дым возносился к небу.

Возле ограды у памятных камней в праздничной форменной одежде стояли казаки, молились, поминали атаманов, и басами, густо пел казачий хор. В другом конце кладбища пели духовное семинаристы. Чернички-монахи ходили среди надгробий и зажигали угасшие лампы.

Изумительный день этот – Радуница! Несут блины, пасхальные яйца. Много нанесли к могилкам вербы и домашних цветов в горшках. Считается, что с рассвета этого дня до его заката души усопших возвращаются на землю к своим телам. Душа ведь пройдет и сквозь камень, как сквозь воздух. Ты скажи ей, что хочешь, она тебя услышит. Поплачься, побеседуй, станет легче. Поговори хотя бы о том времени, когда Христос всех воскресит, и все мы встретимся, и близкие, и далекие.

И людское песнопение, и трели птиц, тени скользят среди кустов и деревьев. Смерть, возрождение и надежда!

Миша прошел в те ряды, где была могилка отца. Первые, пушистые вербочки положил, постоял, склонив голову, про себя разговаривая с родителем. Прощения просил за неумелость свою в житейских делах, обещал исправиться, не огорчать маму. Обещал добиться успеха в жизни. Слышит ли его дорогой отец?

Глянул в сторону, где была могила Верочкиного родителя. Нет там Верочки. Люди идут и тут, и дальше, молодые, старые, говорят тихо, смотрят светло. А её нет.

И тревога, и нетерпение. И как-то стыдно быть одному, когда люди приходят семьями. Он прошел в старую часть кладбища, где не хоронили уже давно. Ходил, рассматривал надгробия.

Вот у входа в склеп два ангела, один черный, другой белый. Меж ними душа, юная девушка, молитвенно сложившая руки. У черного ангела в руках хартия с перечнем грехов усопшей, у белого – другая хартия, в которой говорится о добрых делах. Что перетянет? Душа трепещет от страха!

На некоторых могилах – распятый Христос в рост человека, чугунный, окрашенный сусальным золотом. Сверкает. Много чугунного литья, кое везут сюда из Касли, решетки, барельефы. Дверцы склепов со стеклами, тоже в сусальном золоте. Внутри – лампы, иконы тех святых, чьи имена носили при жизни усопшие.

Овальное стекло, ромбическое, блестящий металл, высеченные из гранита и мрамора венки. Статуя: ангел с раскрытой книгой. А вот из мрамора высечена прекрасная девушка, положившая головку на подушечку. Черты её фигуры грациозны и благородны. Это тоже на Урале заказывали. Но есть скульптура и с алтайских заводов.

Были здесь скульптурные композиции, часовенки с лампадками, портреты и барельефы. Были эпитафии в стихах и в прозе. И короткие, и

длинные. Были мудрые изречения и на русском и на французском языках, и по латыни написанные.

Звучала скорбь надгробия героя-полковника войны 1812 года Алексея Валгусова:

«Он в битвах шёл на смерть и вышел невредим,
Жить для родных хотел, и смерть его сразила.
Всевышний! Промысел твой непостижим!
Да будет он сирот прибежище и сила».

Миша знал, что стихи эти сочинил друг Пушкина, сын томского губернатора Илличевского. А вот на другом надгробии старая дама заявляла:

«Прохожий,
не топчи мой прах,
Я – дома,
Ты – в гостях».

А над могилой молодой дамы была такая надпись:

«Пусть ты ушла, я встречи жду,
В каком не ведаю году».

В нескольких шагах было обращение овдовевшей женщины:

«До свиданья там, твоя безутешная супруга».

И Миша подумал о том, как горько потерять любимого человека, о какая это непереносимая боль! Прожито много лет вместе, и вот друга нет! И это непоправимо! Недаром же в некоторых романах пишут сочинители про счастливых супругов так: «Они жили долго и умерли в один день...».

Пройдя еще несколько шагов, на одном из надгробий Миша нашел стихи своего гимназического учителя Сергиева. Учителя за глаза все называли Пашенькой, ибо таков был его газетный псевдоним. Теперь Миша узнал, что Сергиев публикуется не только в газетах, но и на кладбищенских памятниках. На свежем памятнике были такие грустные стихи:

«Блажен, кто краткий жизни срок
Свершил в терпенье, без роптанья,
Он чист и прав от дел своих,
С святыми горнего чертога
Навек вселится в лоно Бога».

Через какое-то время Миша нашел стихи учителя и на другом надгробии:

«Тревожной совести терзанья
Его не мутят мирный сон,
Как праведник почиет он...».

Невольно подумалось о том, что неисповедимы пути поэзии. Где и как западает она в сердца? Что оставляет в них? Миша тоже писал стихи, но у него пока не получалось так проникновенно, как у Сергиева.

И Миша еще раз вздохнул и глянул сквозь кусты – пришла ли Верочка? Ждать просто так было невыносимо. Он тихонько прошел в самую старую часть кладбища. В этой части было безлюдно. У людей, здесь лежавших, не осталось никого, кто мог бы навестить их. Кончилось православное кладбище приютом самоубийц, великих грешников.

А дальше шли кладбища католическое и старолютеранское. Чуть в стороне стояла высокая стена, в которую были вделаны затейливые ворота, на них была изображена звезда Давида. К еврейским могилкам вела странного вида аллея. Два ряда росших здесь сосен были специально подстрижены так, что походили на пальмы. Здесь вы как бы попадали на жаркую землю Палестины.

И совсем уж на отшибе было кладбище старообрядцев. Там, говорят, овраг обвалился и обнажил древние гробы-колоды, люди в них были залиты медом и не сгнили, только мед приобрел восковой цвет. Это был утраченный ныне древнерусский способ бальзамирования.

Миша вздохнул и побрел обратно. На одной из могил он увидел мужчину, похожего на диковинного зверя. Густые рыжие волосы были не только на голове его, но и на шее, и на лице, на щеках. Нет, не борода и усы, а волосы – сплошь. Меньше их было у глаз. Человек этот смотрел на Мишу, лежа на могилке и прижимаясь к ней своим заросшим ухом.

Заметив Мишин испуг, человек сказал:

– Не пугайтесь, я не зверочеловек, таким меня создали Бог и родители. Надоедает бриться, зарастаю, и волос такой, что парикмахеры брить отказываются, бритвы тотчас тупятся.

– Простудитесь! – невольно сказал Миша. – Земля холодная еще, сыро.

– Слушаю батюшку! – сказал человек. – Велит жениться, но я по складу души вечный холостяк. Вот он мне сейчас сказал, что вы человек такой же несчастливый, как и я.

– Но как же сказал? – спросил Миша.

– Очень просто, – ответил человек, – я в Радуницу могу слышать голоса из-под земли на любой могиле. Но в первую очередь я слушаю голоса батюшки и матушки.

– Разве это возможно? – спросил Миша.

– Не стану же я выдумывать? – пожал плечами волосатый. – Я слышу, приглушенно, конечно, я разбираю не слова, а целые фразы или, точнее, смысл того, что мне хотят сообщить. И это абсолютно точно. Хотите, вас научу? – спросил он, отряхивая глину с колен. Да! Я забыл вам предложить: Асинкрит Горин, дворянин.

Миша назвал себя, извинился, сказал, что его ждут. Он уже заметил, что пришла Верочка. Она сидела на скамеечке возле могилки своего отца. Он заробел, увидев её изящное пальтецо, муфту, шапочку, высокие коричневые ботинки. Невольно взглянул на свои ноги, покраснел: вдруг она заметит, что у него ботинок в дырах?

Асинкрит проследил за Мишиным взглядом, сказал:

– Понимаю. Надеюсь еще свидеться, и будьте счастливы.

Миша шел к Верочке медленно. Какая всё-таки ужасная жизнь! Миша, такой порядочный, вежливый, пишущий стихи, знающий эти-

кет, не может быть принят в хорошем обществе. Он – никто! У него даже костюма приличного нет. Но он молод! Ему хочется быть с девушкой, которая полюбила его.

Откуда-то из-за памятника с цветами в руках появилась мадам Сесилия Ронне. Пристроила цветы на могильном холмике и присела рядом с Верочкой.

Миша остановился. Верочка рассказывала ему про мадам. Но он с мадам незнаком, а теперь знакомиться неловко, он выглядит теперь так неприглядно!

Он отошел в тень, за памятники. Стоял, боясь шелохнуться, любовался издали Верочкой, сердце щемило.

Но вот мадам и Верочка встали, поклонились последний раз и тихо пошли по аллее. Мадам помахивала ярким зонтиком, предусмотрительно ею захваченным. И вдруг Миша заметил, что мадам на скамье оставила свою сумочку. Он быстро двинулся к скамейке, взял пропахшую тонкими французскими духами сумочку.

Миша спешил, не разбирая дороги. Догнать мадам и Верочку, вручить француженке сумочку, вот и будет повод для знакомства. Не мог же он оставить сумочку на скамье? Её бы тут же стащили.

Он дошел до ворот кладбища, посмотрел во все стороны, Сесилии Ронне и Верочки нигде не было. Миша догадался, что они наняли извозчика, вон их сколько собралось возле кладбищенских ворот! У него же денег на извозчика не было. К тому же неизвестно, в какую сторону они поехали. Миша не знал, где живет мадам Ронне. Но всё же сумочка дает ему повод встретиться с Верочкой. Будет ждать её возле гимназии.

Асинкрит Горин подошел к Мише, спросил:

– Сумочку взяли?

– Оставила француженка, мадам Ронне.

– Вы с ней знакомы?

– Нет, но...

– Никаких «но». Эту сумочку послал вам бог. Посмотрите-ка, сколько там бумажками и медяками?

– Вы шутите?

– Нисколько! Я видел эту сумочку сам, хотел её взять, ждал только, чтобы её владелица ушла подальше, а тут вы вмешались в дело. Я шел за вами по пятам. По справедливости мы должны поделить добычу пополам.

– Как можете говорить такое вы, дворянин!

– Да, я дворянин! Черт вас возьми! Я дворянин, я продрог и я хочу горячих щей с мясом. И чтобы водки дернуть! И потом – чай с баранками и сахаром. Тут на Петровке есть очень приличный трактир, я два дня не ел по-настоящему, черт бы вас взял!

Миша прижал сумочку к груди:

– Нет, нет, нет! Даже и не думайте! А то я «караул» закричу! Сегодня тут много полиции! Как можете вы? Я возвращу сумочку мадам Ронне. А если хотите поесть, идемте ко мне домой. Водки у нас нет, щей тоже, но чаем я вас напою.

Асинкрит сник и сказал покаянно:

– Не судите да не судимы будете. Я так обрадовался возможности хоть несколько дней пожить по-человечески, а тут вы с вашими принципами. У меня много волос и мало принципов. Я не умею и не люблю работать, а торговать мне зазорно. Наследства нет. Я живу как зверь. Я стал уставать от жизни.

Они шли по грязи, через весь город, к Верхней Елани, где обретался Миша Зацкой, в маленьком старом домике.

Матушка Миши последние дни совсем не вставала, он сам делал всё по хозяйству. Принес воды, залил в самовар. Засыпал в трубу самовара древесный уголь, затем нащипал сухой лучины, поджег, сунул туда же, принялся дуть. Через какое-то время вода в самоваре заклокотала. Миша поставил на стол цветастые чашки, заварной чайник со щепотью дешевого чая. В берестяном блюде лежали ржаные сухари.

– Сахара нет, – сказал Миша извиняющимся тоном, – но вот солонка, если макать сухари в соль и запивать чаем, то очень даже вкусно получается.

Асинкрит выпивал чашку за чашкой, волосатый его лоб покрылся испариной.

После чая новый знакомец сказал Мише:

– Вы с вашей честностью, конечно, большой оригинал в этом мире, но я сам оригинален, потому ценю всяких других оригиналов. Вот вам моя старая визитка. Я живу в собственном доме.

– Так чем же вы занимаете свое время? – спросил Миша.

– Мечтаю, – небрежно ответил беспечный Асинкрит.

24. «ОТРАДНЫЙ ПРИЮТ»

Несколько карет проследовало за город к бывшему урочищу татарского хана Басандая. Там прежде была дача покойного золотопромышленника Степана Ивановича Попова, прозванная им «отрадным приютом». И совсем не зря так прозвал он сие место.

Меж высоких утесов струилась и несла разноцветные камушки извилистая речушка Басандайка, выходили к ней по берегам белые и синие глины, галечные осыпи. По утесам вздымались шатры могучих елей и кедров, картину эту подсвечивали березки и осинки.

Природа напоминала величественный храм. Дышалось здесь легко и отрадно, шумели леса и ворковала река. Покойный Степан Иванович бы знаменит тем, что открыл в киргизских степях свинцовые, медные, и серебряные руды, поставил возле месторождений заводы. В Крымскую войну его заводы снабжали российскую армию свинцом.

На одном из утесов в поселке, именуемом Басандайкой, Степан Иванович построил красивую церковь. Он завещал похоронить себя под ней, что и было исполнено. Теперь дача Поповых пустовала.

И вот в первые теплые вешние дни прибыла сюда вереница карет. Из первой кареты вышли Роман Станиславович Шершпинский и человек со многими фамилиями, из другой кареты вышел Герман Густавович Лерхе, оглядывая окрестности, сказал, очаровательно улыбаясь:

– Действительно, прелестно. Этот ваш Попов открыл подлинную Аркадию для своего отдыха, великолепно!

Из других карет вышли Вилли Кроули с негром Махоней, представитель Будды Цадрабан Гатмада, повар-китаец Ван Бэй, глухонемой Пахом и восемь девиц, очень приятных на вид, очень юных, одетых по парижской моде и даже говорящих по-французски, они защебетали:

– Ах, шарман! Шарман!

Мужчины прошли к бывшей даче Попова. Шершпинский пояснил:

– Ныне этот дом купил Асташев, но бывает здесь редко, не ремонтирует и садовников не держит, старый скряга, всё пришло в запустение. Ну-ка, посмотрим, что там в доме?

Человек со многими фамилиями вынул из кармана набор отмычек и ловко отпер замок.

– Так я и знал! – воскликнул Шершпинский. – Мерзость и запустение. Гм... Отмычки! Вынесите вместе с Махоней и Пахомом на поляну столы и стулья, да протрите их хорошенько. Да вытаскивайте из карет припасы. Спустите шампанское в речку, пусть охлаждается. Ваня-Бей! Разводи костер, жарь цыплят.

– Цветочки! Кандыки! Ах, шарман! – восклицали девицы, бегая по полянам.

Вынесли из карет лукошки с живыми цыплятами. Безносый Пахом отрубал тесаком цыплятам головы, потрошил их и общипывал. А китаец мыл тушки, обмазывал острым соусом и нанизывал на вертела. Запахло жертвенным дымом жарившегося мяса. Пахом продолжал свою потрошительную работу. Вдруг какая-то быстрая тень камнем упала с небес, Пахом гундосо взвопил, потому что у него из рук был вырван цыпленок с отрубленной головой и умчался в небеса! Причем рука у Пахома кровила.

– Что это было? – удивился Лерхе.

Шершпинский сказал:

– Орел, ваше превосходительство! Мне говорили, что тут живут орлы. Вон там, на самом высоком утесе, на вершине стоит сосна, там гнездо. Говорят еще, что орлы эти кружат над заречными лугами, над борами и хватают добычу и на городских лужайках, где бродят куры.

– Девственный край! – заключил его превосходительство.

Стол составили рядом, в центре был установлен бочонок с коньяком с золотым краном. Из одной кареты вытащили несколько пальм в кадучках и поставили возле столов, под одной из пальм посадили живую обезьяну, привязанную цепочкой. Обезьяна корчила рожи и скакала, высоко подкидывая красный голый зад.

Махоня, Пахом и Ван Бэй, устали стол яствами, где жареные цыплята соседствовали с экзотическими устрицами и грецкими орехами. Возле столов были установлены четыре арфы. Шершпинский и человек со многими фамилиями принесли из карет ящик с венками из живых роз, закупленных в цветочном магазине Верхрадского. Все мужчины и девицы украсили свои головы этими венками.

Четыре девицы уселись возле арф и взяли первые звучные аккорды. Под эту музыку из золотого крана в стаканы струилась коньячная струя. Первый тост был провозглашен самим господином губернатором.

Сияя белыми зубами, набриолиненными волосами и крахмальной манишкой, Герман Густавович сказал:

– Господа! Мы проводим дни в бесчисленных заботах и трудах невероятных на благо отечества. Чтобы восстановить силы для дальнейших дел, нужна хотя бы краткая минута отдыха и забвения. Почему мы не можем отринуть всё на миг и вообразить себя жителями Древней Греции? Можем? Так давайте выпьем за древних греков, за их раскованность и любовь к жизни!

– Гатмада, ты можешь почувствовать себя древним греком? – воскликнул Герман Густавович, осушив свой бокал, и, видя, что Цадрабан Гатмада отстранил бокал с коньяком: – Не обижай, Гатмада!

Буддист на минуту оставил свой молитвенный барабанчик и выпил коньяк. Его раскосые глаза сделались от этого еще уже.

Тосты повторялись, коричневая влага из бочонка вновь и вновь наполняла сосуды. В это время на поляну вышел кучерявый с рожками Пан в козлиной шкуре, и заиграл на дудочке. Это был один из кучеров, ранее выучивший свою роль.

Солнце пригрело, поляна вся сияла в его лучах. Герман Густавович воскликнул:

– Господа, вы помните, как проходили пиры в Древней Греции? Я предлагаю одеться всем, как древние греки!

Тотчас Шершпинский раздал всем присутствующим по шелковой простыне. Он первый проворно скинул с себя все одежды, и обмотался простыней.

– Вот вам и первый грек! – весело вскричал Герман Густавович. – Ну-ка, гречанки!

Девицы, жеманясь и притворно конфузясь, скинули с себя всё французское и стали обматываться простынями, однако же так, чтобы места особо привлекательные для мужчин оставались незадрапированными.

Через минуту все были уже в белых накидках, из которых выглядывали их тела. Коньяк и солнце, и близость, доступность тел. Дерни за простыню, она и слетит. Первым не утерпел Шершпинский и сдернул простыню с одной из арфисток. И солнце стыдливо спряталось за тучи, возможно, что произошло затмение. И если бы кто-то поглядел с высоты птичьего полета, то увидел бы странное колыхание огромных белых крыльев. Или движение сугробов среди лета. Несчастливая обезьянка, находившаяся вблизи от места событий, занялась обычным обезьяньим непотребством.

Шершпинский дрыгнул ногой, опрокинул одну из арф, причем она свалилась на бритую голову Гатмады и загудела и басами, и высокими нотами, словно стадо быков врезалось в толпу детей. Гатмада что-то завопил по-басурмански.

Шершпинский вспомнил вдруг про господина губернатора. Ему он подsunул самую юную «гречанку». Но под белыми простынями в сумеречном свете все волки были серы.

Эту поездку было не так уж легко устроить. Губернатору надоели княжны Потоцкие. После приключений с Акулихой он побаивался трогать купеческих жен. Но намекал, что в наложницах особо ценит красоту и юность.

Шершпинский уговорил четырех арфисток из гостиницы «Европейской», причем пришлось им изрядно заплатить. Еще четырех девиц отобрал он, объездив все публичные дома на Акимовской и Бочановской улицах. Всех восьмерых девиц Шершпинский сначала свозил на проверку к Кореневскому-Левинсону, потребовав с него письменное подтверждение тому, что все девицы здоровы.

– Смотри, если что – со света сживу! – сказал он еврейскому лекарю.

Теперь можно было, не опасаясь болезней, почувствовать себя на время жителями Древней Греции. Они могли переместиться во времени и пространстве без гальванического челнока, о котором говорил поэт и чудака Давыдов.

Вечерело. Стали покусывать комары. Немой Пахом и человек со многими фамилиями были трезвее других и кое-как развели дымокуры. Шершпинский выпил больше всех и уже не смог следить одним глазом за своим патроном.

В какой-то момент он увидел, что Вилли Кроули и Цадрабан Гатмада отвязали обезьяну и попытались её случить с одной из арфисток. Ничего у них из этого не получилось. Обезьяна не поняла их намерений и с дикими визгами унеслась в дебри могучей тайги.

Затем рыдал негр Махамба, которому стало жалко негров, гибнущих теперь в Америке в войне между Севером и Югом. И Шершпинский подумал о негодях, мечтающих создать Соединенные Штаты Сибири, и заругался матерно.

Следующий просвет в помраченном сознании Шершпинского случился уже внутри дачи Попова. Он увидел себя на пыльном полу, стоящего на четвереньках. И услышал голос Лерхе:

– Мы слоники, слоники!

В это время в церквушке над могилой Попова зазвонил колокол. Он звонил гневно и страшно. И Шершпинский мог бы поклясться, что увидел в проеме двери лик самого Святого Онуфрия, покровителя золотоискателей и золотопромышленников. Старец был гневен и прокричал громовым басом:

– Вон отсюда, демоны, осквернители! Исчадья ада!

– Уздечкин! Запрягай! – завопил Шершпинский. – Все по каретам! Живо!

Страх обуял всех на даче. Колокол продолжал звонить, лошади ржали и вставали на дыбы. Над кортежем кружили в темных небесах встревоженные орлы.

– Шампанское забыли в Басандайке! – напомнил человек со многими фамилиями.

– Винников! Погоняй быстрее! Пусть то шампанское пьет Святой Онуфрий!

Кортеж катил в свете луны по дороге, петлявшей меж боров и лугов. Колокол над Басандайкой звонил всё глуше. Девицы в каретах торопливо натягивали на себя кружевные французские панталоны и длинные платья, пристегивали крючки и кнопки. Одна из них всё никак не могла успокоиться, и повторяла, чуть картавя, на иностранный манер:

– Ах, шарман! Шер ами!

26. ПОЖАР! ПОЖАР!

После потери своего великолепного дворца граф Разумовский отправился к Асинкриту Горину. Он был когда-то дружен с отцом Асинкрита, видным золотопромышленником и скупщиком золота у диких старательских артелей. Отец Асинкрита был так же густоволос, как и сын, и тоже звался Асинкритом. Он благоволил к графу Разумовскому, однажды подарил ему самородок, но просил это держать в тайне. Асинкрит-старший вообще был человеком скрытным. Никто не знал, сколько у него есть состояния. И погиб так: в тайге на охоте другой охотник принял его соболью шапку за живого соболя да всадил заряд в затылок. А вскоре и матушка Асинкрита умерла, как говорили, от огорчения.

Разумовский пришел к Асинкриту-младшему и заявил:

– Сир и наг стою под небом сим! Пощади меня и дворню мою, в которой есть много женщин и деток малых. Приюти. Отец твой поступил бы так, будь он жив. Больше идти некуда. А я твой дом почию.

Рыжий Асинкрит долго отнекивался, потом взял с графа Разумовского слово, что тот не будет починять его дом и будет хранить тайну дома. И вскоре граф со своей челядью поселился в ветхом доме Асинкрита.

Горин ходил всю зиму в драном полушубке и в залатанных валенках, которые были почему-то оба для левой ноги и смотрели носами в левую сторону. И летом Горин был одет совсем не по-дворянски, походил на нищего. И иногда выпрашивал в кабаке в долг пару чая, ему подавали эту пару: маленький чайник с заваркой и большой с крутым кипятком. Он сидел и швыркал чай без хлеба и сахара, и тем вызывал жалость в завсегдатаях. Теперь Горин сообщил Разумовскому о тайне, которую он хранил от всех. Отец взял с него клятву сохранить для потомков оставленное в условном месте золото. Горин должен был жить бедно, и дети Горина тоже должны жить бедно всю свою жизнь. И только внуки смогут вынуть золото оттуда, где оно лежит. Они поставят роскошные дворцы и заживут богаче, чем живет теперь Асташев. Золото за это время выделит из себя всё впитанное им зло и пойдет на пользу.

Горин привык к своей ленивой бедняцкой жизни и уже не хотел менять её ни на какую другую. Годы шли, а он всё не женился. И был он недавно на кладбище, и сквозь землю разговаривал с покойной матушкой, она ему сказала, чтобы он непременно женился. А ему не хочется.

Он провел Разумовского в полуподвал под своим домом. И там граф с изумлением увидел роскошные хоромы, обставленные дорогой немецкой мебелью, увешанные персидскими коврами, на которых висели ятаганы и ружья. Было в хоромах много фарфора, серебра. Богатые диваны манили присесть. Было несколько окон, пропускавших свет в полуподвал, но стекла были рифлеными, и со двора в них никто ничего не смог бы увидеть. К тому же окна эти были забраны толстенными решетками. Вся мебель в хоромах и полы были покрыты толстыми слоями пыли. И когда Асинкрит и граф Разумовский прогулялись по подземным хоромнам, всюду на полу остались четкие следы тяжелых сапог графа и аляповатые следы подошв растоптанных ботинок Горина.

Когда граф Разумовский и Асинкрит вышли из подвала, рыжий волосатик Асинкрит запер его огромным замком и пояснил:

– Это всё тайно выстроил и обставил папа. Сам он в этом подвале не жил, но говорил, что я после его смерти могу жить в этих апартаментах. Надо только делать вид, что живу в старой бедной квартире наверху. Но я не желаю жить в этом секретном жилище. Я не привык к роскоши, меня здесь что-то давит. Мне хватает моей маленькой каморки в мезонине. Моя лежанка да колченогий стол, да самовар – вот всё мое имущество. И этого много. Я уж чувствую, что вещи закабаляют. Тот же самовар приходится время от времени чистить. Меня это тяготит страшно. У меня всего две чашки, и то мне их лень мыть. Так что проживу в каморке. Вы же занимайте весь остальной дом, кроме, разумеется, подвала. О том, что в нем находится, не должна знать ни одна живая душа. И пусть ваши чады не вздумают по малолетству своему лезть в подвал, да пусть стекла не побьют.

– Они у меня ученые! По струнке ходят, я их воспитаю в страхе Божиим! А ваш батюшка был величайшего ума человек, мы будем вместе с вами свято исполнять его завещание. Еще скажу, что вам женитьба не помешала бы. Это даже ваш долг согласно завещанию вашего батюшки. Кому-то же надо передать наследство? Хотя это дело вашей совести. Каждая божия тварь сама избирает себе образ жития. Недаром же сказано, что блаженны нищие духом... Меня лишил всего достоинства богатый дракон, но вот бедный самаритянин дает мне кров, и господь да услышит его молитвы...

Так под одной крышей оказались два незаурядных томича.

Горин целыми днями валялся в своей каморке и брэнчал на самодельных гусях. Еще играл сам с собой в самодельные карты. Нередко ходил он на базар в часы закрытия, собирать под столами закатившиеся туда морковки и картофелины. Собирал окурки возле табачных лавок, а, возвращаясь домой, сворачивал и закуривал чудовищной величины самокрутку. Он говорил, что самокрутка из разных сортов табака куда прекраснее самой дорогой гаванской сигары.

Граф разместил в усадьбе свою многочисленную и странную дворню, занялся огородом и украшением горинского дома. Первым делом он вывесил на фасаде вырезанные им из дерева свои фамильные гербы, на которых были изображены и корабли, и пушки, и орлы, и солнце. Затем поместил на фронте вылепленную им из глины статую, изображавшую не то мужика, не то бабу.

– Это химера! – пояснил он Горину. – Это только начало, их будет много, и все будут разные.

Разумовский был переполнен проектами и художественными замыслами. Дня ему не хватало. Обыденные дела его мало интересовали, но иногда граф позволял себе тайно подманивать соседских кур горсткой пшена в какие-нибудь заросли. Там он ловко прижимал их своим старым сюртуком, так, что они разом лишались голоса и жизни. Тогда он баловал себя, Горина, и какую-либо из своих прислужниц куриным супом. При этом ругал на чём свет стоит вампира и упыря, притворившегося губернатором и статским советником.

– Да, что-то неладное в городе стало твориться, – подтвердил Горин, – грабежи и разбои среди бела дня стали привычны. Люди на улицы выходят только с дубинами, топорами или пистолями. Слава богу, я беден, ко мне никто не пристает.

И однажды случилась беда, которой так боялись все томичи в своем старинном деревянном городе. В жаркую погоду, в сушь, вспыхнул в Татарской слободе, в Заисточье, пожар. Как всегда, во время пожара задул сильный ветер с реки: казалось, его рождает само пламя. В Заисточье пожарная часть была слабая, держали всего три пожарных колесницы, уповая на близость большой реки, Томи.

На сей раз пожар был нешуточным. Пламя грозило перекинуться из заисточной низины в верхнюю часть города, поэтому колесницы из трёх пожарных частей помчались по Почтамтской к спуску в Заисточье.

Пожарники сидели на длинных телегах-линейках с двух сторон. Медные каски их с гребнями были начищены мелом до блеска. Они напоминали каски древнеримских воинов. У пожарных начальников каски были серебряные, с черными гребнями. Сверкали в руках их пожарные топоры с длинными топорницами. В длинных бочках бултыхалась вода. Вперед, вперед! На подмогу сотоварищам!

Но до Заисточья пожарные обозы не доехали. Господин губернатор незадолго до пожара купил дом на Юрточной горе неподалеку от спуска в Заисточье. Дом этот был изумительной красоты, но не каменный, а деревянный. В этом доме поселились приехавшие из Петербурга жена и дети Германа Густавовича. Дворец же, снятый для него Шершпинским, губернатор использовал для приемов, деловых встреч и развлечений.

Господин губернатор остановил пожарные обозы возле своего дома и приказал не трогаться места. И на всякий случай полить крыши и стены соседних домов. Некоторые пожарные роптали, но кто мог ослушаться?

Немедленно в устье Ушайки приволокли конной тягой особенную паровую машину, которую томичи прозвали Марьей Ивановной. Она была заранее набита сухими дровами. Установив машину в устье Ушайки, пожарные тотчас растопили печь. Паровой котел привел в движение поршни, Марья Ивановна принялась ухать и сопеть. Вода из Ушайки побежала по длинным рукавам. Пух-пух! – старалась Марья Ивановна. Орала мальчишки.

Заисточье выгорело дотла. До самой ночи метались там люди. Стояли цепочками от реки Томи до места пожара. Передавали из рук в руки ведра с водой. Из загоравшихся домов люди вытаскивали сундуки с добром, перины, узлы, оттаскивали на поляны, где безопасно, снова бросались тушить дома. А в это время рысёй походкой к сундукам, перинам, узлам приближались какие-то люди, хватали чужое добро, тащили в лодки. В одной из лодок сидели двое: карлик и огромная баба. Карлик, вытащив из кармана сигару, кричал:

– Мужики! Спички дома забыл, принесите уголёчек прикурить!

Через два дня в городской думе состоялось бурное заседание. Больше других гласных горячился Фёдор Акулов. Он требовал составить письмо в Омск генерал-губернатору Панову, а еще жаловаться самому государю-императору.

Городской голова, Дмитрий Иванович Тецков, кряжистый человек, стриженный в скобку, с золотой цепью на шее, отвечал на все крики:

– Его превосходительство губернатор назначен самим императором, не нам обсуждать его приказы. Он справедливо заботился о том, чтобы огонь не перекинулся в верхнюю часть города.

С улицы мужики закричали в окна:

– Тебя, Тецков, за твою неправду надо метать из окна!

Побагровев, как закат в окне, Дмитрий Иванович громовым голосом крикнул в окошко:

– Умолкни, голота! В клоповнике сгною!

Налил из графина забористого кваса, выпил. Да как они смеют на него, Тецкова, кричать? Потомок Ермака, славный чаеторговец, пароходчик. Жертвователю на церкви и богадельни, сколько для города сделал? А эти молодые купчики, на какого замахиваются? На самого господина губернатора? Да как смеют? Такие слова даже вслух-то говорить нельзя, только шепотом под одеялом, жене.

Фёдор Ильич понял, что зря кричит, голос надрывает – умолк. Вспомнил, что в город приехал недавно хотя бы и ссыльный, но очень известный юрист. Профессор. Фамилия его Берви-Флеровский. Он поселился в Сенной части. Досужие горожане уже проведали, что человек сей потомок некоего шотландца Бервика, что умен необычайно.

Один Фёдор Ильич ехать к юристу не решился. Есть ведь еще обиженные.

Заехал к графу Разумовскому. Тот сразу же распалился:

– Давно пора разоблачить эту банду: как полицмейстера, так и губернатора. Честных граждан убивают, жгут, а бандиты благоденствуют! Такого даже в Гоморре и Содоме не было видано и слыхано. Котел уже бурлит, пар выхода ищет!

– Так-то так! – закивал Фёдор Ильич, – но надо собрать свидетельства всех ущемленных, чтобы было с чем к сему профессору идти. Известно, граф, что вы человек, знающий обхождение, умеющий говорить...

– А что? Я этим займусь! Небось, потом этим аспидам не поздоровится.

– Хорошо, я со своей стороны тоже сделаю всё возможное. Потом встретимся.

27. НОЧНЫЕ ЛЮДИ

Евгений Аристархович не слишком-то изощрялся в разнообразии. Он велел привести к нему еврея Каца, подергал его за пейсы и сказал:

– Я тебя сейчас спрашивать ни о чем не буду, сначала я прикажу тебя посадить в одну маленькую ямку. После того, как ты там посидишь денёк-другой, ты мне всё быстренько расскажешь.

И бедного Самуила Каца отвели темными коридорами и столкнули в ту самую яму, где прежде сидел Улаф Страленберг. Теперь в яме сидели уже другие бандиты, но нравы их были те же самые, что и у их предшественников.

Самуил Кац и представить себе не мог, что такое может быть.

На третий день Евгений Аристархович, как и обещал, вызволил Каца из ямы. Когда несчастного ввели в кабинет, Евгений Аристархович ласково спросил:

– Ну что, жидовская морда, будешь всё рассказывать, или хочешь еще побыть в яме?

– Всё, что угодно будет вашему превосходительству, всё буду-таки рассказывать, как перед господом богом.

– Расскажи, что делает живущий в твоём доме швед по имени Улаф Страленберг.

– Он занимается наукой, химическими опытами. Может быть, мне, старому дураку, не надо было его пускать на квартиру, не надо было ему верить, может, он там и делает фальшивые деньги, но я таки никаких денег у него не видел, клянусь мамой!

– Видно, придется тебя спихнуть в яму еще недели на две!

– Ваше превосходительство! Ради всего святого на свете! Не губите бедного Каца. Я не видел фальшивых денег, ей-богу, ваше!..

Кац упал на колени и стал целовать ботинки Евгения Аристарховича.

– Встань! Какие опыты делает он? Расскажи.

– Не знаю. Он занимается этим в подвале. Что-то смешивает в колбах, что-то там кипит-таки в них, испаряется.

– Кто к нему ходит?

– Господин Горохов бывает.

– О чем говорят?

– О разном, о погоде...

– По делу говори, а то...

Кац мучительно соображал, что же такое сообщить Евгению Аристарховичу, чтобы отпустил бы Каца на свободу, но даже и под страхом мучительной смерти не мог он оговорить невинного человека. И вдруг он вспомнил!

– Не знаю, будет ли вам это интересно, но ученый швед проявил своей кислотой чертеж на каменном столе.

– Интересно! Что за чертеж?

– Я не знаю. Этот чертеж еле виден, а я давно слаб глазами. Я вам скажу, какие-то извилины, вот как у меня, на моих старых руках.

– Что еще?

– Больше ничего такого не знаю.

– Ладно. Сейчас пойдешь домой, запомни: ты здесь не был, ничего не видел и не слышал! Следи за каждым шагом этого шведа. Запомни, что будут говорить с Гороховым. Будут приходить мои люди, покажут вот так два пальца, отворяй, выполняй все их указания. Смотри, не проболтайся никому, а то сам знаешь, что тебя ждет, упрячу в яму уже навсегда.

Кац кланялся, Кац сам не верил, что его отпускают. Отпустили.

Ночью Улаф спал в саду. Луна так светила сквозь ветви, что получались причудливые кружева вокруг топчана. Пахло сиренью, медом, счастьем.

Улаф уже давно проявил прадедовский чертеж, наложил на него заветную пластину. Ему не составило никакого труда по точке, на которую пришелся «глаз оленя», вычислить местонахождение клада. Чертеж он тут же уничтожил, смачивая стол особыми составами, и работая скребком. Лишние люди не должны быть посвящены в тайну. Это он понимал.

Подземный ход, о котором сообщал в письме прадед, давно осыпался, так утрамбовался, что вряд его можно было раскопать. Улаф отсчитал шагами нужные метры и сверил направление по компасу. На месте, где полагалось быть древнему острожку Барбакану и колодцу с кладом, стояло внушительное здание.

Страленберг опросил в окрестных домах самых старых жителей, они подтвердили: да, Барбакан был как раз на том месте, где теперь соляной склад. Был там древний колодец: замшелые камни и тяжелая дубовая крышка. Из этого колодца пил воду сам Радищев, когда гостил тут у коменданта города де Вильнева, обрусевшего француза. Радищев тут и шар воздушный запускал, тоже был ученый человек, как и Улаф. Ныне от колодца остался чуть заметный холмик. Колодец заилился в незапамятные времена, крышку и камни утащили.

Подарив старикам по мелкой монете на чай, в хорошем настроении Страленберг отправился к соляному складу. Он напевал на ходу стихи из Эдды. Это было поучение Сигрдрифа Сигурду:

Руны найдешь ты, жезлы расписные,
Полные силы, силы целебной.

И еще пел он:

Пусть грохочет прибоя волна,
Ты воротишься с моря, здоров.

И он чувствовал себя викингом, прошедшим многие опасности, получившим ранения, но всё преодолевшим, приблизившимся к цели, и готовым праздновать победу.

Улаф выяснил, что соляной склад – это бывшая кордегардия, построенная во времена императрицы Екатерины. Теперь тут размещался государственный соляной склад, были там сторожа.

Когда к Улафу в очередной раз пришел Горохов, ученый рассказал ему обо всем. Восстановить подземный ход к древнему колодцу не хватит сил. Нужно проникнуть на территорию соляного склада и поискать там колодец. Даже если он разрушился, добраться до клада будет значительно проще. Может, обратиться за содействием к господину губернатору? Он посодействует работам научной экспедиции.

– К господину губернатору?! – вскричал Горохов. – Иностранец! Ты думаешь, что говоришь? Ежели ты обратишься к господину губернатору, то не видать тебе этой короны как своих ушей! Научная экспедиция! Да тебя жизни лишат! Это же Россия!

Губернатор такой же негодяй и мздоимец, как и все большие и ма-

лые чиновники в этой великой стране. Они говорят о пользе Отечества, а думают лишь о кошельках своих. У нас в стране много людей, и жизнь человеческая ничего не стоит. Если речь идет о власти и деньгах, они не только одного человека не пощадят, но будут убивать их целыми тыщами! Таковы не только губернаторы, но и те, что толпятся возле трона и сидят на нем!

Россияне не умеют биться до смерти за справедливость, но убивают друг друга за те крохи, что оставляют им на жизнь правящие нагледцы. Иностранец! Тут надеяться можно только на самого себя. Это Россия.

– Что же делать?

– Подкупим сторожей соляного склада да и покопаемся там, сколько нам потребуется. А то – к губернатору, придумал тоже...

Теперь Улаф перед сном был охвачен приятными чувствами. Заветная цель близка...

Вдруг навалилось на него нечто темное, сдавило. В рот Улафу влезла вонючая, тугая тряпка. Его ударили по голове и поволокли куда-то.

Его доставили в какой-то дом, вытащили кляп изо рта, но он всё равно не мог говорить, сознание его помутилось.

Очнулся он в той же яме, где был по приезде. Его опять терзали ползвери. Так прошла неделя. Потом Улафа вытащили из ямы, привели в подвальную комнату, где было много непонятных крючьев, цепей, клещей. Перед ним возникли Роман Станиславович и Евгений Аристархович.

– Рассказывай всё, да побыстрее. Где лежит золотая корона?

– Ничего я вам не скажу! Я иностранный подданный.

Шершпинский хлопнул в ладоши, появились два дюжих мужика в масках и красных фартуках, они раздели несчастного Улафа Страленберга, привязали за руки и вздернули через блок. Казалось, руки сейчас оторвутся. А мужики в масках развели горн и стали накаливать в нем железные клещи.

– Сейчас из тебя будут рвать куски мяса раскаленными клещами. И ты всё расскажешь! – сказал Шершпинский.

– Я шведский подданный! – сказал Улаф Страленберг, помня рассказ Горохова об этой стране и видя, что пощады ждать не приходится.

В его памяти возникли матушка и отец, Стокгольм, веселые рождественские праздники, когда Санта-Клаус приносит детям подарки. Его каморка на чердаке, умные книги, с которыми он готов был беседовать всю свою жизнь...

А вечером того же дня перед Раком на его загородной заимке стоял Гаврила Гаврилович. Тот самый, что служил при тюремном замке конвоиром. Рак его спросил, скаля прокуренные зубы:

– Ну, что нового, дорогой Гаврила Гаврилович, у вашего шута горохового?

Гаврила Гаврилович обстоятельно докладывал Раку:

– Неделю назад второй раз посадили к нам шведа, какой-то Уля Кралябер. Ученый. Его в подвале полицмейстер и Евгений Аристархович горячими клещами пужают. Корону как-то золотую шведец нашел. То есть, её еще откопать надо, а он им место не говорит. Талдычит одно – я шведец, и всё тут. На короля своего ссылается.

Убивать им его расчета нет, пока секрет не выведают. Потому щипцы только греют, а мясо не рвут, но могут и перестараться. С них станется. Надо бы вам поспешить, ваше степенство, пока шведец не сознался.

– Хорошо. Вот тебе червонец. Получишь сотню, когда мы этого Улю вызволим из замка. Шепни ему, чтобы не боялся, не сознавался, скажи, что ученые люди о его беде знают, скоро освободят. Ты смотри, чтобы его там в яме не пришибли. Сидящим там каторжникам шепни, что Рак не велел обижать. Жратвы ему передай. Выведем через подкоп ночью, как в прошлый раз Емелю Карего выводили, всё понял?

– Мы завсегда.

– Ну смотри! Сам знаешь...

Горохов, придя в очередной раз к Улафу Страленбергу, не застал его. Кац твердил:

– Господин Улаф уехал в ботаническую экспедицию.

– В какую такую еще экспедицию? Что ты мелешь? Он никуда не собирался, что ты, пархатый, врешь такое?

– Кац – человек маленький. Откуда Кацу знать? Господин Улаф сказал-таки, что едет в экспедицию.

Горохов не поверил. Он понимал, что тут без крючков не обошлось. Выследили! Вынюхали! Вот чертово семя! Из под носа добычу увели! Может, самому раскопки эти затеять? Но силы уже не те. И сторожей подкупить нечем. Взаймы никто Горохову и гроша ломаного не даст! Неудача за неудачей. Но Горохов всплывет! Вопреки всему! Он будет еще есть с золотых тарелок!

28. МУЗЫКА БАХА

Господин губернатор Герман Густавович Лерхе инспектировал женскую гимназию. Воспитанницы стояли рядами в актовом зале имени Марии Магдалины. На стене висел огромный портрет императрицы Марии Фёдоровны. Написано было очень живо, французским мастером. Императрица выглядела величественно и была обворожительно прекрасна.

В сопровождении директрисы, госпожи Фризель, Герман Густавович обходил ряды воспитанниц. Все они были в темных платьях с белыми кружевными воротничками и нарукавниками. Герман Густавович им понравился, он был такой блистательный молодой мужчина, в меру упитанный, подвижный, весь до последней складочки в одежде вылощенный. Этаким петербургский франт.

Директриса рассказывала о преуспевании в учебе здешних гимназисток, о том, что их учат этикету, рукоделию, многим полезным вещам, кроме обычной гимназической программы. Девицы хорошо знают историю, географию, литературу, некоторые пишут даже стихи. Вот, например, Верочка Оленева.

Губернатор взглянул на указанную ему девушку, почти девочку еще. Она порозовела. Ах, как она была хороша в своей трогательной невинности, в своем смущении, сквозь которое всё же проглядывало и неосознанное женское кокетство!

– Да, да, – улыбнулся Герман Густавович директрисе, – всё это так замечательно! У вас действительно образцовая гимназия.

При этих словах он невольно окинул фигурку девочки быстрым взглядом. Взгляд чуть задержался на выглядывающих из под длинного платья стройных ножках. Ботинки с высокой шнуровкой так мило охватывали изящные щиколотки. У его превосходительства даже под сердцем засосало.

– Да-да! Полная подготовка к будущей жизни в обществе. Закон Божий. Кружевное дело, переплетное, музыка, живопись. Иностранные языки. Хорошие манеры. Всё это достойно всяческого одобрения. Вы совершенно правы. Я желаю всем преподавателям, воспитателям, наставникам. Как это у Шекспира? Да...

Герман Густавович мимолетно перешел с французского языка на английский, процитировав Шекспира, вернулся к французскому и закончил речь несколькими русскими словами.

– Хорошо. Я очень доволен!

Герману Густавовичу передали в дар картонку с носовыми платками, расшитыми воспитанницами гимназии. От картонки густо несло духами. Он передал её чиновнику, галантно поцеловал директрисе ручку. Раскланялся с другими гимназическими дамами. Подумав при этом: «Черт возьми! А мне так не хотелось идти в эту гимназию! Вот уж поистине не знаешь, где потеряешь, а где найдешь!..».

Он велел чиновнику отвезти картонку не в свой семейный дом, а во дворец. И вечером того же дня долго перебирал платки, стараясь себе представить, который же из них вышивала Верочка Оленева? Может, вот этот? На нем вышиты гроздь белой душистой черемухи. Да! Именно гроздь белой молочно-розовой черемухи напомнила ему эта девчушка, щемящий аромат, божественная свежесть!

Но черт бы всё побрал! Этот Шершпинский подсовывает ему, губернатору, каких-то бочановских шлюх, словно какому бродяге или каторжнику! Бочонок с коньяком! Древняя Греция! Простыни, венки! Всё это глупо, стыдно и дешево. Орлы цыплят клюют. И колокол звонит. И какая-то стариковская рожа была, видение, что ли?

И голова после этой попойки на природе три дня трещала. Нет, надо сказать полицмейстеру, чтобы он всё же старался. Тогда вот не уследил, так из-за этой купчихи, стыд сказать, выпороли! И по городу уже слушок прошел. Верят, не верят, а слух есть. Медвежьи услуги этот возвышенный им чертов каторжник оказывает! Ловкач тоже! Надо предупредить! Усы большие, а ума особого не заметно.

Когда желчь немного поулеглась, Герман Густавович велел пригласить Шершпинского. Тот не замедлил приехать. Да кто же станет медлить, если губернатор зовет? От него вся жизнь, всё наше земное существование зависит, почти как от бога.

Шершпинский постучал и энергично вошел в губернаторский кабинет, бравый, с лихо подкрученными усами. Стоял в почтительном полупоклоне, чуть склонив голову набок, являя готовность ринуться исполнять любое губернаторское приказание.

Лерхе отвернулся к окну, и это означало, что у него плохое распо-

ложение духа. Выдержав значительную паузу, он повернулся, но не ответил на приветствие полицмейстера, а заговорил резко:

– Что-то слишком много жалоб на вас поступает от горожан, почтеннейший!

Шершпинский с готовностью закивал:

– Господин губернатор! На какого же полицмейстера никогда не поступало жалоб? Одного из моих предшественников, как вы знаете, прежний губернатор вообще упрятал в кутузку. Вы, если хотите, можете сделать то же самое!

Сказал он так и испугался: а не перегнул ли палку? Да нет, пусть знает этот молодец, что они одной веревкой увязаны.

Лерхе пристально посмотрел в глаза Шершпинскому:

– С кутузкой успеется. Вы всё же объясните, ответьте на вопрос.

– Для этого я должен знать, кто и на что жалуется.

– Да у меня сил не хватает все эти бумаги прочесть! – Лерхе повернулся к столу и подал полицмейстеру целую пачку бумаг. – Почитайте-ка, золотой обоз ограблен, какие-то зеленые кошевки зимой ездили. Какие-то банды на Акимовской золотопромышленников грабят, какую-то еланскую мещанку крокодил загрыз! Крокодил-то откуда? Что, у нас Африка, что ли? Может, это негр Махамба для компании с собой его захватил?

– За Махамбой ничего плохого не замечено. Золотишко они с Кроули скупают, это верно. Евграф Кухтерин самолично сопровождал караван с золотом в Кашмир и привез оттуда фунты стерлингов. Так мной отписано в Петербург, за Кроули следят. Пока что арестовывать не за что. Обоз? Так это когда было? Зеленые кошевки? Ну, какая краска есть, такой свои кошевы и красят. Бандитов ловим. Фонарей в центре добавили, в безлунные ночи до рассвета керосин жжем... Евреи жалуются? Ах, черти! Левинсоны пархатые! А скупка золота? А контрабанда? Фелиация! Американские дядюшки! Еще и жалобы строчат? Со света сживу!

Лерхе встал, ухватил Шершпинского за отворот мундира:

– Из двухсот пятидесяти арестантов полста гуляет на вольных хлебах. Думается, они и прокажут на тракту, и платят вам неплохо. В то же время поручику Наумову в арестантские роты на них довольствие идёт. Кажется, жандармы уже что-то пронюхали. А вы из себя невинную девицу изображаете?

– Что вы, господин губернатор! Не нами это придумано, и до нас отпускали арестантов на вольные хлеба подкормиться. Помочь населению по хозяйству. Среди них есть и печники, и шорники, мастера.

– Ага! Мастера! Голову отвинтят в два счета!

Шершпинский вытащил из внутреннего кармана сюртука увесистый пакет и положил на губернаторский стол:

– Господин губернатор, это собрали купцы, благодарные вам за всегдашнюю помощь и расположение.

– Кто именно?

– Я не стал составлять списки. Все местные купцы премного довольны вашим превосходительством.

Шершпинский лукавил. Пакет у него лежал на случай плохого господина губернатора настроения. Он мог бы его и не отдавать, но увидел, что Герман Густавович сердится. Деньги были собраны с тех же кошевников, с факиров, прорицателей, воров и мошенников всех мастей. С ювелиров и часовщиков. С держателей борделей. Заречные цыгане и те платили Шершпинскому дань, сколько – это один бог знал. Сколько бы таких пакетов Шершпинский ни передавал губернатору, ему самому всё равно больше оставалось.

Губернатор как бы нехотя смахнул конверт в ящик стола, потер переносицу, сказал:

– Впредь всё же составляйте списки жертвователей, тогда деньги можно будет направлять на какие-то богоугодные дела, а потом печатно благодарить жертвователей. Да! Вот что, любезный! Насчет последней поездки на отдых. Вульгарные всё же были девицы. Просто оскоми-на какая-то осталась. Ведь так мы и до подзаборниц с вами докатимся, а? Не думаете? Зря не думаете. Думать полезно.

А вот был я сегодня с инспекцией в женской гимназии, так там была одна особа, гимназисточка, этакий персонаж! Стишки пишет! И вообще. Устаешь от всего, и не на чем взгляд остановить хотя бы для того, чтобы глаза отдохнули.

– Только назовите имя.

– А что же, мой друг, вы могли бы сделать? Это же не Акулиха. А ведь и с этой Акулихой вы меня под такой монастырь подвели, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

– Ваше превосходительство, виноват, раз на раз не приходится. Больше никаких конфузаций не допустим, всякий риск исключим. Назовите имя, я всё расследую, потом доложу, что можно будет предпринять. Всё, до последней мелочи рассчитаем, постараемся изо всех сил.

– Главное, чтобы всё было секретно. Вы же понимаете, что значит мой авторитет.

– Ваше превосходительство!..

– Не надо пустословия...

Через день после этого разговора к Верочке Оленевой на улице подошел человек с этюдником и кистями. Он был черняв, длинноволос, в широкополой шляпе и в блузе с бантом:

– Милая барышня! Тысячу извинений! Мы незнакомы, я вынужден сам представиться. Я художник Зигмунд Големба. Вы, видимо, понимаете, как много означает для художника типаж? У вас совершенно изумительное лицо. Такое встретишь раз в тысячу лет!

– Но я, право, не понимаю. Нам запрещено беседовать с незнакомыми мужчинами! – заговорила Верочка, смущаясь и робея, хотя внимание художника было ей приятно.

– Барышня не должна беспокоиться, – быстро заговорил художник, – вам совсем не обязательно разговаривать со мной. Я вас умоляю только об одной милости: по стойте хотя бы одну минутку вот здесь, где стоите, на фоне этой оградки, этой сирени, я сделаю маленький этюдик.

Верочка застыла возле сирени со своим летним зонтиком, тоненькая, в белых нитяных перчатках, в шляпке, украшенной искусствен-

ными цветами по последней парижской моде. Её губы пунцовели, брови были словно нарисованы, ресницы черны. Это было так, хотя никогда этих губ, бровей и ресниц не касалась краска.

Верочка невольно была зачарована чудом проявления её лица на маленьком холсте. Художник изредка взглядывал на нее, она тогда вздрагивала, словно взгляд этот толкал её, но, взглянув на холст, она обмирала от восторга, и не хотелось уходить от этой оградки, от этой сирени.

Наконец, художник снял холст со складного мольберта, закрыл этюдник. Поклонился, сказал:

– Вы представить себе не можете, как я вам благодарен. Я напишу портрет незнакомки на фоне сирени. Еще раз благодарю.

Он уже хотел идти, когда Верочка неожиданно для самой себя вдруг спросила:

– А я смогу увидеть этот портрет, когда он будет готов?

Художник задумался, потом сказал:

– Право, не знаю. Я заканчиваю этюды в этом городе через неделю и уезжаю. У меня в планах поездка в Италию и в Париж. Конечно, мне легче будет дописать портрет, если вы мне будете позировать еще раз. Тогда я вам смогу подарить этот этюд. Я работаю в гостинице «Европейской», в номере пятом, на втором этаже, оттуда открывается вид на костел, я уже сделал пять пейзажей. Думаю, в Европе они вызовут интерес. Вы придете?

– Может быть, с подружкой?

– Милая барышня! Это невозможно, подружка будет меня отвлекать, даже если будет сидеть молча. Скажите, когда вы придете, я буду вас ждать там, у входа в гостиницу.

Верочка была томима сомнениями. Идти в гостиницу ей, гимназистке? Но этюд! Портрет! Да ведь в гостиницах иногда живут и очень даже приличные люди, аристократы, крупные золотопромышленники. Почему бы не пойти к этому вежливому художнику? Он так озабочен своим творчеством.

Словно бросаясь в воду, она решительно сказала:

– Завтра утром, в десять часов. Ведь в это время бывает хорошее освещение, верно, да? Я где-то читала об этом.

– Вы всё очень хорошо понимаете. Освещение – это очень важно для художника. Я очень рад! Жду! – сказал художник и откланялся.

Вечером Верочка перебирала свои альбомы, где между страниц были расплющены и засушены ни в чем не повинные цветки. К каждому цветку было приписано стихотворное посвящение. Цветок шиповника вдохновил Верочку на такие строки: «Ах, если б розы были без шипов!»

На другой день ярко светило солнце, и художник в своей артистической блузе, встретил её у входа, почтительно шел рядом, сопровождая.

В номере были распахнуты окна, и были видны в них часовенка при костеле и золотой крест над ним. Проглядывали сквозь сирень и замшелая старинная лестница, ведущая к костелу, и мостовая, сквозь камни которой проросли пучки травы.

Верочку поразил портрет, стоявший среди номера на подрамнике.

Художник так ловко схватил весь тот переулочек, всё настроение вчерашнего дня и саму Верочку, воплощенную юность, светлую, беспечную, верящую в счастье.

– Схожу, прикажу, чтобы подали чаю! – сказал художник, а Верочка вся погрузилась в свой портрет, во вчерашнюю улочку и сирень.

В это время наверху в костеле патер-доминиканец Иероним Гринчен уселся на стул возле органа и взял первые мощные аккорды. В костеле тоже были открыта окна, и музыка Баха вырвалась на улицу. Вдруг Верочка почувствовала, что сзади её обхватили чьи-то руки. Она вся задрожала от ужаса.

– Не бойтесь, дитя мое, – сказал Герман Густавович, – это я заказал ваш портрет, – вы есть совершенство, вы есть божество! И вы достойны доброй участи! Я знаю, что вы бедны, но я дам вам приличное содержание, вы будете иметь собственный прекрасный дом и выйдете замуж за кого хотите...

Верочка хотела кричать, но спазм сковал её голос. И не только потому, что она узнала губернатора, было еще нечто, мешавшее ей сопротивляться и протестовать.

– Вы ангел, ваша душа чиста, как и ваше тело, – продолжал говорить Лерхе, развязывая шнурки, отстегивая кнопки.

– Что он делает? – проносилось в отуманенном сознании, – он же губернатор! Как стыдно! Как ужасно!

– Не бойся, дитя, я потихонечку, будет совсем не больно, но очень приятно, – бормотал Лерхе.

– О чем он? Почему? – ужасалась Верочка Оленева. – Что это? Этого не может быть! Почему он срывает с меня одежду?

Старый гостиничный диван зазвенел всеми своими пружинами.

Музыка Баха заглушила Верочкин сдавленный вскрик.

Патер Гринчен играл в это утро с особым воодушевлением. Он думал о могуществе музыки и Бога, Бог видит всё плохое и хорошее на земле. Но не вмешивается, он рассудит потом.

29. ИГРАЙТЕ В КАРТЫ!

Миша Зацкой десятки раз уже обошел весь Томск в поисках какой-нибудь интеллигентной работы. Ему в голову не приходило наняться разгружать баржи или пилить дрова. Да лучше умереть! Это значило бы, что он опустился на дно! Разве Верочка посмотрит на него, если узнает, что он таскает мешки на пристани в месте с грязными и пьяными грузчиками! А ботинки у него худые, а осень уже ощущается в воздухе, а там и до холодов недалеко.

Во всех конторах ему снисходительно улыбались и спрашивали:

– А вы служили уже где-нибудь? У вас есть рекомендации?

В одной из контор посоветовали ему обратиться в Томский приказ общественного призрения. В Томске тогда застряло пятьсот пудов игральных карт. Их конфисковали у какого-то разорившегося тюменского коммерсанта за долги, вместе с другими товарами и баржой. Дру-

гие товары были давно проданы, а карты почему то передали в означенный приказ.

Служащий приказа сказал Мише:

– Замучились мы с этими картами, часть была продана с аукциона, осталось еще двести пудов, но Томск уже переполнен игральными картами, как Монте-Карло. Везти их в другие города нам не на что. Возьмитесь продавать карты. Потолкайтесь с ними на базарах, продавайте их на пристани, на пароходах, которые будут причаливать в Томске. Вот вам и заработок, подпишем контракт, будете получать процент с продажи.

Миша ходил по пристани с небольшим саквояжем, полным игровых карт, заходил в буфеты на причалах, останавливался возле столиков в пристанском саду, негромко говорил:

– Лучшие в мире игральные карты продаются от союза общественного призрения, купите, господа! Цены самые умеренные!

Иногда его гнали от столиков, иногда предлагали кружку пива, но, случалось, что и покупали колоду, другую.

Так пробегал он со своим саквояжем полтора месяца, за это время у его рваных ботинок совсем отстали подошвы, он их прикручивал проволокой, но это было заметно. Миша стеснялся, это разрушало его коммерцию.

Однажды он получил свой процент в приказе, и этого ему хватило на новые ботинки, самые дешевые, из грубой свиной кожи, но новые и совершенно целые!

Миша отутюжил свои выходные брюки, надел белую рубашку, наваксил новые ботинки до зеркального блеска и стал прогуливаться возле гимназического пансионата. О, если бы ему встретилась Верочка!

И однажды он всё же встретил её. Он радостно подбежал к ней, поздоровался, она коротко кивнула ему и пошла дальше.

Миша был ошеломлен! Как же так? Он пошел вслед, сказал, задыхаясь от волнения:

– Верочка, подождите! Ведь мы столько не виделись, я так мечтал вас встретить!

Она остановилась, странно посмотрела на него:

– А надо ли нам встречаться?

Миша не знал, что и подумать, он воскликнул:

– Как же не надо? Я об этом всё это время мечтал!

Верочка сказала:

– Миша! Миша! На свете много девушек, которые могут составить ваше счастье! До свидания!

Она ушла, стуча по дощатому тротуару каблучками. Миша не посмел больше её окликать. Он думал о том, что действительность так грубо отличается от мечты, что, может, и жить на земле не стоит.

Ну да. Она дружна с каким-нибудь гимназистом. Миша плохо одет. У него нет будущего. Но почему же раньше она была приветлива с ним? Почему нет будущего? Он молод, судьба еще может улыбнуться ему! Он будет хорошо одет, у него будут деньги, он сможет на ней жениться.

Через день он прочитал в газете объявление: «Фирма «Калиостро» приглашает опытного конторщика». Далее был напечатан адрес фирмы.

Миша чуть не бегом побежал по адресу. Важно прийти первым! Во что бы то ни стало первым! Вдруг примут? Опытный конторщик? Он скажет, что есть опыт: работал в приказе общественного призрения по коммерции. И это будет правдой.

По указанному адресу в Пристанском переулке стоял небольшой деревянный домик. Вообще-то это была древняя развалюха, и было непохоже, что здесь может разместиться какая-либо фирма. Да и вывески никакой не было. Миша робко постучал в дверь, резкий голос пригласил войти. Миша отворил дверь и увидел, что за столом сидит и курит сигару человек с маленькими ручками и ножками, но большой головой.

– Я, наверное, не туда попал, – сказал изумленно Миша, – я ищу фирму «Калиостро», было объявление в газете.

– Вы попали именно туда! – отвечал карлик, – мы не тратим денег на вывески, мы солидная фирма, нас знают даже в Мадриде и Лондоне. Мы торгуем льном, зерном, мануфактурой, сахаром, чаем и китайской бумагой. Наши корабли бороздят океаны. В здешнем филиале мы только, отмечаем продвижение наших товаров с запада на восток. Мы как бы звено в цепи, ясно?

– Извините, не знаю, как вас звать-величать.

– Андрей Измайлович Терской-Мончегорский.

– Андрей Измайлович, вам нужен конторщик? Я уже работал в приказе общественного призрения, занимался коммерцией.

– Я знаю! – сказал карлик.

– Знаете? – изумился Миша.

Терской-Мончегорский вытащил из кармана колоду карт. Согнул её указательным и большим пальцами и с треском пустил карты по столу. Они легли ровной дорожкой.

– Эту колоду мои помощники купили у вас на пристани.

– Да, я продавал там карты, но это приносило мне очень маленький заработок. Если вы примете меня конторщиком, вы не ошибетесь, я буду очень стараться. Но я хотел бы всё же получать столько, чтобы хватало на жизнь.

– Хотите, я вам погадаю на купленных у вас картах? – неожиданно предложил маленький человек.

Миша только и сказал одно слово:

– Погадайте!

Карлик перетасовал колоду и начал ловко раскладывать карты.

– У вас было горе. У вас очень болен близкий человек... Вот падает бубновая дама, она лежит у вас на сердце, но с нею близок другой король. У вас будут хлопоты. Вам предстоит дорога, но не дальняя. Вы будете держать в руках больше ценности. Дальше карты говорят такое, что я вам не хочу говорить!..

– Почему же? Вы почти всё угадали, кроме больших ценностей. Я никогда не держал и не буду держать их в руках.

– Что же вы хотите сказать, что ваши карты врут? Тогда заберите их, и верните мне деньги обратно.

– Да нет! Я только хочу сказать, что не мечтаю стать очень богатым. Просто я хотел бы жить достойно.

– Все хотят жить достойно, – сказал Терской-Мончегорский, протягивая ему четвертной казначейский билет, – вот вам задаток! Завтра приходите на работу.

– Я буду здесь рано утром! – обрадованно заговорил Миша, не ожидавший получить такую огромную сумму: если таков аванс, то каков же будет оклад? Он не посмел спросить об этом. А маленький усач сказал:

– Не надо приходиться сюда рано утром. Мы начинаем наши труды после обеда. Это связано с работой телеграфной конторы и прибытием пароходов. После обеда, ясно?

– Да-да-да! – поспешил согласиться Миша.

Очутившись на улице, он как бы увидел мир новыми глазами. Рядом была Томь, вдоль берега было множество причалов, возле них покачивались на волнах паузки с распущенными парусами и без них. Кое-где дымили небольшие пароходы. С десятков барж грузчики тащили по сходням мешки и ящики и складывали на берегу.

Неподалеку от Миши, на поляне, лошади ходили по кругу, вращая подобие железной карусели. Толстый трос наматывался на барабан и тянул из воды связанные в пучок бревна. Внизу рабочие разбирали баграми плоты. Из этих бревен будут построены в городе новые красивые дома, прочные амбары, склады.

Прямо с плотов на загнанные в воду конные подводы, грузили плитный и ломаный камень, уголь и известь.

На берегу пахло сосновой корой, пенькой, дегтем, рыбой, тиной. Тут шла работа, теперь в эту работу включится и он, Миша Зацкой, конторщик замечательной фирмы.

Маленький усач ему представлялся чуть ли не ангелом небесным. За двадцать пять рублей можно сделать очень многое. Миша купит матушке самые лучшие лекарства, может, она и пойдет на поправку. Себе он сошьет новый костюм, купит приличную шляпу. Он еще встретится с Верочкой, он расскажет ей о своих успехах, она переменится к нему.

30. ЖИЗНЬ АГЕНТОВ

К Амалии фон Гильзен прибыл в гости из Омска дальний родственник, Иван Иванович Трущев. Досужие соседи болтали, что это её любовник, а она не спешила их разуверить. В сорок шесть лет она испытывала полное неудовлетворение своей одинокой жизнью.

Вот, не далее как вчера, остановились в её усадьбе крестьяне из Кисловки, приехавшие продавать на базар короба и корзины, которые кисловцы плетут так искусно, что лучше во всей России никто не сделает. Они же сплели для баронессы дачные столики и стулья. Это диво, во что могут превратиться простые ивовые прутья!

Так вот, приехали эти пейзаны, поселились во флигельке. И к их, хрупавшей у коновязи овес, кобылке кинулись дворовые псы, запрыгали, дрожа от возбуждения, стараясь укунить за ногу.

Хозяева кобылки завопили, однако собак гнать не смели. Очень уж страховидные псы. Тогда выбежал во двор Иван Иванович, собаки его

еще не знали, но он смело схватил одного пса за загривок и перекинул через забор, второго пса угостил таким пинком, что пес взвыл и убежал.

Иван Иванович баронессе приходился троюродным братом. Что говорится, седьмая вода на киселе. И это просто удивительно, какой он герой!

Под большим секретом сообщил он кухне, что является чиновником для особых поручений при самом омском генерал-губернаторе Панове! Поступили жалобы от томичей, и губернатор поручил ему проверить всё тайно и доложить. Он и ехал-то в Томск как обычный путешественник, сам за всё платил, на пароходе нарочно плыл третьим классом, набрался вшей.

Амалия Александровна приказала истопить баню. А после того, как Иван Иванович хорошо помылся, одел всё чистое, стали пить чай. И тут Амалия пристала к Ивану Ивановичу с расспросами: кто именно из томичей и что писал?

– Это, дорогая моя, это же совершенно секретные сведения. Я веду расследование и не имею права...

– Миленький мой Иван Иванович! Вы думаете: вот, глупая баба, пристала, скажи ей – разболтает всему свету! Сознайтесь, ведь именно так вы и думаете? Но, Иван Иванович! Половину своего расследования вы можете провести, даже не выходя из этой комнаты! Вам это не приходило в голову? Я же ничем не занята, и я имела возможность наблюдать и анализировать. Я видела всё, что творят этот блестящий красавчик и этот усатый мужлан полицмейстер. Я их ненавижу! Поэтому дам вам богатейший материал! Другое дело, почему я их ненавижу. Вы будете смеяться, но я им завидую! Нет, не машите руками, это действительно так! Мне вообще все мужчины, извините, кажутся мерзавцами. Ну, хотя бы потому, что они – мужчины. Это ведь случай, игра природы, что он родился с этим отростком! А сколько высокомерия! В женщине всегда видят рабу, служанку, предмет для наслаждения, а, насладившись, выбрасывают, как использованную салфетку.

– Но, позвольте, есть всё же мужчины, которые любят своих жен, живут честно! – позволил себе прервать страстный монолог баронессы Иван Иванович.

– Живут честно! Это наверняка больные или ущербные мужчины. Но и больные, они всё равно глядят на сторону, уж я-то знаю.

Но ближе к делу. Допили чай? Пожалуйста. Теперь берите бумагу, перо и пишите. Пункт первый – Герман Густавович Лерхе...

Вскоре, по совету Амалии фон Гильзен, Иван Иванович Трущев посетил салон мадам Ронне. Когда он выходил оттуда, во внутреннем кармане его сюртука лежало написанное по-французски письмо. Мадам Ронне обращалась к генерал-губернатору, были в её заявлении такие слова:

«Беглый каторжник Шершпинский, который ныне правит в городе должность полицмейстера, покровительствует многочисленным разбоям и насилиям. Недавно он устроил насилие над девочкой-гимназисткой несовершеннолетних лет, столбовой дворянкой Верой Николаевной Оленевой. Девочку заманил в гостиницу находящийся в каторжных работах как фальшивомонетчик Федор Дьяков, представившийся Зигмундом Голем-

бой. Сего каторжника для этого специально освободили на время из тюремного замка. Говорят, что в тот вечер в гостинице была и некая монтевистка Полина, колдунья, которую Шершпинский использует для организации насилий. Она затуманивает разум несчастных жертв...».

Заканчивалось пространное это письмо так:

«Если ваше превосходительство не сможет пресечь сей вопиющий произвол и не накажет виновных, я буду обращаться к государю императору.

Искренне уважающая вас Сесилия Ронне».

Вполне довольный началом своей миссии, Иван Иванович шел по центральной части Томска. Он здесь всего неделю, а уже собрал такой материал! Да, в Омске знали, кого направить по такому щекотливому делу! Расследование движется. А теперь нелишне будет получше рассмотреть этот губернский центр.

Колоссальные чугунные Венеры возле магистрата поражали воображение. Возле биржи играл духовой оркестр, встречая очередной пассажирский пароход. Нынче на Томи вода была большая, и пароходы причаливали в самом центре города.

Удивлял изобилием и красочностью центральный томский базар. Великое множество магазинов, рядов, палаток. Сотни лошадей. А по берегам реки Ушайки торговля идёт прямо с барж, паузков и лодок. Рыба, икра, мясо, масло, мед – всё, что душа пожелает.

Крики мороженщиков, пирожников, балаганных зазывал, всплески самых забористых мелодий в гармонном ряду, где продаётся всё: от больших до самых малых гармошек, размером с ладонь. Тут же гудят гудки, манки, щебечут птицы в клетках, ругаются попугаи. Китайцы глотают шпаги и изрыгают из чрева огонь и дым.

Столпотворение! Пробираясь к бирже, Иван Иванович попал в такую толкучку, что с него сбили шляпу, и он не мог отыскать её, нагнуться не было никакой возможности, так тесно стоял люд.

Вдруг раздался над площадью истошный вопль:

– В карман залез! Держи вора!

И Иван Иванович почувствовал, как чьи-то железные пальцы сдавили его горло. Хрипя и извиваясь, пытался он вырваться. Напрасно – его держали уже трое.

Крепыш в гороховом костюме кричал:

– Этот вот, к тому вон господину в карман залез! Господин бакенщик, посмотрите, всё ли цело у вас в карманах?

Человек в смазных сапогах, широких грузчицких шароварах и в украинской вышитой рубашке с пояском быстро обшарил карманы своих шаровар и завопил громче пароходной сирены:

– Кошеля нема та часов именных!

К нему подвели Ивана Ивановича:

– А ну-ка, господин бакенщик, теперь вот у него карманы проверь!

– Протестую! – вскричал Иван Иванович. – Отведите меня в часть, там я скажу, кто я такой. Смотрите, вам всем не поздоровится!

– Это тебе сейчас не поздоровится! – шепнул ему на ухо человек в гороховом костюме, дыхнув табачным перегаром. И человек этот был прав.

Грицко Петрович сунул корявую руку во внутренний карман сюртука Ивана Ивановича, извлек оттуда часы и закричал:

– Дивись! О це они самые, именные!

«Гороховый костюм» взял у него часы и во всеуслышание прочитал:

– «Грицко Петровичу Кероненко за безупречную службу от Сибирского речного пароходства, как лучшему бакенщику на пути в Сибирь!»

Грицко Петрович в тот же самый момент дал ужасающую по силе затрецину Ивану Ивановичу Трущеву, так как извлек у него из другого кармана и свой кошель.

– Ну, что будем делать, Грицко Петрович? – спросил у бакенщика «гороховый костюм», – в полицию его поведем? Или вы сами его поучите, по-своему, по-речному?

– Сами поучимо! – ответил Грицко Петрович и стал звать брата. – Панас! Ходи сюда, цего хмыря вязать!

Как ни кричал Иван Иванович Трущев, он не вызвал сострадания толпы, а только смех и улюлюканье. И его пинали, и плевали ему в лицо, пока Грицко Петрович и Панас Петрович волокли его, связанного, как басурманского пленника, к своей большой лодке, прикрепленной к колышку на берегу Ушайки.

Лодка поплыла по направлению к обширному Семейкину острову, где у Грицко Петровича и Панаса Петровича был построен добротный дом. Вокруг этого дома бродили свиньи, которые паслись свободно, так как с острова они сбежать никуда не могли. И было этих свиней великое множество.

Еще на острове были могучие заросли дикого хрена. Братья натирали его на зиму по целой бочке. Часть сбывали на базаре, а часть съедали сами в качестве приправы к свинине. Хрен очищал кровь, а речной воздух вселял бодрость, потому оба брата были здоровяками.

Отплыв немного от города, они взяли связанного, несчастного Ивана Ивановича за ноги и окунули головой в воду. Он извивался, как червяк, но вырваться не мог. Братья держали его ровно столько, сколько надо было, чтобы он наглотался воды, но не помер совсем. Вытащили, дали отдышаться, отплеваться, а потом повторили всё снова.

По приезде на остров они заперли его в крепкой избушке, не развязав рук, и сказали:

– Пойдем бакены зажигать, еще искупаем! У нас не дуже жажуришься!

Иван Иванович упал на солому и заплакал.

31. МОРСКОЙ БОЙ

За тюремным замком под горой старинный спиртовой завод помалу дымил своей красно-коричневой трубой. Ветра дули с реки в сторону города, и потому на здешних холмах нередко попахивало спиртными парами.

И здесь тоже была бывшая дача Степана Ивановича Попова, в память открытия месторождений сибирского золота названная «Алтаем».

Умел Попов выбирать места для отдыха. На горе был обширный парк с бельведерами, беседками, ротондами, гротами, укромными полянами, статуями и фонтанами.

А внизу под горой – обширное и чистое озеро. К нему вела каменистая извилистая тропа, в ней вырублены ступени, рядом прилажены перильца. На обширных площадках можно отдохнуть во время подъема и спуска. С этих площадок удобно обозревать окрестности.

После смерти Степана Ивановича парк несколько пришел в запустение, но все же еще был весьма хорош. Именно сюда направилась вереница карет в одно воскресное утро. Ехали в первой карете Лерхе и Шершпинский, за ними – все те же господа, что были на древнегреческой пирушке. Только девицы на сей раз были иные.

На этот раз губернаторский отдых было решено устроить здесь, вблизи города, потому что к Басандайке он стал испытывать отвращение. Он так и заявил своему полицмейстеру:

– На Басандайку больше не поедем! Покойный окружил себя орлами и привидениями. Колокола там звонят и орлы бросаются. Бог с ним, пусть спит Степан Иванович в своем приюте. Подыщите другое приятное местечко. И девиц других, не из борделей, знаете, что-нибудь этакое, первозданное!

– Может быть, Оленеву? – опрометчиво спросил Шершпинский.

Герман Густавович насупился:

– Как это вы так строите свои тайны, что слухи тотчас разносятся по городу? Говорят, какое-то письмо в Омск отправлено. Гласные шумят, Акулов этот, черт бы его побрал!

– Это в обычаях черни выдумывать всякое про столпов общества! – солидно сказал Шершпинский. – Но я могу доложить, что мы приняли исчерпывающие меры. Подсланный из Омска агент попался на карманной краже: спер часы у местного бакенщика. Публика выместила на нем свой гнев. А Верочкину опекуншу, мадам Ронне, мы убедительно обвинили в связи с фальшивомонетчиками и польскими бунтарями. Ей не выбраться теперь из острога. Томские модницы теперь надолго останутся без французских шляп! – хохотнул Шершпинский. – По нашим сведениям, Верочка никому, кроме этой проклятой француженки, ничего не говорила. В гимназическом пансионате все спокойно, с директрисой мы позанимались. Правда, есть еще закавыка. К нам переведен один правдоискатель из Кузнецка. Ссылный, по фамилии Берви-Флеровский. Лазит по всяким грязным лачугам, выспрашивает. Рабочий вопрос изучает. Но я нагоню на него такого страха, что он быстро про свои исследования забудет.

– Я слышал об этом прохвосте! – воскликнул губернатор. – Не дай Бог, если он узнает про Верочку. У него связи с писателями всех мастей. Старайтесь его изолировать. Вы это заварили, вы и расхлебывайте!

– Вам не о чем беспокоиться. Нет никаких доказательств. Ничего нет. И не было. В этой баталии нами одержана полная победа! Будем развлекаться!

Кортеж в эту минуту подъехал к обширному парку.

Из карет выпорхнули девицы, и опять их было восемь. Этих Шершпинский набрал в пересыльном тюремном замке. Выбрал самых моло-

дых и красивых, готовых принять участие в праздничном действе за хорошее угощение.

В каторгу они попали по самым разным причинам, кто за убийство из ревности, кто – за поджог, кто – за подлог. Были это и мещанки, и крестьянки, много уже повидавшие в жизни. К назначенному дню им были сшиты приличные костюмы. Девицам терять было нечего, из тюремных казематов попасть даже к черту в зубы и то приятно. Почему не повеселиться?

Мужчины и женщины прошли в павильоны, где лакеи уже приготовили для них маскарадные костюмы.

Через какое-то время странная процессия спускалась по крутой тропинке к озеру. Впереди шел в тюрбане и халате с кривой саблей за поясом турецкий паша. Его изображал Шершпинский. В турецких одеждах щеголяли безносый Пахом, негр Махамба и китаец Ван Бэй.

Герман Густавович был в костюме русского адмирала, другие мужчины были его матросами. Девицы изображали турчанок, они были в паранджах и шальварах. Несколько кучеров были наряжены турками.

На озере были заранее подготовлены плоты. Один из них изображал турецкий корабль, а другой – российский.

Плоты двинулись навстречу друг другу, человек со многими фамилиями поднес к губам рупор и прокричал громогласно:

– Сегодня двадцать шестое июня, и сейчас произойдет Чесменская битва! Ура!

И тотчас в «турок» полетели полные опилками подушки, как бы ядра такие. «Турки» вздымали вверх руки, кричали на разные голоса:

– Вай, алла!

Плоты сблизились, пошли в ход багры. Теперь уже славные российские моряки сшибали в воду «турок» и «турчанок» тяжелыми ядрами, то бишь набитыми опилками мешками. Усатый турецкий паша сразу же, как только свалился в воду, поймал там одну из «турчанок». Она была ниже своего повелителя, поэтому из воды торчала лишь её милая головка.

Веселое барахтанье в теплой и прозрачной воде кончилось тем, что «турецкая армия» отступила в прибрежные тальники, там её настигли «россияне», дабы окончательно закрепить свою победу.

А в этот самый момент в полуразвалившейся ротонде на холме Амалия фон Гильзен наводила на «поле битвы» свою мощную подзорную трубу.

– Мерзавцы! Негодяи! – ругалась она. – Исчадья ада! Всё равно я дознаюсь, куда вы дели моего несчастного кузена! О-о! Какой разврат, какой разврат! Раз-раз-раз-врат!

И тут на горе что-то резко треснуло, и вверх полетели огненные колесницы, вертящиеся шары и квадраты, они лопались, рождая в свою очередь множество новых шаров, которые тоже взрывались, и все светились разным цветом. То из-под одних кустов, то из-под других вылетали огненные стрелы, змеи, спирали, извивались, вертелись.

И в рупор было объявлено, что это праздничный фейерверк, а по-

бедителей и побежденных в павильоне наверху ждет торжественный обед.

Раскрасневшиеся, взлохмаченные, мокрые, в растерзанных одеждах, взбирались участники битвы к месту пиршества. Их ждало еще немало развлечений.

А рядом, в татарском предместье, на островерхом минарете, заунывно и жалобно пел муэдзин, собирая правоверных на вечернюю молитву.

За Томью над Темурчинским бором догорал закат.

32. КАК ЖИТЬ В МОСКВЕ

После того, что с ней произошло в гостинице, Верочка Оленева была задумчива, сторонилась подруг. Оставаясь одна, взглядывала в зеркало и рассуждала сама с собой:

– Как? Я все та же? Ничего не изменилось в моем лице? Или же каждому сразу теперь заметно, какая я стала? Подруги будут презирать меня. Или нет? А может, никто ничего не знает, мне только мерещится это? И так некстати полиция почему-то забрала мадам Ронне. Посоветоваться не с кем. Сказали, будто мадам Ронне хранила запрещенную литературу.

Верочка пыталась узнать о судьбе своей опекуниши, но в полиции ей велели вернуться в пансионат. Сказали, дескать, всё, что надо, сообщат директрисе.

Директрису тайно вызывал в полицию Роман Станиславович. Он пояснил, что воспитанница пансиона Верочка Оленева требует к себе особенно бережного отношения. У неё, как известно, погиб отец, нет матери. Недавно выяснилось, что француженка мадам Сесилия Ронне, опекавшая Верочку, отъявленная негодяйка. Эта Ронне втайне развратничала, была связана с бунтовщиками и бандитами, она, несомненно, оказала дурное влияние на девочку.

Госпожа Фризель сказала полицмейстеру, что да, она заметила угнетенное состояние Верочки, которая прежде всегда была весела. И до неё дошло, что у Верочки было некое странное свидание в гостинице с каким-то художником.

– Я уж не знаю, не окажет ли Верочка теперь плохое влияние на других воспитанниц пансионата? – заключила Фризель.

– Художника мы уже арестовали, – сообщил полицмейстер, – но девочке лучше не напоминать об этом случае. Это всё дурное влияние француженки. Но теперь оно будет исключено. Я к вам подошлю очень известного петербургского специалиста по болезням души, монтевистку Полину. Бог не дал ей женского счастья, её наружность отталкивает, она урод с детства, но она изумительно умеет внушать людям умиротворение и покой. Она может сделать так, что Верочка забудет всё плохое, что с ней было, и будет помнить только всё хорошее. Это будет прекрасно! Неправда ли? И покой, и порядок вашего замечательного пансиона останется прежним.

– Что вы говорите, Роман Станиславович, неужто бывают такие способности внушения?

– Полина приедет к вам, и вы во всём убедитесь сами, дорогая Фелиция Вениаминовна.

На другой день госпожа Фризель приняла у себя горбунью. Директриса удивилась глубине огромных глаз уродки. Соболиные брови карлицы подчеркивали живость прекрасных глаз. Если бы не горбы и не преждевременные седины в черных прядях, и не землистый цвет лица!

Горбунья была одета по самой последней моде, и духи её были тончайшими, изысканными. Украшений было немного, но брильянтовые серьги и изумительной работы колье придавали ей особенный шарм. По всему было видно, что это птица высокого полета. Да недаром же жила она в полицмейстерском доме!

Фелиция Вениаминовна спросила:

– Как же лучше познакомить вас с Верочкой? Как представить? Сказать ли ей, что вы практикуете, как лекарь, или же не говорить это? Кто знает, как девочка отреагирует? Она сейчас так напряжена.

Монтевистка была немногословна:

– Просто отведите меня к ней, остальное – моя забота.

Верочка в это время в сидела своей комнатке на венском стуле возле окна и читала. Книга называлась длинно и многозначительно: «Как жить в Москве. Карманная книжка для приезжающих в Москву, стариков, старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочая, или иносказательные для них наставления и советы».

Книжка эта отыскалась в гимназической библиотеке. Она была старая, зачитанная, Верочка взяла её потому, что теперь ей было так одиноко! Недавно она отправила письмо своей тетушке в Москву. Эту тетку она никогда не видела.

Но нельзя же ей быть на свете одной! Она написала и об аресте гувернантки своей, и кратко, в самых общих чертах, о случае в гостинице. Она просила всего-то совета. Но воображение уже рисовало ей, как тетушка, двоюродная сестра отца, забирает её в Москву. Что будет потом, было скрыто туманом. Но за этим туманом всё же брезжило что-то доброе, приятное.

В дверь постучали, вошла директриса с горбуньей и сказала Верочке:

– Эта дама хочет поговорить с вами, пожалуйста, предложите ей стул!

Директриса ушла, а Верочка застыла в изумлении.

Горбунья сама взяла стул и стала смотреть, не мигая, на Верочку. Она как бы впитывала в себя всю неопытность и смятенность этого юного существа. «Она прекрасна», – думала Полина, – такой бы могла быть я, если бы не несчастье. Но вот её крылышки опалила беда. И теперь мне предстоит заморочить ей голову, чтобы её обидчики ушли от расплаты. Чтобы она навсегда забыла о них. Навсегда? Пожалуй, только на время. Я не всесильна. Туман рассеется и...».

Полине вдруг стало жалко девочку. Может, взять да и помочь этой гимназистке разоблачить этих наглецов? Ведь это она может? Может. Но делать этого не станет. Что же в этом случае останется ей самой? Послед-

ние годы её ускользающей молодости. Даже не молодости уже, а просто... этому даже определения не найдешь. Она не знала счастья, она пользовалась каким-то жалким подобием. Но и это отринуть? Нет, на это у неё не хватит сил.

Полина приняла ту же позу, что и Верочка. Она смотрела ей в переносицу, уловила ритм её дыхания и подстроилась к нему. И Верочка чувствовала, как тепло и умиротворение разливаются по её телу.

Полина сказала тихо, проникновенно:

– Вы похоронили папу и скучаете по нём. Любите слушать звон колокола, он успокаивает, мысли уходят, и так хочется спать, спать! Так хорошо всё забыть!

И Верочка уже не удивлялась присутствию в её комнате незнакомой дамы, она задремывала, и головка её склонялась набок, а Полина повторяла её, копировала. И уже шептала:

– Вам не о чем беспокоиться, всё так хорошо, только приятные мысли будут посещать вас. Думать только об учении, хороших манерах, подругах, хранить память по родителям, слушать наставников, так приятно...

Потом еще долго сидела Полина, глядя на девочку и держа ладони у её лба, но не прикасаясь к нему. Потом она тихо сказала:

– Это была легкая дремота, и через минуту-другую пройдет, и вы будете спокойны и веселы.

С этими словами Полина вышла из комнаты.

– Ну что? – спросила директриса.

– Девочка будет вести себя спокойно. Отвлекайте её внимание от всего, что могло бы ей напомнить неприятное. Она уже всё забыла.

– А лекарства?

– Прогулки по саду, поездки на природу. Ваши воспитанницы выезжают на природу?

– Конечно. Мы собираемся проехать на лодках на тот берег Томи и обратно. За Томью будем жечь костер в лесу.

– Вот это просто замечательно! Пусть дети ловят бабочек, рвут цветы. Это лучшее лекарство и для взрослых, и для детей, я сама так лечусь.

Полина вернулась домой, там уже с великим нетерпением ждал её Роман Станиславович.

– Ну что? Как? – кинулся он к ней, едва она вошла.

– Я сделала, что могла. Она забудет обо всём, до той поры, пока кто-нибудь ей об этом не напомнит.

– Хорошо. Я тебе очень благодарен. Кто ей напомнит? Француженка у нас сидит крепко. Спасибо...

Он хотел поцеловать Полину, но раздумал, нечего поважаться, будет еще на нем виснуть. Надо её держать на расстоянии. Надоела. Если бы не её удивительные способности!..

Через полчаса в полиции он спрашивал человека со многими фамилиями:

– Держалкин! Как там этот Трущев на острове? Бакенщики держат его прочно? Ты намекни им, что, если они его совсем утопят по нечаянности, то им за это ничего не будет.

– Слушаюсь! Сейчас поеду на остров, всё сделаю.

– Ну, давай!

Задумался полицмейстер. Золотая контрабанда, тысячи аферистов над золотом вьются, как мухи над банкой варенья. Возле Тузикова лога чаерезы бандитствуют. В сумерках налетают на обозы с чаем. А что? Так и до него было. Он не всемогущ. И к тому же некоторые чаерезы ему платят. Но не все, не все... С этим надо разобраться.

Невольно вспомнилось первое впечатление от приезда в Томск. Прибыл. А на другой день ему показали возле старого тюремного замка лежавшие на снегу трупы.

Чалдоны в длинных белых саванах напали на обоз с золотом. Саваны делали их невидимыми на снегу, а в руках у них длинные палки, к концам которых привязаны кистени. Издалека тюкнуть возниц и охранников по голове!

Но охранники не дремали, пуля длиннее палки – от неё не убежишь. Вот и положили убитых бандитов на сугробе для опознания. Выходит, покойнички перед смертью сами в саваны и обрядились.

Ох, город! Рабочие с приисков осенью в новых дорогих полушубках и почему-то в бабьих шляхах вместо шапок валяются в грязи возле притонов. Будочники обирают пьяных. На Мухином бугре среди бела дня выстрелы, крики: «Режут! Лошадей угнали!». А то на набережной, где вечером фонарики, остяки на берегу плачут: пока в кабаке сидели, из лодок кто-то рыбу спер. Да хорошо хоть лодки им оставили! Такой жиганский город.

У него всегда ёкает под сердцем, когда видит, как ведут через город бритых каторжников в куртках с разного цвета рукавами. Ведут под бой барабана, звенят тяжелые сибирские кандалы. У некоторых на лбу клеймо «СБ» выжжено, что означает: «ссылный, бродяга». Сердобольные тётки подбегают к колонне арестантов, суют кому сушку, кому калач. Такое население, сами почти все из кандалников. Поди, наведи в таком городе порядок! Строгости мало? Хватает! За Мясной площадью недалеко от берега меж высоких тополей вкопана в землю под углом листовенничная плаха. Она вся продубилась от пота и крови. К ней привязывают приговоренных к порке арестантов. Привезут на черной телеге, в черном коробе, одежду сдерут, привяжут, и палач начинает кнутом охаживать.

А толпа любит. Кто-нибудь кричит, мол, сильнее! Не думают, что сами на эту плаху могут попасть. А охранник по рядам таскает арестантскую шапку, народ кидает в неё медяки в пользу наказуемого. Половину он после отдаст палачу, вроде бы за то, что до смерти не забил. Случалось, что тут и до смерти забивали.

Строгости. Строгости. Польских бунтовщиков в подвале толстыми цепями приходится к стенам приковывать. Соленой рыбой кормить, воды не давать, чтобы признавались. Всякие были показания. И о том, что польский совет приговорил его, Шершпинского, к смерти. Ненавидят его. Поляков в Томске много на свободе. Всех не выследишь.

Да, он непрост. А всё же есть под сердцем льдинка. Охрана охраной, а от всего не убережешься. Ну да пока они его убьют, он их немало в подвале уморит. Иных, умерших в подвале, там же в стену замуровали, чтобы никто о их гибели не знал. Так вот царскую-то службу править тяжело!

А еще и знатные поляки сидят, такие, как Шлехнер, Левандовский, известные политики. Этих не замуруешь. Связи большие, за границей вой поднимется. Журналы да газеты. Им, чертям, в тюрьму цветы приносят. И считаться приходится с ними. Но пусть сидят, клопов кормят, черт с ними.

Но как таракана проглатываешь каждое напоминание о Берви-Флеровском. Пишет. Общество у него собирается. Может, что запрещенное говорят. А поди, докажи! Сделали у этого хлюста обыск, бумаги изъяли. Читали, читали – нет ничего! Стишки какие-то, мадригалы, Эрмилоне, его супруге, посвященные. Он протест заявил.

Сказать бы Сашке Бобру или еще кому, чтоб его «пришили», быстро бы ухайдакали! Нельзя, слишком известен и по начальству, и по газетам. Сам юрист. Погибнет, так скандал выйдет. Опять каких-нибудь крючков проверяющих пришлют, вроде этого Трущева. Эх, утопили бы его бакенцики, в самый раз было бы! Утоп, да и всё! Мало в Томи купающихся тонет? Каждое лето десятки людей.

Да не разболтают ли потом бакенцики? Ну, болтать станут, так и сами могут потонуть, не великой важности птицы. Замена им всегда найдется.

33. ДОМ УЧЕНЫХ

По улицам ходила Домна Карповна, и за ней толпами бежали бродячие кошки. Домнушку в народе любили, купцы отдавали ей остатки со своих пиршественных столов, а она кормила всех кошек, какие только встречались ей на улице. Малых котят согревала за пазухой. Сам архиерей подарил ей шубу со своего плеча, и она ходила в этой шубе зимой летом. Шуба служила постелью и домом ей и многочисленным, бегавшим за нею кошкам.

Когда Шершпинский однажды приказал посадить Домнушку в тюремный замок, возле его стен собралось великое множество котят и кошек. Это повергло охрану в смятение. Тем более что ночью была буря, и молния ударила в крышу караульной. Обратите внимание: караульной! Почему не в арестантские палаты?

Шершпинский пришел, увидел обожженную крышу караульного помещения, увидел великое количество кошек у тюремных стен и сказал:

– Почему кошек не прогнали?

– Никак невозможно, выше высокородие! – отвечал охранник Маметьев, – даже стреляли в них, их и черт не берет!

– Ладно, выпустите её! Дуракам у нас закон не писан!

И Домнушка снова стала бродить по томским улицам.

Во многих домах ей были рады. Особенно тепло её встречали в доме Асинкрита Горина.

Домнушка возвращалась в усадьбу от ворот церкви с полным мешком кусков хлеба, шанег и пирогов, и бежали за ней кошки. И всего-то надо было ей прикорнуть ненадолго в одной из сараюшек. В ненастную погоду кошки прижимались к ней со всех сторон, согревая её.

А в усадьбе теперь жил не только граф Разумовский, но еще и просвещеннейший человек, Дмитрий Павлович Давыдов.

Вышло всё случайно. Граф Разумовский всегда интересовался всякими чудесами, проявлениями в природе необычайного. И от соседей узнал, что живущий в гостинице редактор «Золотого руна» подыскивает себе квартиру, где бы мог заниматься научными опытами.

Разумовский тут же явился в гостиницу и стал уговаривать Дмитрия Павловича:

– Лучше вы себе ничего не найдете. Особняк наш не новый, деревянный, но обширный, со многими амбарами и постройками. Усадьба с большим садом, прудом и полянами. Я с дворней и половины особняка не занимаю. Вторая половина – ваша. Хозяин дома Асинкрит Горин, совершеннейший бессребреник, меня держит бесплатно и с вас ничего не возьмет. Не только ничего не возьмет, еще и обедами кормить станет.

Скажу по чести, очень интересуюсь всякими научными вопросами, сам многое знаю, книги имею, но посоветоваться по научной части в этом городе почти что не с кем. Так что будем искренне рады. И вам будет с кем поговорить. И книги у меня есть научные.

Давыдову особняк понравился. Разумовский и Горин вызвались помогать ему в научных опытах, при этом граф показал книги, спасенные им от пожара. Их было немного, но они привлекли внимание Давыдова.

Здесь была книга «2 ключей брата Василия Валентина, монаха ордена Святого Бенидикта, которыми двери к древнему камню любезных наших предшественников отверзаются. Издание русских масонов Н.И. Новикова и И.В. Лопухина». Были тут еще «Басни талмудовы, от самих жидовинов узнаны, открытые прежде в Кракове». Изданы «басни» были давненько: в 1758 году.

Давыдов с интересом перелистал томик, озаглавленный: «Книги Финелона, учителя детей короля Французского». Заинтересовали его «Химический псалтырь Авраама Теофраста Парацельса», «Размышления о величии божием» Жан Жака Руссо», «Почта духов, или учения нравственные и критическая. Переписка арабского философа Маликульмульна с водяными, воздушными и подземными духами», «Каббалистика» Раймонда Луллия, «Прохладные часы, или аптека, врачующая от уныния, составленная из медикаментов старины и новизны».

Была еще тут секретная книга Вильгельма Гучинсона «Дух масонства». На титуле стояла печать томской ложи «Великая Астрея». С изображением зажженного факела в треугольнике и змеи, кусающей себя за хвост. Можно было рассмотреть дату открытия ложи: «августа 30 дня 1818 года». Причем на обложке этой диковинной книжки были написаны гусиным пером стихи:

Появились недавно в России Фран-масоны,
И творят почти явно демонски законы,
Нудятся коварно плетть различны манеры,
Чтоб к Антихристу привести от Христовой веры.

Граф Разумовский по поводу этой надписи сказал:

– Не ведаю, кто начертал это. Сам всю жизнь борюсь с неправдой, но всегда полагал, что в любой ереси может быть зерно истины, которое ученый человек должен извлечь на пользу православному миру. И на сем твердо стою. Только глупцы и ретрогады могут отвергать все безоглядно. Посему люблю читать разные книги для развития ума своего.

– Вы абсолютно правы, граф, – сказал Дывыдов. – Нельзя сужать горизонт. Мне нравится ваш подход, мы сработаемся.

Дывыдов, конечно, понял, что имеет дело с чудаками, ну что из того? Чудаки украшают мир. Хозяин особняка Горин, обезьяноподобный, и разгуливающий по усадьбе среди лета в валенках, причем оба валенка на одну ногу, тоже весьма начитанный человек. И тоже тяготеет к книжкам обо всем непонятном, чудесном и странном. Оба эти человека не заняты службой или какими-то семейными обязанностями. Дмитрий Павлович понял, что они будут прекрасными помощниками в его деле.

В тот же день он привез из гостиницы на извозчицкой пролетке свой старенький чемодан. И самые удивительные дела начались с того дня в усадьбе Асинкрита Горина.

В одном из сараев начато было строительство гальванической воздухоплавательной машины. Граф надеялся при помощи её со временем отбыть на свою родную Украину, Горин хотел с высоты птичьего полета обозреть весь Томск.

Для строительства нужны были редкие и дорогие материалы, денег ни у Давыдова, ни у графа Разумовского, ни тем паче у Горина не было. И редактор «Золотого руна» решил их зарабатывать лекарским искусством.

Диагноз он мог ставить даже заочно, при помощи портрета будущего пациента. Купцы решили пошутить над ученым-лекарем, и от главы городской думы Тецкова принесли ему портрет покойного человека. При этом попросили поставить диагноз родственнику купца, который, мол, ныне находится в поездке в Иркутске.

– Я тут не шутки шутить с вами приехал, любезные вы мои! – строго сказал посланцам Тецкова Дмитрий Павлович. – Сей человек умер, и уже достаточно давно! И с вашей стороны это глумление над его памятью! А посему подите вон!

– Как вы догадались? – изумился граф Разумовский.

– Нет ничего проще, мой дорогой друг, – отвечал Давыдов, – у живых людей глаза на портретах отличаются особенным жизненным блеском, глаза на портретах усопших такого блеска не имеют. Потренируйтесь, и вы тоже научитесь различать портреты. Говорят, если сожжешь портрет недруга, он зачахнет.

История с портретом мигом облетела весь город, и пациенты стали осаждать усадьбу Асинкрита Горина. Граф Разумовский не всех пускал в дом. Принимал подарки, относил в кладовые и говорил:

– Доктору не разорваться. У него уже есть люди на приеме. Ты придешь через неделю, а ты – через две.

Граф был тонким психологом и богатых золотопромышленников

тоже не пускал без очереди. Пусть потерпят, потом с них можно будет вдвое больше содрать за лечение.

Давыдов испытывал больных качающимися маятниками. Один маятник был подвешен на проволоке и был обозначен знаком «плюс», другой, на изолирующей нитке, был обозначен знаком «минус».

Если оба маятника описывали возле испытываемой части тела одинаковые фигуры, то это обозначало, что болезни тут нет, если же показания различались, то испытываемый орган либо участок тела считался больным.

Для лечения подбирались специальные материалы, излучавшие «жизненную силу». Давыдов брал речной песок, собирал по берегу Томи ракушки, толлок разноцветные стекла, всё это заливал секретным составом, потом выдерживал в склянках на солнце и при лунном свете.

Больным он делал компрессы, примочки. Кому-то втирал состав в кожу.

Он, между прочим, рассказывал Разумовскому и Горину, что давно ищет среди кедровых шишек одну-единственную. Она нарождается раз в двадцать лет, и каждый из её орехов может вернуть безнадежному больному жизнь!

– Здесь вы найдете эту шишку! – обрадовался Разумовский. – Томск у нас ближе к осени бывает весь засыпан кедровыми скорлупками. Грызут орехи и стар и млад. Может, кому-то и попалась волшебная шишка?

– Может, и попалась, но если из этой шишки съесть больше одного ореха – умрешь.

– И как же её узнать?

– Надо её натереть специальным составом, она побелеет. Такая шишка отличается и размером. Это особенно крупная шишка, и орехи в ней крупные. И у меня есть нужный состав, но шишку жизни я пока не нашел.

От больных отбоя не было. И Давыдов просил Разумовского принимать только самых больных, тех, кого в других местах вылечить не смогли. Нужно же было иметь время и для науки.

Лучшим отдыхом от трудов праведных граф Разумовский считал прогулки вдоль Томи с удочками. На закате обычно клевали в заводях такие окуни, что нитка еле выдерживала их. Давыдов тоже пристрастился к этой забаве.

Подышать воздухом, очищенным водой, полюбоваться кудрявыми островами и белыми песчаными отмелями. Да еще принести на кукане жирных окуней, тут же отварить их с лучком и приправить перцем. Блаженство!

Однажды такой вечерний поход привел их к неожиданной находке. На песке возле реки лежал совершенно нагой человек, со связанными за спиной руками, весь мокрый и без признаков жизни.

Дмитрий Павлович тотчас достал из кармашка небольшое зеркальце и прислонил к губам этого мужчины.

– Жив! – воскликнул Давыдов. Носовым платком зажал язык страдальца, другой рукой нажал на его грудь. У незнакомца хлынула вода изо рта, он закашлялся и вздохнул. Давыдов постучал его по спине.

– Что же теперь делать? – обратился Давыдов к Разумовскому. – За городом нет извозчиков, не на себе же нам его тащить, да еще голого?

– Довезем до города на лодке, – отвечал Разумовский.

– Где же мы её возьмем?

– Какой-нибудь рыбак сейчас обязательно будет возвращаться с низовой реки в город, надо только подождать.

– И надо нам его одеть.

– Но во что? – изумился Давыдов.

– Одеть его на первый случай мы сможем, я дам ему свои штаны, а сам буду в кальсонах. Вы же дадите ему свою верхнюю рубаху, а сами будете в нижней. Таким образом мы все трое будем одеты.

– Да, но как же вы будете в кальсонах, в городе?

– Ничего! У меня всё равно слава городского чудака, это мне ничуть не мешает жить, а возможно, что даже и помогает. С чудаков меньше спроса.

– Похоже, что вы правы, – согласился Дмитрий Павлович.

Через какое-то время показалась из-за поворота лодка, которая тяжело шла против течения, в ней умело гребли двое. Третий сидел на корме, и правил коротким веслом.

– Эй! Сюда! – замахал шляпой Разумовский. Он был уже в одних кальсонах и походил на гусара в белых рейтузах.

– Их трое. Возьмут ли они еще троих? – усомнился Давыдов.

– Как не взять? – отвечал Разумовский. – Я – граф, вы – знаменитый ученый и лекар, как же они посмеют не взять?

Незнакомцу развязали руки. Обрядили его в рубаху и штаны. Выглядел он уже лучше, хотя и дрожал всем телом и не мог говорить.

Рыбаками оказались художник Олимпий Павлов, поэт Сергиев и этнограф князь Костров. В лодке на дне серебрилась стерлядь, был и король обских рыб осетр, его спина была благородно зубчатой и напоминала пилу.

– Эй, сюда! – помахал Давыдов, и лодка пошла к берегу.

– Господа! Мы спасли утопающего, он не может идти, а нам надо доставить его в город! – заявил Разумовский.

– Что ж, размещайтесь! – ответил Костров, который исполнял роль кормчего. – Будет тесновато. Придется плыть возле самого берега, и очень медленно, чтобы не зачерпнуть бортом. Иначе вместо одного утопающего будет сразу шестеро. Да сидите в лодке спокойно, не хватайтесь за борта. А отчего вы, граф, в одних кальсонах?

– Брюки потерял, когда утопающего спасал! – ответил Разумовский.

– О! Это героика! Олимпий обязательно напишет о вас в газету. А кто таков утопающий?

– Сами еще не знаем! – отвечал Разумовский. – Главное – доставить его ко мне домой и полечить как следует. А в газеты писать не надо! Может, это повредит утопающему. Полиция у нас не преминет какое-нибудь дельце состряпать. Они из всего стряпают дела и греют на этом руки. Я этих прохвостов знаю! Так что мы лучше обойдемся без газетной славы.

В городе Разумовский и Давыдов вытащили из лодки незнакомца, попрощались со знатными рыболовами, наняли извозчика и покатали домой.

Здесь первым делом напоили своего невольного гостя горячим чаем с сахаром.

– Вы можете говорить? – спросил Давыдов. – Кто вы такой? Кто связал вам руки?

– Я могу говорить, – еле слышно ответил незнакомец, – но я ничего вам не скажу, ибо не знаю, кто вы такие.

– Мы честные люди, которые тебя спасли, а ты должен нам назвать имена тех негодяев, что чуть тебя со света не сжили! – распаляясь, вскричал Разумовский.

– За спасение благодарю, но никому из жителей Томска я не верю.

– А, значит, ты нездешний! Был бы ты здешний, то знал бы, что нет более благородных людей в городе, чем мы. Я граф Разумовский. А это потомок славного гусара и поэта Дениса Давыдова, который бил почем зря французов и писал прекрасные стихи. А Дмитрий Давыдов не только пишет стихи, но и величайший из химиков, механиков и врачей! И он тебя спас. И он вернет тебе бодрость и здоровье. Теперь ты знаешь, кто мы такие, так представься же и сам, будь любезен.

Незнакомец сказал:

– Да, я слышал про Дмитрия Давыдова, рад с ним познакомиться. Вашего сиятельства я не знаю, но раз вы друг Давыдова, то, верно уж, честный человек. Хорошо. Я вам откроюсь, но, ради всего святого, никто, ничего не должен знать!

– Да не скажем мы никому! Мы люди чести! – опять начал сердиться граф Разумовский.

– Я чиновник для особых поручений омского генерал-губернатора Трущев. Я прибыл с расследованием. Схватили меня на базаре. Обвинили меня в краже часов у одного из бакенщиков. По странности, чужие часы оказались в моем кармане, черт бы всё побрал! При этом у меня из кармана изъяли письмо, писанное против местного губернатора, об изнасиловании гимназистки. Вот как я оказался у проклятых бакенщиков.

А бакенщики затащили меня на остров, долго мучили, да потом связали руки и бросили в воду на самой середине Томи.

Я хороший пловец, я нырнул, чтобы они думали – утонул, и отстал. После я плыл на спине, но со связанными руками это непросто. Да и вода-то уже холодная в реке. Я наглотался воды, хорошо что берег был уже недалеко, как на него выбрался, не помню.

– О! Это штучки местного полицмейстера Шершпинского! – воскликнул граф Разумовский. – Он сжег мой дворец, я теперь вынужден ютиться в чужой усадьбе. У вас изъяли письмо, а опекуншу девочки, Сесильку Ронне, шляпницу здешнюю, упрятали в тюрьму.

Против сего губернатора, и полицмейстера очень многие в городе настроены. Есть гласный Федор Акулов, он готов подписать любую бумагу против этих злодеев. И есть здесь юрист, профессор, журналист Берви-Флеровский. Мы планируем собраться в укромном месте, составить бумаги для высоких инстанций, сделать план борьбы против этих Шурбанипалов! Вы тоже поедете на это совещание, как представитель генерал-губернатора.

– Нет! Господа! – горячо воскликнул господин Трущев. – Увольте!

С меня хватит! Спасибо вам за помощь, ради бога, никому не говорите о встрече со мной. Я займу денег у кузины и немедленно уеду из Томска. Пусть мой губернатор поищет другого следователя. А с меня довольно и того, что я испытал.

34. КАК ПЛАТЯТ ДОЛГ

Миша быстро шел, почти бежал, и ему казалось, что он летит на работу на крыльях. Как прекрасно быть молодым, хорошо одетым, иметь работу и надежду на лучшие дни!

Маленькая изба на задворках за пристанью казалась самым прекрасным местом на свете. Пусть работа была не очень понятная, пугающая сложностью, запутанностью неведомых цифр, но это была чистая работа! Ему платили!

Маленький управляющий в конторе появлялся редко, чаще приходили неведомые люди, приносили кучу бумаг и говорили:

– Это от Андрея Измайловича. Нужно разобрать по месяцам, по дням поступления товара. Рассчитайте, сколько надо заплатить, по приложенным к сему расценкам, за сам товар, и сколько – за перевозку.

Миша сидел, делал расчеты до ломоты в глазах. Да, это была трудная работа, но работа! На душе было легко, приятно.

Однажды утром он увидел за пристанью гимназисток в платьях с пелеринами, в руках они держали корзинки для грибов и ягод, у некоторых были с собой этюдники. Преподавательницы распорядились погрузкой в лодки.

Среди гимназисток была и Верочка Оленева. Мише так хотелось сбежать по травянистому склону вниз, к воде. Поздороваться с Верочкой, сказать ей, что он тут служит в очень важной конторе. Он начал, было, спускаться, но увидел, что Верочка Оленева уже села в лодку, которая отчаливает. Не будешь же кричать вдогонку обо всем, что он хотел ей сказать.

Он вздохнул и пошел в свою контору. На этот раз ему почему-то не принесли новых бумаг. Делать было нечего, Миша смотрел в оконце на улицу. Он видел широкую Томь, острова галечные и поросшие ивняком, шиповником, бояркой. Видел дымивший вдалеке пароход, противоположный берег с еле заметной стеной хвойного леса. Миша знал, что боры там тянутся на многие километры, осенью, когда нет гнуса, по тем борам катят коляски. Люди наслаждаются чистым хвойным воздухом, картинами лесных изумительных полей и озер.

Он стал мечтать, что однажды он наймет экипаж и пригласит Верочку прокатиться в заречном бору. Черные извилистые таежные речки, таинственные озера с огромными кувшинками, моря иван-чая, всё это будет отражаться в Верочкиных глазах. И они будут пить воздух, сладкий, как счастье.

Между тем лодки с гимназистками всё более удалялись и как бы растворялись в теплом мареве, дрожании, отблесках волн. И исчезли совсем. Да и оконце было с тусклыми стеклами, потемневшими от времени, ветров и дождей.

В контору стремительно ворвался Терской-Мончегорский, он подбежал к столу, за которым сидел Миша, и воскликнул:

– Я так и знал, что вам нельзя доверять! Вы погубили мою фирму, негодяй вы этакий!

Миша смотрел изумленно, только что всё было так хорошо.

– Но в чём я виноват?

– Об этом спрашивал в басне Ивана Андреевича Крылова ягненок, ежели вы помните, и именно такими словами. Смотрите! – Андрей Измайлович швырнул на стол кипу бумаг. – Это вы писали?

Миша взял листки, им разграфленные, исписанные им мелким почерком. Мысли путались, голова была свинцовой, он повторил растерянно:

– И в чём я виноват?

– Уж в том, что хочется мне кушать! – с мрачной интонацией продекламировал Терской-Мончегорский. – Вы вчитайтесь в то, что вы писали. Вы всё запутали: цены, время прохождения товара, в результате фирма понесла убытков ровно на одну тысячу восемьсот рублей! Вы представляете, что вы натворили?

Миша начал сверять свои бумагами с теми, которые приносили ему курьеры, теперь он ясно видел, что напутал, обсчитался. Но как это произошло? Он так старался! Он всё пересчитывал десятки раз!

– Что же теперь будет? – потерянным голосом спросил он.

– Что же, милейший, может быть в таком-то случае? Полиция и тюрьма.

У Миши все поджилки задрожали, он упал перед карликом на колени:

– Андрей Измайлович! Не губите! У меня матушка больная, почти при смерти, как же она будет одна? Андрей Измайлович! Пощадите! Я отработаю, буду рабом вашим, сапоги чистить, всё, что угодно, только не губите!

– Отработаете? – переспросил Андрей Измайлович. – Вы уже и так у нас славно поработали. Нароботали и себе на тюрьму, и мне на нищенскую суму.

– Не губите! – повторял Миша, губы его тряслись.

Андрей Измайлович сел на стул напротив Миши и глубоко задумался. Долго, может быть, час сидел он в глубокой задумчивости, глядя куда-то мимо юноши. И всё это время Миша не мог унять дрожь.

Наконец Терской-Мончегорский встал со стула, поднес его ближе к Мише, вновь взобрался на стул и, глядя Мише в глаза, сказал:

– Вы не хотите в тюрьму, это понятно. Я вас спасу. Но за это вы должны будете отслужить. Нет, сапоги мне чистить не надо, у меня есть лакей. И считать больше тоже ничего не надо, оказалось, что вы плохой счетчик. Оно и понятно. Мир делится на тех, кто сочиняет стихи, и на тех, кто складывает цифры. Делать одновременно и то, и другое хорошо невозможно. Скажем, из Ивана Андреевича Крылова тоже не получился бы хороший конторщик. Я знаю, милейший, что вы пишете стихи. У вас это просто на лбу написано. Нет, я не заставлю вас писать стихи. Но тысяча восемьсот рублей – это для фирмы не обычная потеря. И возместить

её вы сможете тоже только очень необычным способом. Сможете, если захотите.

– Что же я должен делать?

– Это будет ночная работа! – серьезно и мрачно сказал карлик.

– Но... я, наверное, не смогу. И почему именно – ночная? Это честное дело?

– Вам ли теперь говорить о чести? – спросил Мишу Андрей Измайлович. – Но успокойтесь, я не заставлю вас никого убивать. Это будет тихая и не очень обременительная работа, и только с помощью её вы сможете возместить свой чудовищный долг.

– И всё же я заранее хочу знать, что меня потом заставят делать.

– Вы подумайте! – поднял бровь Андрей Измайлович. – Он еще и ставит условия! Но успокойтесь, всё не так страшно, как вам кажется. Дело в том, что я единственный наследник очень богатого томского купца. Детей у него не было, всё должно было отойти ко мне, его племяннику. Но я был на учебе в Италии, изучал там в Милане юриспруденцию. Дядя незадолго до своей смерти прислал мне в Милан письмо. Он сообщил о том, что часть своих драгоценностей укрыл в своем фамильном склепе на Вознесенском кладбище, где была похоронена его жена. А вскоре и он был похоронен рядом с женою. Так вот, эти ценности там и по сей день находятся. Я никогда бы не решился потревожить покой своих уважаемых родственников, если бы не эта ваша оплошность, которая привела фирму к финансовому краху. И вы понимаете, что я не могу пойти на кладбище днём. Я вообще один с этим делом не управлюсь. Там надо будет лезть в подземелье, сдвигать тяжелую крышку склепа, вы видите, какова моя комплектация? А вы высокий, ловкий, молодой, для вас это не составит труда. Вы человек образованный. Вы же не суеверны?

– Нет, то есть, да...

– Милейший! Честному человеку нечего бояться и днём, и ночью, хоть на кладбище, хоть где. Короче, говорите, согласны ли вы?

Миша сказал чуть слышно:

– Согласен.

– Ну, вот и отлично! Только имейте в виду, не должна знать об этом ни одна живая душа: ни ваша матушка, никто! Только тайна. Если узнают, что я владею ценностями, то жизнь моя может подвергнуться опасности. Вы же понимаете. Бог не дал мне силы, здоровья, поэтому меня всякий может обидеть. Дело выгорит, и тогда вы будете спасены от тюрьмы. И, возможно, я еще и заплачу вам немного, если всё удачно получится.

– Да я не из-за денег. Моя вина меня к тому понуждает.

– Да, я знаю, что вы добрый, хороший юноша. Просто у вас еще нет жизненного опыта. Это, конечно, пройдет с годами.

Терской-Мончегорский слез со стула, закурил сигару и прошелся по избе:

– Значит так. Сегодня в половине первого приходите к Вознесенскому кладбищу. Напротив средних ворот, в переулке, вы увидите фаэтон, я буду вас ждать в нём. Оденьте всё черное. Так будет незаметнее. Со мной будет еще один человек, женщина. Это очень сильная особа. Она поможет вам сдвинуть крышку, а потом и задвинуть её. Понимаете, жен-

щина, а не боится. А вы-то молодой мужчина. Идите домой, выспитесь хорошенько и ни о чем не беспокойтесь.

Миша пришел домой, и не находил себе места. Всё плохо, всё ужасно даже. И ошибка в бумагах, и то, что ему предстоит. Как тут уснуть? И нельзя сказать матушке или посоветоваться с кем-нибудь. Слово дал.

И стало темнеть, и тревога всё больше терзала душу. Может, не ходить? Но что тогда? Разве он сможет выплатить долг?

В половине двенадцатого Миша потихоньку вышел из дома. На нем были черные златанные брюки и старый отцовский сюртук.

Тускло горел фонарь у аптеки на углу, а дальше улица тонула в чернильной мгле. Город уже закрыл все свои ставни. Лишь кое-где сквозь щели в ставнях пробивались желтые полоски. Всё было тихо, пустынно, только изредка то в одной стороне, то в другой принимались лаять собаки.

Миша миновал район, называвшийся Болотом, дальше улочка повела его в гору. Было странно идти в такое время по городу. И жутко, чего там говорить! В такое время не дай бог встретиться с лихим человеком. В Томске каждую ночь происходило что-нибудь страшное. Кого-то убивали, грабили. Вряд ли кого-либо могла соблазнить Мишина старая одежда, денег в карманах не было, и всё же тревога росла. Скорее бы дойти до кладбища и увидеть Андрея Измайловича! Только бы дойти!

Вот показалась кладбищенская стена. Вот и третьи ворота. А вон в проулке и силуэт фаэтона! Скорее туда!

Андрей Измайлович стоял у фаэтона, он шагнул навстречу и пожал Мише руку. Затем открыл дверцу фаэтона и позвал:

– Алена Степановна, выходите, наш дружок уже явился.

Из фаэтона сошла громадного роста женщина в черном платье с глухим воротником, в черной шали.

Миша вспомнил, что слышал про какую-то громадную женщину, жительницу Томска, которую называли Аленой Береговой. Видимо, это она и есть.

Андрей Измайлович заговорил вполголоса:

– Ворота теперь заперты. А сторожа теперь не спят, выходят из сторожки. Прислушиваются, проверяют на воротах замки. Мы перелезем через стену. Алена подсадит вас, вы слезете, будете ждать, Алена подсадит меня, вы меня снимете со стены, затем перелезет и Алена.

– Но почему я должен лезть первым?

– Милейший, из моих слов это совершенно ясно. Идемте, но идите тихо, чтобы не было слышно ваших шагов. Не спешите, у нас уйма времени.

Они подошли к стене еврейского кладбища.

Миша спросил шепотом:

– Ваш дядя – еврей?

– Нет! Разве я похож на иудея? Просто именно здесь нам легче всего проникнуть на кладбище. С еврейского кладбища легко пройти на старообрядческое, там у Страшного рва нет стены, и можно спокойно пройти в православную часть. Иногда кривой путь бывает короче прямого!

Алена подняла Мишу, легко, как пушинку, он оказался на гребне стены, уцепившись за её край, на секунду повис на руках и спрыгнул

на кладбищенскую территорию. Тотчас же на стене оказался Терской-Мончегорский, он спрыгнул Мише на руки. И сразу же рядом тяжело спрыгнула Алена.

– Идите за мной и не запнитесь, – шепнул спутникам Андрей Измайлович.

Они подошли к стене, где в полумраке поблескивали доски, с выбитыми на них лозами винограда и надписями на древнееврейском языке. Родовые склепы были украшены бронзовыми пальмами, коваными позолоченными колоннами.

Дальше простирался Страшный ров, а на краю его, как два черных крыла маячили перекладины высоченных старообрядческих крестов. Здесь всё заросло травой. И пройдя по самому краю рва, над пропастью, путники оказались на православной части кладбища.

Терской-Мончегорский шел уверенно, неслышно ступая кривыми ножками по толстым коврам опавшей листвы.

– Здесь! – наконец сказал он.

Андрей Измайлович вручил Мише спички и малый фонарик с толстым огарком свечи, топорик, небольшой кожаный мешок и сказал:

– Зажжете, когда будете в склепе, крышку мы за вами закроем, вы работайте спокойно. Взломайте оба саркофага, всё, что есть ценного, сложите в мешок, стукните в плиту три раза, и мы поднимем крышку. Плиты в склепах залиты пихтовой живицей, Чуете, аромат какой? Но живицу, к сожалению, придётся теперь отковырять, вот так, ножичком.

Алена надсадно закричала, поднимая вверх за медные кольца массивную вертикальную крышку склепа, между порогом склепа и крышкой образовалась щель с полметра высотой.

– Лезьте быстрее! – возбужденно шепнул Андрей Измайлович и подтолкнул Мишу в спину. Миша пролез в склеп, тотчас крышка за ним опустилась. Миша невольно подумал о том, что изнутри эту тяжелую плиту приподнять нет никакой возможности. Спина его покрылась холодным потом. Но Андрей Измайлович сказал же, что они выпустят его, как только он сделает дело! Надо скорее его сделать, как бы ужасно оно ни было.

Он засветил свечу, стало немножко легче, но сердце в груди прыгало, как мячик. В неверном свете он увидел два саркофага на львиных ножках, с чугунными цветами. Поддел топориком одну из крышек, надавил, она медленно сползла, стукнувшись краем о каменный пол. Миша задыхался от страха и запаха тления, он обшарил гроб, но не нашел ценностей. Как же он забыл спросить у Андрея Измайловича, в чём именно будут эти ценности? В шкатулке? Снял крышку и со второго саркофага, и там тоже шкатулки не обнаружил.

«Что же делать? Стукнуть три раза? Да выпустят ли его?». Постучал, как условились. Плита тотчас поползла вверх.

– Ну, что? – прошептал Андрей Измайлович, где добыча?

– Но там нет шкатулки!

– Нет шкатулки, есть что-нибудь иное. Это, милейший, очень богатые люди похоронены. В гробу, где лежит женщина, вы найдете бриллиантовые серьги, можете найти золотой браслет, кольца, колье. В скле-

пе наверняка есть иконы с серебряными окладами, евангелие с дорогими застежками. Разве это не ценности?

– Но вы говорили о другом!

– Не время препираться. Кто-то, значит, спер шкатулку уже. Доставайте то, что есть, вы же хотите отквитать свой долг? Или же будете в тюрьме сидеть?

Крышка вновь опустилась.

Огарок чадил, комок тошноты подкатывал к горлу, сердце сбивалось с ритма, но Миша лихорадочно шарил в гробах. Скорее бы, скорее!

И он нашел и золотые кресты, и цепочку золотую, и бриллиантовые серьги, и иконы в серебряных окладах, и два больших серебряных подсвечника. Всё это спихал в мешок, и поспешил постучать, как условленно.

И вновь плита поднялась, и Андрей Измайлович спросил:

– Ну, что?

Миша перечислил найденное.

– Восстаньте из праха. Вылезайте, любезный! – шепнул Терской-Мончегорский. Он велел Алене взять добычу из мешка. Затем сказал:

– Вот видите? Ничего особенного! Перейдем к следующему склепу.

– Там тоже лежат ваши родственники? – неожиданно для себя спросил Миша. Ужасное подозрение тронуло его душу.

– Родственники! – спокойно ответил Андрей Измайлович, – в отличие от вас, я учился в университете и знаю, что в некотором смысле все люди на земле родственники.

– Я отказываюсь этим заниматься.

– А я вас и не принуждаю. Вы можете этим не заниматься, если немедленно завтра же сможете вернуть мне долг. Сможете? Молчите. Значит, не сможете. Я, ученый человек, по вашей милости вынужден лазить ночью по кладбищам, в мои-то годы, при моем здоровье. Всё только для того, чтобы спасти мою фирму, которую вы так нелепо погубили. А вы, гимназист-недоучка, брезгуете? Да у вас и выхода иного нет...

Они подняли крышку другого склепа, и Миша вновь полез в страшную черноту. И еще трижды пришлось ему переживать ужасное. Но каждая экспедиция в очередной склеп проходила проще. В конце концов, человек ко всему привыкает.

Часа в два ночи они вернулись к тому месту, где проникли на кладбище. Преодолели стену, пошли к фаэтону, где на козлах дремал угрюмый возница.

Андрей Измайлович сказал Мише:

– Нужно будет нам побывать здесь еще не раз, чтобы вы могли рассчитаться с фирмой. Вы понимаете, что должны молчать, если не хотите загреметь в каторгу? Мне-то каторгу не страшно, меня кайлой и ломом орудовать не заставят. А вот с вас сто потов сойдет, и жизнь свою загубите. Так что молчите. Вот два рубля на расходы, идите домой. Завтра будьте также в половине первого в этом самом проулке. Можете перед делом водочки полстаканка пропустить для бодрости. В дальнейшем будете здесь работать с моим заместителем Петром Илловайским-Лакмановым. Подчиняйтесь ему, как мне. И очень скоро вы не только рассчитаетесь с

долгом, но и еще заработаете неплохо. И, возможно, я оставлю вас работать в фирме.

35. ПЛАВАЮЩИЕ ОСТРОВА

Герман Густавович мерил шагами свой кабинет в губернском правлении. Было множество неприятностей в последние дни.

Пришло письмо от омского генерал-губернатора. В Томске побывал инкогнито чиновник для особых поручений. Ему якобы помешали вести расследование и даже подвергли опасности его жизнь! Чиновник этот якобы успел узнать, что томский полицмейстер замешан во многих неблагоприятных делах, связан с преступниками, а сам он беглый каторжник. Панов требовал немедленной отставки и ареста томского полицмейстера.

Господин губернатор был взволнован. Как? Расстаться с Шершпинским? Да ведь это невозможно! Почему не дают работать? Бьют по рукам?

Он написал обстоятельный ответ в Омск. Как же ему уволить своего полицмейстера, если именно этот человек разоблачил крупный заговор местных сепаратистов! Бунтовщики хотели уничтожить власть императора, отделить Сибирь от империи, создать республику по образцу Соединенных Штатов Америки. Эти люди уже успели заронить крамольные мысли в головы гимназистов, корень удален, но он успел дать побег. Только Шершпинский держит в руках тайные нити преступных организаций.

К тому же готовят бунт и польские заговорщики. А Роман Станиславович в свое время участвовал в подавлении польского мятежа, героически сражался, был ранен там. Он здесь стойко борется и с польской крамолой. Как же можно в этих условиях его удалять?

Удаление полицмейстера подорвет авторитет губернатора, подорвет доверие к власти вообще. В этом случае добьются своего клеветники и враги империи. Этого нельзя допустить.

Отправив письмо, господин губернатор вызвал Шершпинского. Теперь он ходил по ковру, ожидая своего верного соратника.

Роман Станиславович вошел четкой военной походкой. Взглянув в лицо начальства, понял, что опять получит головомойку. Вздохнул. Что же делать? Надо всеми есть начальство, только над государем императором нет никого. Впрочем, если вдуматься, то и государь император имеет начальника, его начальство – сам Господь Бог.

– Почему я должен терпеть выговоры и нарекания из-за вас? Как это у вас так получается, что клеветники допекают жалобами самого генерал-губернатора? Он требует вашей отставки и ареста, между прочим!

– Я делаю всё, что могу. Но народ здесь преподлейший. Поймали бакенщички омского чиновника, решили, что он залез им в карман, утащили на реку, стали топить. А он как-то выплыл. Причем же тут полиция? Если бы он по приезду пришел бы к нам, сказал бы: так и так, я прибыл для расследования, мы бы ему охрану выделили. А то бродит по базару, и черт его знает, кто он такой!

– На то и полиция, чтобы всё знать о каждом вновь прибывшем в город. Мне вас учить, что ли, вашей должности?

– Виноват!

– Да не в том дело. Я отписал в Омск, что снятие вас с поста подорвет доверие народа к власти. А вам надо сейчас не спать, а потрудиться, чтобы доверие к власти возросло. Намекните Тецкову, да что там, безо всяких намеков скажите, что я желаю иметь звание почетного гражданина города! Это диктует нынешняя обстановка. Пусть они в думе примут решение. Как говорится – глас народа! Тогда мне легче и вас отстоять будет.

– Немедленно вызову брюхатого!

– Да нет, зачем же? Будьте потоньше, поделикатней, домой к нему съездите, объясните, что хотите содействовать ему во всех торговых делах, полиция многое ведь может, не правда ли? Ну, вот так и действуйте!

И еще. Неплохо бы вам срочно раскрыть какой-либо заговор. Очень было бы кстати! И примите дополнительные меры, чтобы никаких козырей на руках у клеветников и ябедников не было. Поняли? Действуйте. Я в свою очередь отпишу в Петербург, нажму некоторые пружины. Действовать нам надо быстро и четко.

Шершпинский отправился к городскому голове Тецкову с визитом. Ехал в открытой коляске вместе с верным телохранителем. Мундир сиял, и серебряная рукоять сабли поблескивала на солнце, сверкали сапоги.

Чуть сзади ехала еще коляска, в ней было двое в штатском, у каждого в кармане – заряженный пистолет. И впереди ехала коляска, там – дама с кавалером. Роль дамы играл переодевшийся агент, парик ему очень шел, очень приятная получилась дамочка. И у неё за пазухой был заряженный пистолет, как и у «кавалера». Всё это была охрана полицмейстера.

В это самое время по городу и его окрестностям катили телеги, коляски, пролетки, кабриолеты, дилижансы, ехали верховые.

Два дорожных фаэтона миновали бассейн, который именовался не иначе, как Кишочка, ибо здесь колбасники полоскали кишки для колбас. Проехали фаэтоны колбасную Мацкевича в доме Крючкевича, далее миновали они район, именуемый Трясихой, ибо там было болото, оно высохло, а кочки остались. В этом месте экипажи немилосердно трясло. В трактире Светлица вовсю играла механическая шарманка известную песню:

Кипел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
На высоте стены кремлевской
Стоял он в сером сюртуке.

Песня эта близка была томичам потому еще, что пожары были бичом этого деревянного таежного города, её играли во многих трактирах, на базарах.

Фаэтоны выехали к верхнему перевозу, погрузились на паром. Че-

рез какое-то время фаэтоны уже катили по чуть заметной травяной дорожке к высокому мысу, на котором стояла стена бора.

Только за городом путники начали разговаривать в полный голос, шутить и смеяться. Ехали в фаэтонах: гласный Федор Ильич Акулов, Василий Васильевич Берви-Флеровский, граф Разумовский, Дмитрий Павлович Давыдов и Амалия Александровна фон Гильзен.

– И что? Эти острова действительно плавают? – допытывалась баронесса.

Федор Ильич отвечал:

– Сами увидите!

Они проезжали многочисленные холмы и ямины, поросшие великолепными изумрудными мхами. Где-то здесь ушел в землю древний город, отмеченный на старых европейских картах, как Гаустин, а местные сказители называли его Грустиной.

– Разве здесь грустно? – воскликнула баронесса. – Ничего более красивого я в жизни не видела. Такой чистый и неожиданный бор. Сколько увалов, сколько озер, ручьев, речушек!

– Да, здесь можно найти любые грибы и ягоды, – подтвердил Федор Ильич. – А пейзажи не уступят Швейцарии. Но мы стремимся к озеру с плавающими островами.

Берви-Флеровский запел:

Шуми, Иртыш,
Струитесь воды,
Несите грусть мою с собой,
А я, лишенный здесь свободы,
Дышу для родины драгой...

Прогулка была затеяна совсем неслучайно, нужно было вдали от лишних глаз выработать план борьбы с Лерхе и Шершпинским.

Фаэтоны разом остановились, и взорам открылась изумительная картина: по обширному чистому озеру, другой берег которого был еле виден вдали, плавали большие и малые острова, поросшие шиповником, бояркой, калиной, черной и красной смородиной, голубикой, черникой, клюквой.

– Почему они плавают? – воскликнул граф Разумовский.

– Потому что им так нравится! – весело отозвался Федор Ильич. – Вы же в молодости тоже любили плавать?

– Но я не остров!

– Как знать? Каждый человек – островок в этом бескрайнем мире! – вмешался в беседу Дмитрий Павлович Давыдов.

На зеленой лужайке, под сенью могучих берез, были разостланы скатерти и раскиданы кожаные диванные подушки. Берестяные блюда с пирогами, туюски с черной и красной икрой, голова сахара в окружении разноцветных заварных чайников и чашек – всё это так хорошо здесь смотрелось! Был наполнен озерной водой и уже начал пофыркивать огромный двухведёрный самовар. Не обошлось и без водки и ликера.

Берви-Флеровский чокнулся рюмкой горькой с графом Разумовским и спросил:

– Как ваше имя-отчество? А то всё граф да граф! Официально очень.

– Кирилл Григорьевич я, – ответил Разумовский.

– Интересно! Последний гетман Украины и президент Петербургской академии наук. Но мне томичи говорили, что иногда вы называете себя именем своего старшего брата, морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны.

– Называю, ибо это тоже был я.

– То есть, как? Ведь фаворитом был старший брат, а младший – гетманом, это были разные люди, и возраст их был разный.

– Так принято считать. На самом деле я был сначала одним, а потом стал другим. То есть, переродился. Хотя вам в это, возможно, трудно поверить.

– Да, вы правы! – сказал Василий Васильевич, – трудно. Вот и возраст, гетман сейчас был бы значительно старше.

– Вот и видно, что вас не тому учат в университетах! – усмехнулся граф Разумовский. – Старше! Моложе! Аргумент! В какой-то момент произошло временное изменение моей жизни. То есть время стало перетекать в обратном направлении. Как-то получилось, что за год я прожил два. Вот и всё.

– Изумительно! – воскликнул Василий Васильевич. – Если бы вы сделали сообщение в Академии наук об этом, вас бы на руках носили. Это же новое слово в науке!

– Вы вот не верите, значит, человечество еще не созрело для таких новостей! – очень серьезно сказал граф Разумовский. – Давайте закончим эту дискуссию, не для неё мы сюда приехали. И зовите меня Кириллом Григорьевичем, которым я сейчас и являюсь.

Да, не для праздных разговоров собралась здесь эта компания. Если бы Шершпинский знал об этих заговорщиках!

Берви-Фелеровский вызвался провести опрос свидетелей и отправить с нарочным бумаги в Омск и в Петербург, подключить к делу прессу. В этом должны были помочь Амалия фон Гильзен, граф Разумовский и Дмитрий Павлович Давыдов. Федор Ильич поклялся выступить в думе с разоблачительной речью, что, конечно, придаст смелость обывателям, у которых теперь рты, словно глиной замазаны.

Солнце уже отбрасывало длинные тени, когда один из островов поплыл к берегу. Остров подплыл совсем близко, и вдруг с него на поляну скакнул лосенок. Высокий и тонкий, он помчался, запрокидывая голову, и в момент исчез среди холмов и деревьев.

Компания собрала посуду, скатерти и подушки. Фаэтоны покатали в обратный путь. В Томск они въехали уже в темноте.

В эту самую минуту Шершпинский выходил из особняка Тецкова, находившегося в переулке неподалеку от пристани и базара. Полицмейстер был изрядно пьян, его провожал не менее пьяный городской голова. Он повторял:

– Мы не без понятия, Роман Станиславович, проголосуем, как надо! Эта дума у меня вот где! – Тецков сжал кулак.

– Да уж побеспокойтесь, ваше степенство! От этого зависит благо-расположение к вам господина губернатора! А его родители с самим императором с одних блюд вкушали. Так вот!..

Роман Станиславович был доволен. Этот потомок Ермака был на удивление понятлив. Вообще хороший человек. Молится в единоверческой церкви, дал деньги на постройку придела. Собирает предметы старинного казачьего быта. Казачье оружие. У него в зале висит дорогая картина. Там изображен атаман Ермак в виде рыцаря, закованного в латы, и с серьгой в ухе.

Через день на заседании городской думы Дмитрий Иванович Тецков огласил ходатайство общественности города. Просили присвоить звание почетного гражданина Томска господину губернатору Герману Густавовичу Лерхе.

– Какие будут мнения?

Голос Тецкова был торжественен, золотая цепь сияла. Он был первым городским головой города. До этого была городская ратуша и ратманы. Царь-реформатор, его императорское величество Александр Второй, издал указ о создании сословной городской думы. И первым в истории Томска городским головой был избран Дмитрий Иванович! Это ведь, что-нибудь да значит. Купцов в Томске много, а выбрали его! И сколько бы веков не прошло, всегда в истории будет писано, что первым головой Томска был он, Тецков! И цепь эту золотую, которую купцы купили в складчину для обозначения важного сана, он первым надел. А еще Герман Густавович обещал ему орден Святой Анны.

– Итак, какие будут мнения?

И вставали, умильно улыбаясь, говорили по очереди, да, достойнейший человек Герман Густавович! Это такое счастье, что он теперь у нас губернатор. Столько сделал! Создал! Можно сказать, что тут нужен поэт, чтобы описывать деяния его благороднейшие! Наш язык слишком слаб! Будем счастливы, ежели будет он почетным гражданином. Каждый горожанин этому крикнет свое восторженное «ура». Мы. Единогласно. Благоговейно. Первостатейно...

Говорили, словно жужжали рои мух. Говорили, говорили. Даже притомились.

И тогда встал Федор Ильич Акулов:

– А теперь я свое мнение скажу. Нам общество доверило думать и заботиться о благополучии горожан. Какое же может быть благополучие, ежели полицмейстер связан с бандитами, берёт от них взятки? Губернатору он поставляет шлюх из белошвейных мастерских и домов терпимости, оргии идут. О том уж все горожане наслышаны. А вы тут восторги свои верноподданнические изливаете! Да какая же вы дума? У вас, может, и думать нечем? Разбои случаются даже днём. А невинных людей тянут в кутузку. Губернатор не принимает мер. Мало того, губернатор изнасиловал девочку, столбовую дворянку Оленеву... Доказательства? Есть доказательства. Я их перечислю...

Полтора часа говорил Федор Ильич, глаза его сверкали: правда, что шило, её в мешке не утаишь.

Он говорил, а дума пустела. В страхе выходили из неё гласные раз-

ных сословий: и крестьяне, и ремесленники, и дворяне. Рехнулся? Да разве ж можно? Такое – о господине губернаторе и полицмейстере!

В конце концов, в зале остался один лишь Федор Ильич, да за председательским столом сидел и нервно тербил свою золотую цепь Тецков. Пытался прервать Федора Ильича, но тот махал рукой:

– Нет уж, ты слушай, – и продолжал говорить свое.

Когда он закончил речь, Тецков встал:

– Ты, Федька, ошалел, вот и весь тебе мой сказ.

36. ЗЕЛЕННЫЕ ЛОШАДИ

После выступления Федора Ильича в думе прошло уже немало времени, а Томск весь гудел, как потревоженный улей. На востоке говорят: в стенах есть мыши, у мышей есть уши. Так и вышло. Многие из думы ушли во время этой речи, лишь Тецков дослушал до конца, но все всё знали: что сказал, как сказал, и от себя добавляли еще. Только и слышно было: «А Лерх! А Шершень! Вот бакланы! Вот журфикс! Вот пандемония!».

Язык без костей, да как жить без новостей?

А газеты писали: «Городская дума по многим просьбам жителей Томска присвоила звание почетного гражданина Томска глубокоуважаемому нами его превосходительству господину губернатору Герману Густавовичу Лерхе. 1 октября сего года вечером в общественном собрании состоится торжество с вручением господину губернатору свидетельства, памятного жетона и ленты».

В бывшем дворце Горохова протопили печи, привезли туда цветы из теплиц и магазинов Адама Флориана Верхрадского. Пожарники надели парадные мундиры, начистили свои медные и серебряные каски, начистили валторны, тубы и басы и прочие духовые инструменты мелом до солнечного блеска.

Залу со сценой осветили новейшими, сильными газовыми и керосиново-калильными фонарями и лампами. Стало светло, как днем. В паркете заменили распатанные квадраты, натерли полы воском. Шик, блеск, красота! На телегах привезли из губернаторского дворца, из асташевского дворца и из других богатых домов, пальмы в кадках. Установили пальмы возле стен танцевальной залы. Публика могла здесь почувствовать себя, как в тропическом лесу.

В обширной столовой суетились лакеи, размещая на столах бутылки и блюда с закусками. Здесь, неподалеку от входа устроили фонтан, из которого во время пиршества должно было взметнуться струями бургундское вино.

Вечерело. К подъезду стали подъезжать экипажи. Здесь тоже соблюдался иерархический порядок. Ближе к подъезду могли останавливаться кареты первых лиц города, чем незначительнее был чин того или иного гражданина, тем дальше от подъезда останавливалась его карета.

Вскоре кареты выстроились вдоль Почтамтской, от здания общественного собрания до развалин недостроенного собора. Граф Разумов-

ский сумел втиснуть свою карету среди других экипажей возле самого подъезда, полицейские пытались его гнать, но он на всё отвечал:

– Подите прочь, аспиды! Я граф! Я бывший гетман Украины! За-рублю!..

В дело вмешался сам чествуемый. Герман Густавович как раз вышел из своей черной кареты с золотыми гербами, услышал перепалку, сказал полицейским чинам:

– Оставьте его в покое!

Чины козырнули и отошли от графа Разумовского.

Служители гардероба не успевали принимать бекеши, шубы и дошки. В гардеробной даже пол состоял из зеркал. В них отразилась Ядвига Понятовская в сопровождении Цадрабана Гатмады. Её сестра Гелена шла под руку с Вильямом Кроули. Тот был в английском клетчатом костюме. Появился и негр Махамба, облаченный в ярко-красный костюм, он сверкал белками и зубами.

Представители купечества были все или в смокингах, или во фраках, у каждого из кармашка выглядывал уголок белоснежного платка, и поражала снежной свежестью накрахмаленная манишка. Они не все умели писать и читать, но все умели считать, а потому имели деньги. Иные были украшены медалью, а то и орденом.

Многие женщины повязали головы фероньерками: лентами с драгоценным камнем на лбу, блистающим, словно магический третий глаз.

Граф Разумовский разукрасил свою грудь самыми различными орденами, среди которых было несколько иностранных. Он горделиво прохаживался по зале, поглядывая свысока и на купцов, и на дворян.

Созданные во Франции, Италии и Испании ароматы носились по зале. Их творцы и представить себе не могли, что где-то на краю света, в стылой и дикой Сибири будут пользоваться их духами.

Дамы и господа прогуливались, говор звучал, как тысячи родников. Но гром барабанов и пение меди всех позвало в зрительную залу, где манили особенным изгибом своим обитые бархатом кресла.

И появился на сцене солидный, благообразный Тецков, который впервые в жизни надел фрак, пошитый специально для этого торжества. На ногах его, более привычных к сапогам, сверкали лакированные ботинки.

Дмитрий Иванович поправил на груди золотую цепь. Он огласил решение думы о присвоении губернатору звания почетного гражданина Томска. И Герман Густавович тотчас встал рядом с ним, а Тецков на вытянутых руках показал всем атласную ленту, которую и надел затем на Германа Густавовича.

Амуры на лепных потолках трубили в свои малые трубы, пожарники дудели в свои большие трубы. Обрамлявшие сцену гирлянды цветов благоухали. Герман Густавович очаровательно улыбался, в зале были слышны женские вздохи и возгласы:

– Прелесть!

– Умница!

– Душка!

Граф Разумовский негромко, но четко произнес:

– Забить еловую шишку, выпустить крови лишку, а нос выкинуть на мороз...

На него оглянулись, но шикнуть не посмели, а то еще и не такое услышишь!

Олимпий Павлов вынес большой свиток со своими поздравительными стихами. Закончив чтение, передал свиток Герману Густавовичу. Занавес закрылся. Губернатор сошел в зал, сел в первом ряду рядом с супругой.

Когда занавес открылся вновь, на сцене стоял хор гимназисток. Светлые голоса поплыли в зал. В первом ряду хора пела Верочка Оленева. Она не узнала господина губернатора, может, тому виной были отблески калильных фонарей.

Она вообще забыла о том, что случилось с ней в гостинице. И про саму гостиницу забыла. Она была спокойна. В гимназии уже вновь начались занятия, мысли были только об этом. О подругах.

Встретила она однажды возле гимназии Мишу Зацкого. Он казался ей странным, глаза его блуждали, на губах была улыбка. И говорил он о том, что погибает. И она вдруг поняла, что он пьян. Ей стало противно и страшно. Она убежала. Ну что ж, при первой встрече она не могла понять его. Теперь ясно, что и думать о нём не стоит. О мальчиках ей вообще думать рано.

А праздник продолжался. Гости перешли в столовую, звучали тосты, погасили свет, и тогда брызнул в зале фейерверк, и забил винный фонтан. Дамы и господа подбегали к фонтану и подставляли бокалы.

Пригласили всех в танцевальный зал. Сначала шли медленные танцы. Духовой оркестр исполнил матрадур, а уж потом – кадрили.

Темп танцев нарастал. Объявили новинку сезона под названием «Немецкие выверты». Для затравки выскочили специальные танцоры в узких брючках и блестящих жилетах и пошли выписывать кренделя ногами. К ним присоединилась молодежь.

Но вот грянули гармошки и барабаны, и в круг вылетели танцоры в русских костюмах и резво, лихо сплясали «Барыню», что было встречено овацией. Знай, мол, наших!

В перерыве между танцами пел хор арестантов, и играл на скрипке пан Зигмунд Савицкий, бывший капельмейстер самого князя Радзивилла.

Разъезжались поздно. И тут случился великий конфуз. Две лошади Шершпинского оказались без хвостов и были окрашены в зеленый цвет, а фореитор валялся без чувств возле кареты. Прекрасные рысаки господина губернатора стояли без хвостов и ушей, обритые наголо и дрожали. Куда-то вообще исчез кучер, а полицейские у подъезда были вдребезги пьяны.

Замечательная пара гнедых мистера Вильяма Кроули была мастерски расписана черными полосами, так, что из двух гнедых получились две натуральных зебры. Даже буланый жеребец графа Разумовского не был пощажён. Буланому остригли хвост, и в зад наглым образом воткнули пышный букет живых цветов.

Дмитрий Иванович Тецков и вовсе не мог найти своей каурой пары. Карета была там, где он её и оставил, возле подъезда, внутри была огром-

ная куча еще дымившегося дерьма, видно, не менее пяти человек постарались. Возница сидел не на облучке, где ему полагалось, а внутри кареты, и лыка вязать не мог.

– Полиция! – вскричал Дмитрий Иванович. – Есть тут трезвый полицейский, или же все перепились?

Тотчас же подбежал к нему молоденький полицейский.

– Где мои лошади? – грозно спросил Тецков.

– Так что, ваше степенство, их коркодил загрыз!

– Опять крокодил! Весь город болтает! С ума все посходили? А ну, дыхни!

Полицейский дыхнул, он был трезвым.

– Ты мне чепуху не пори, ты скажи, если что видел.

– Видел, коркодил на них бросился, они побежали, он за ними, а я за ним. Возле развалин он их догнал, разорвал в клочки!

– Ну, брат, кто только тебя в полицию принял? Веди, показывай. – Дмитрий Иванович взял у лакея ручной керосиновый фонарь. Шел, светил, а что фонарь, если в двух шагах ничего не видно?

Но действительно неподалеку от собора была лужа крови на первом снегу, и валялась лошажья голова, глаз её с ужасом глядел на Тецкова. От второй лошади ничего не осталось. Волосы у Дмитрия Ивановича встали дыбом. Он повернул обратно, бормоча на ходу:

– Да какой же крокодил, твою бабушку в ребро! Откуда? Да ведь он замерз бы, африканская всё же скотина! И вообще...

В это время раздался позади страшный рык, Дмитрий Иванович, забыл, что он потомок Ермака, и припустился бежать, а за ним скачками неся молоденький полицейский, покрикивая:

– Ой! Ой! Ой!

А Миша Зацкой именно в эту минуту приблизился к Вознесенскому кладбищу, различил в полутьме фаэтон в переулке, подошел. Из фаэтона вышли Терской-Мончегорский и Алена. Андрей Измайлович сказал:

– Что-то вы, мой друг, пить много стали? Разве это хорошо для молодого человека? Я более, чем вдвое вас старше, а ведь не пью. Выпивка – баловство слабых. Вы что, для храбрости хлещете, что ли? Или муки совести заглушаете? Не советую, пьянство еще более отвратительный порок, чем воровство. Да мы ведь и не воруем, мертвым не нужно то, что мы у них берем. Это благородно: вернуть жизни изъятую у неё вещь!

Андрей Измайлович похлопал Мишу по плечу:

– Ну не хмурьтесь, вы уже почти выплатили свой долг. Сегодня идем в последний раз. Посмотрим три склепа, и всё! Да скоро и холода грянут. Ладно! Идем!

– Последний раз! Слава богу! – Миша вздохнул. – Да, видно, так и будет, потому, что сегодня сам Андрей Измайлович приехал, до этого много раз приезжал его помощник, грубый, злой человек.

Они подошли к знакомой стене, постояли, прислушались, перелезли.

В двух склепах оказалось на удивление много драгоценных вещей. Ну да, Андрей Измайлович и его помощники заранее намечали такие захоронения, где лежали самые богатые томичи. Правда, случалось, что и у миллионщика в склепе и в гробу ничего не было. Но такое бывало ред-

ко. Всё же богатые люди стремятся богато проводить своих мертвых в мир иной.

Вот и третий на сегодня склеп. Алена и Андрей Измайлович потянули за кольца плиту, Миша привычно юркнул в щель. Быстро сделал свое дело и протянул мешочек с добычей Терскому-Мончегорскому. Хотел вылезти, но Андрей Измайлович тревожно сказал:

– Фонари приближаются! Охрана! Мы тебя закроем, ты затаишься на полчаса. Вернемся, выпустим. Ведь если поймают – в каторге сгноят!

И тяжелая плита отделила Мишу от мира, он остался в настывшем склепе с его безмолвными обитателями.

Минут через двадцать, усаживаясь в фаэтон, Андрей Измайлович шепнул Алене:

– Пришла пора от него избавиться, пьет, болтает всякую чепуху, того гляди, крючкам сдаст.

Алена погладила Терского-Мончегорского по лысинке:

– Ах, ты мой умненький, хорошенький, славненький! – и обняла его могучей рукой.

37. СКЕЛЕТ МАМОНТА

Федора Ильича Акулова забрали прямо в его мясном магазине, когда он отдавал распоряжения приказчикам.

Два полицейских чина ухватили его за руки:

– Вы арестованы!

– На каком основании? Меня вообще арестовывать нельзя, я гласный городской думы!

– Был гласный, станешь согласный! – хохотнул один из полицейских, дав Федору Ильичу пинка. – Иди, не кобенься, не то хуже будет.

И его, как негодяя, какого, провели среди белого дня по городу в тюремный замок. И многие купцы выглядывали из своих домов и лавок, и прохожие останавливались, и проезжие останавливались, даже разворачивали экипажи.

К воротам тюрьмы Федор Ильич и полицейские подошли, сопровождаемые изрядной толпой. Одни сочувствовали, другие злорадствовали. Слышались разные мнения:

– За правду страдает!

– Так и надо, не моги на начальство клеветать!

Как раз в этот день на многих заборах появились прокламации. А в них говорилось: не надо подчиняться властям, надо сопротивляться.

Появление прокламаций тотчас связали с арестом Федора Ильича, по городу, из дома в дом, шло:

– Федька-купец бунтовщиком оказался! Против власти пошел, вот тебе гласный!

В тот день, как привели Федора Ильича в тюремный замок, тюремная охрана была усилена, полицейские металась туда-сюда возле забора. И горожане решили и приговорили:

– Никогда такого не было, стало быть, Федька хотел убить не толь-

ко губернатора, но и самого государя императора! Никак не меньше! И чего не хватало? Столько магазинов, столько денег. Жил бы да жил! Так нет, надо злодействовать!

А переполох в тюрьме был совсем по иной причине. Каким-то образом исчез из тюрьмы иностранный агент Улаф Страленберг, которого велено было стеречь пуще глаза. И стерегли, держали за семью замками, в потайной яме, где обретались самые страшные преступники. И сбежал!

Как? Никто понять не мог. Может, бандиты там его съели? Бывало, что и человечиною питались. От них всего можно ждать! Но сколько ни искали, нигде и костей не нашли. Кости-то они бы не сгрызли, небось, подавились бы. Да и чего в нем есть-то было? За время сидения в тюрьме он так исхудал, что только кости одни и остались.

Шершпинский избил трех охранников, наорал на начальника тюрьмы, пообещав выгнать в шею. Вызвал лучших сыщиков и объявил премию за поимку беглеца. Следить было велено за домом Каца, за всеми домами на горе. За Гороховым, за всеми томичами, которые когда-либо имели с Улафом дело. Но таковых немного нашлось. На почтовые станции разослали рисунки с изображением этого зловредного шведа.

Теперь если он надумает из города уехать, то только по тракту можно. Еще до побега Улафа Страленберга ушел из Томска последний пароход. Потому велено было стеречь шведа на трактах, на дорожных станциях.

А Улаф Страленберг уже был в безопасности. И вышел он (а точнее – вылез) из тюрьмы по подземному ходу, который был прорыт к кустам на тюремном дворе. Рыли его специалисты. Была куплена изба напротив тюремного замка. Горный инженер измерил ночью расстояние до забора.

Работа началась. Сначала было расширено подполье в избе, потом стали рыть по направлению к замку. Забойщики орудовали кирками с короткими рукоятками, выставляя впереди себя щит на вертикальной ножке. Этот деревянный щит укрывал их головы, как зонтом, и ограничивал высоту потолка будущего тоннеля. Высота была чуть больше метра. Отрытую землю складывали в рогожные мешки, и вывозили из двора по ночам на телегах.

Настал день, когда дорожный инженер, обследовав тоннель, установил, что ход уже находится под территорией тюрьмы.

Холодной ноябрьской ночью служитель тюрьмы Гаврила Гаврилович спойл коридорных охранников по случаю своих именин. Перед этим дома он съел килограмма два творога с древесным углем. Потому он и остался почти трезв, когда охранники уже и мычать не могли.

Взяв у них ключи, отпер он секретную дверь, и вызвал Улафа из ямы, прикрывая рукой лицо свое, чтоб каторжники не поняли, кто пришел. Улаф из ямы вылезал неохотно, думая, что его опять будут пытаться.

Гаврила Гаврилович вывел Улафа на двор, сообщив шепотом, что ученые люди выполняют свое обещание спасти его.

В кустах возле забора Улаф спустился в лаз, по ходу он мог передвигаться только на четвереньках. При этом впереди его шел маленький человечек, неведомый тролль с крохотным фонариком, тролль оборачивался, и странно сверкали красные белки выпуклых глаз.

Через десять минут они оказались в избе, окна которой были плотно занавешены. Тролль протянул Улафу руку:

– Поздравляю вас! Вы свободны! Разрешите представиться: Матвей Зонтаг-Брук. Выпускник Дерптского университета. Я много слышал о вас, еще когда учился в Германии. И очень польщен тем, что смог вам оказать эту маленькую услугу.

– Я так вам благодарен. Всё это похоже на чудо: вы, этот подземный ход...

– Ничего особенного, я по специальности археолог, палеонтолог, наша задача вытаскивать ценности из-под земли. Подземный ход сейчас же заполнят землей, камнями и утрамбуют, а нам с вами лучше как можно быстрее уехать отсюда. Идемте! Экипаж ждет!

Они вышли во двор, где их ждала карета. Зонтаг-Брук распахнул дверцу, сделал приглашающий жест, подождал, пока Улаф усядется, и взобрался в карету сам:

– Гони!

Возница тронул вожжи, рысаки помчали. Окна кареты были занавешены. Рессоры смягчали качку. А сразу после отъезда этой кареты, через тот же подземный ход люди Зонтага-Брука помогли покинуть тюрьму другому человеку. Это был художник-фальшивомонетчик Федор Дьяков, он же Зигмунд Големба.

Улаф об этом не знал, он с радостью ощущал, что карета уносит его от места страданий. Через полчаса езды, стало ясно, что выехали за город, карету стало мотать сбоку набок.

– Подъезжаем! – сказал добрый тролль. – Господи! Как они вас измучили! Кожа да кости. Сейчас мы хорошо поужинаем.

– Более всего мне хочется уснуть, – сказал Улаф, – по-человечески, в кровати.

– И это от вас не уйдет, дружище! – сказал Зонтаг-Брук, – сейчас слуги согреют ванну, потом будут ужин и сон.

Карета подъехала к одинокому загородному дому. Он был окружен высоченным забором. Каретники во дворе были каменными. Неподалеку от дома был фонтан с мраморными наядами. Два фонаря на высоких каменных воротах бросали лучи на кочковатую безжизненную равнину.

Улафа уложили в ванну, дали чистое бельё, одежду и полотенце. Причем и бельё, и одежда точно подошли ему по размеру. Всё это его восхитило и удивило.

Затем был ужин. Жаркое из свинины. Вина не подавали. А на десерт был торт в виде тюремного замка.

– Сам стряпал! – признался Матвей Зонтаг-Брук, – люблю сладкое, это моя слабость. Правда, вкусно?

– Это торт с особым значением, как я понимаю? – сказал Улаф.

– Да мы съедим этот проклятый тюремный замок, где вас так истязали! – воскликнул добрый тролль. – Проклятие тем, кто мучает ученых! Пусть все палачи горят в аду!

После ужина Улафа отвели в уютную спальню, где пуховые перины и подушки приняли в свои объятия его измученное тело.

Утром он снова принял ванну, затем был завтрак. Потом Зонтаг-Брук провел Улафа в большую залу, где стоял достававший чуть не до потолка скелет мамонта.

– Мы с вами находимся в удивительной стране, дорогой друг! – воскликнул Матвей Зонтаг-Брук, – то, что в европейской части России давно выкопано из недр земли, здесь еще и не начинали по-настоящему копать. Здесь рай для исследователя. Вы видите перед собой скелет давно вымершего животного. Подумайте! Это животное жило здесь в древнекаменном веке. За верхним перевозом есть высоченный утес, скала эта называется Боец. И неслучайно. Тут стремительная Томь с размаху налетает на каменную громаду, разбивается о гранитную грудь, делает поворот, и несколько успокаивается, втекая в более широкое русло.

Так вот, под этой скалой случайно обнажились в песчаных наслоениях обугленные кости животных. Среди них было множество костей мамонтов. Были там неподалеку следы стоянки древнего человека. Климат тогда здесь был значительно теплее, много было южных растений, древовидных папоротников, лиан. И фауна была соответствующая. Древние жили у реки. Они охотились на мамонтов.

Поднимались наверх, прятались в зарослях. Завидев мамонта, стучали в барабаны, метали в него копья, гнали его на высокий утес. Мамонт, убегая от преследователей, падал со страшной высоты. Тогда охотники спускались вниз и каменными ножами и топорами разделявали тушу. Они разводили костры, пекли мясо и коптили его впрок.

– Вот этого гиганта они тоже заманили в свою ловушку! – Матвей Зонтаг-Брук влез по лесенке-стремянке и погладил череп мамонта. – И в этой голове тоже были какие-то мысли! Эта голова советовала её владельцу есть, пить, любить! И он делал это! Зачем Египет и его пирамиды, если в Сибири так много удивительного!

– Я Сибири еще по-настоящему и не видел! – не без грусти сказал Улаф Страленберг.

– Да-да! Эти злодеи не давали вам работать. Вы не знаете здешних порядков. Продажная администрация. Полиция, которая сама давно стала преступной.

– Но как же здесь вообще можно жить честному человеку?

– Милый друг, люди ко всему могут приспособиться. Неслучайно я поставил свой дом в отдалении от города, среди болот, в неприступном месте. Мои люди вооружены. И у меня есть подземный ход, по которому можно уйти в случае опасности. Я изучил повадки этих полицейских и их тайных агентов, и они меня не застанут врасплох. Неслучайно мне удалось вас выволочь из их паучьих тенет. Теперь вы можете во всем положиться на меня, и спокойно заниматься наукой.

– Я не могу и выразить, как я вам благодарен, господин Зонтаг-Брук! Вы мне спасли жизнь.

– Долг ученых – помогать друг другу. Мне стало известно, что вы ищете историческую реликвию, я с радостью помогу вам в этом.

– Я буду счастлив таким сотрудничеством! – воскликнул Улаф Страленберг. – В деле еще может принять участие Философ Александрович Горохов. Он был первым, кто поддержал меня в этом городе.

– Да-да! Я знаю этого несчастного старика. Ему не повезло с приисками, он потерял всё, что имел. Такие люди, как он, до самого конца испытывают жажду деятельности. Если его энергию ввести в должное русло, он может многое еще сделать для науки. По крайней мере, он нам не помешает! Он, как и мы, не любит полицию. И знает её изнутри, так как в молодости был прокурором. Я пошлю за ним, мы вместе разработаем операцию по поискам вашей реликвии.

И Зонтаг-Брук отправил кучера с каретой за знаменитым «томским герцогом».

Не прошло и часа, как Философ Александрович появился в таинственном загородном доме. Первым делом они обнялись и расцеловались с Улафом Страленбергом, причем Горохов даже прослезился:

– Я уже и не чаял с тобой свидеться, мой добрый шведец! Как же ты исхудал!

– Теперь у меня всё хорошо, благодаря любезности хозяина этого дома. Он меня спас, он меня лечит, он обещает помочь нам в поисках реликвии.

Зонтаг-Брук сказал, пожимая Философу Александровичу руку:

– Каждый в Томске знает Горохова, человека великих познаний и добрейшей души.

– Я где-то встречал вас в Томске, сударь мой, – сказал Горохов, разглядывая апартаменты. – Вы человек запоминающийся, если не сказать более. И дом ваш такой оригинальный, я бы сказал, что это крепость.

– Это так и есть. Когда занимаешься наукой, то поневоле тянет уединиться, чтобы ничто не мешало мыслить. Вы ведь теперь тоже живете отшельником.

– Ну, мой флигель вовсе не так неприступен, как хотелось бы, – заметил Философ Александрович, глядя в окно. Вдруг он воскликнул:

– Разрази меня гром, если это не Алена Береговая, которая меня и Улафа спустила с откоса! Это у неё укрывался бандит, укравший у господина Улафа Страленберга бронзовую фигурку оленя. И бандит этот прозывался Ильей Лошкаревым.

– Алена теперь служит у меня домоправительницей, – сообщил Зонтаг-Брук, – она действительно обладает большой телесной силой. То есть, тем, чего мне самому так не хватает! Посмотрите, как она колет дрова! Никакому мужику не угнаться! Всё мое хозяйство на ней держится. И с лошадьми управляется, и с коровами. А что касается какого-то там Лошкарева, так что ж тут удивительного? Одинокая женщина с двумя детьми, она жила в лачуге неподалеку от пристани. Понятно, что у неё находили иногда приют разные пристанские люди. Тем более, что при её силе ей бояться не приходится. Но теперь она живет здесь тихо, мирно. А её белобрысые отпрыски делают мой дом уютнее и теплее. Я рад.

За обедом обсуждались детали сотрудничества. Зонтаг-Брук предложил купить древний дом, находящийся в полуверсте от соляного склада. Из этого дома можно будет вести подкоп. Дом будет куплен на имя нищего Севастьяна Огурцова. Он имеет медаль за оборону Севастополя. Известный нищий купит старенький дом, это не вызовет подозрения. Есть нищие, которые за милостыню могут купить даже дворец.

В дворне Зонтага-Брука есть опытнейшие мастера горного дела. Работы можно начать сейчас, а кончить к весне. Ведь найти исчезнувший заиленный древний колодец будет не так просто, да еще надо раскопать его, перелопатить многие пуды земли.

– Я верю в успех! – торжественно сказал коротышка-ученый. – Господин Улаф пусть живет у меня, а господин Горохов всегда будет у нас желанным гостем. Только не надо ходить на Воскресенскую гору к дому Каминэров. Не надо никому сообщать, что господин Страленберг находится у меня. Ищейки Шершпинского всюду разыскивают шведского ученого. Они и за вами следят, Философ Александрович. Будьте осторожны. Если захотите нас навестить, занавесьте окно своего дома вот этой розовой занавеской с ромбами. Вот, возьмите. Мои кареты ежедневно бывают в городе. Мои люди увидят эту занавеску и привезут вас. Мы будем рады.

38. ВОЛНЫ ЧЕЛОВЕКА

– Полина, Полина! Ты должна помочь мне! Пойми! Недруги оболгали меня, были доносы в Омск, к генерал-губернатору. Герман Густавович еле отстоял меня! А теперь приехали с проверкой из Петербурга. Всё это подстроил проклятый ссыльный мазурик профессор Берви-Флеровский. Мне пришлось выпустить это болтуна Акулова. У Берви осенью кончился срок ссылки. Так купчик отправил его с последним пароходом, в каюте первого класса! Я не могу Акулова опять арестовать. А он сейчас этой комиссии такого наговорит! Мне нужен сейчас успех, чтоб заткнуть ненавистникам их поганые рты. Но меня преследуют неудачи. Мало того, что Акулова сразу пришлось выпустить, не успел он даже тюрьмы понюхать, случился подкуп под тюрьму. Сбежали два важных преступника. Один из них – шведский шпион, другой фальшивомонетчик. Помогите! Ты можешь вычислить, где находятся бежавшие преступники. Ты ведь можешь и какое-нибудь гнездо заговорщиков мне открыть! А главное – ты можешь повлиять на комиссию.

– Нет, я ничего не смогу сделать. Мне жизнь не мила. Ты говоришь, сбежал преступник, фальшивомонетчик. Но это же тот самый художник, с помощью которого мы отдали бедную девочку в грязные лапы развратника.

– О чем ты говоришь? Герман Густавович – наш благодетель, всё, что я имею, дал он. И разве тебе плохо живется в моем доме? Слуги исполняют любое твоё желание!

– Нет, не любое! Они не могут вернуть мне спокойную совесть. Хватит! Ты окунул меня в такую грязь, что вовек не отмыться и не отмолить грехи. Я сон потеряла.

– Полинка! Иди ко мне! Маленькая моя, я сделаю, что ты хочешь!

– Нет-нет! Довольно! Мне дорого это обошлось! Ой, как дорого! А у тебя нет даже капельки сочувствия. Ты хитрый, расчетливый, жестокий. И тупой! Ты дьявол, скрывающийся в шляпе рога! Иначе бы ты понял, как всё это выглядит со стороны.

– Если ты мне не поможешь, я упрячу тебя в тюрьму! Там тебя так отделают, что через неделю будешь у меня в ногах валяться. Будешь умолять, чтобы выпустил.

– Не дожدهшься! Большая совесть хуже тюрьмы, Тебе этого не понять. Ничтожество! Отстань от меня, а не то помогу комиссии вывести тебя на чистую воду.

– Черт бы тебя побрал, горбатая ведьма! Как не ко времени эти твои бабьи фигли-мигли!

Шершпинский выбежал из комнаты Полины, хлопнув дверью. Он едва сдержался, чтобы не ударить её. Всё гадко. Комиссия. Поляки затаились. Этот побег из тюрьмы. Кошевники мчат в зеленых кошевках среди бела дня, убивают и грабят. И Полина заочевряжилась. А вдруг и правду донесет? И девчонку эту расколдует? Карга проклятая! Может, сказать Пахому, чтобы на обед дал ей пельменей с крысидом, да и делу конец?

Да нет. Она еще пригодится, пригодится. Обычные женские капризы. Мало ли что? Она его любит, она для него всё сделает. А пока надо на всякий случай к Давыдову съездить, какую-то чертовщину в доме Асинкрита Горина творит. Доктора жаловались, шарлатан, дескать, всех пациентов отбил. Лечит черт его знает чем! Припугнуть его, так он своими маятниками и зеркалами на мятежников и наведёт. Поможет. Вот и собьем с Полины спесь. Пусть знает, что и без неё обойтись можно.

Шершпинский крикнул человеку со многими фамилиями:

– Морозов! Запрягай теплую карету! Окна-то настыли, куржак сплошной, улицы даже не видать!

Сидя в возке, Шершпинский задумался. Всё плохо. Господин губернатор сердится. В последний раз жаловался на одиночество. Купил и обставил великолепный дом, а супруга была в нем лишь кратковременной гостьей. Большую часть года с малютками дочерьми проводит в Петербурге. Он весь в делах и заботах. А отдохнуть, развеяться от государственных забот не получается, какие-то моралисты следят за его жизнью. Разве здесь Европа? Это там, на западе, кажый кустик подстрижен, каждая дорожка подметена. Здешнюю тайгу подстричь садовыми ножницами? Здешние тысячи и тысячи верст метлой подмести?

Он изучил все дальние края губернии, самолично Алтай весь облазил. Он вводит такие реформы, что жизнь в крае хоть медленно, но меняется к лучшему. Что еще можно сделать в краю ссылки бандитов и разных неблагонадежных элементов? А благодарности никакой, отдыха никакого, только доносы ползут в Петербург. И нет возле него близких людей. А те, кого он приблизил, не оправдывают надежд.

Шершпинский намек губернатора понял. А он уже устал его развлекать. Как? Мнимые польки уже надоели и господину губернатору, и Цадрабану Гатмаде, и Вильяму Кроули, и даже негру Махамбе. Да и ему, Шершпинскому, тоже.

Надоело с бардашными мамками договариваться, с арфистками и аферистками. Из-за этих шашней иные чиновники позволяют себе непристойные намеки. Даже мещанишки поганые вслед ему зубы скалят. Видимо, как-то дошли до них слухи, что Шершпинского снять с поста

хотят. И теперь он думал: «Только бы пронесло! Если удержусь, шкуру со всех спущу!». Но он уже не был так уверен в себе, как прежде. И нельзя было больше потакать прихотям губернатора, но и понятно было, что без этого на посту не удержаться. Что делать? Ведь в случае чего, отвечать придется ему, а с губернатора грязь стечет, как с гуся вода.

В доме Асинкрита Горина полицмейстера не ждали. В прихожей его встретил граф Разумовский. Вот уж кого видеть Шершпинский никак не хотел!

– Дмитрий Павлович принимает?

Как бы сам с собой беседуя, Разумовский сказал:

– Коли болит пузо, забить три арбуза, коли болят ноги – отсечь на пороге!

Шершпинский хотел осадить зловредного старика, но решил не обращать внимания на его выходки. Потом можно и посчитаться.

– Доложи, что я к нему с визитом.

– Хоть вези там, хоть не вези там, нет у нас места таким паразитам!

– Ах ты пень трухлявый! Да я тебя в порошок сотру!

Неизвестно, чем бы кончилась перепалка, но в прихожую выглянул Давыдов:

– Роман Станиславович? Чему обязан?

– Да вот, заехал. Наслышан о ваших удивительных опытах. Весь город о них только и говорит. Решил поллюбопытствовать.

– Врачи, должно быть, жалуются?

– Не скрою, что и это есть, но я, ей-богу, не с проверкой или претензиями. Любопытство заело. Рассказывают, что вы просто чудеса творите! Человека насквозь прозреваете. Ваши маятники, зеркала и чудодейственные составы у всех на устах сегодня.

– Всё это, Роман Станиславович, весьма преувеличено молвой. Не вам объяснять, как порой растут и множатся слухи. Да вы проходите, проходите. Раз уж пришли, то, конечно, постараюсь удовлетворить ваше любопытство.

Шершпинский прошел вслед за Давыдовым в просторную комнату, где по стенам висели зеркала и знаки зодиака. С потолка свисали странные приспособления в виде качающихся бронзовых булав и шаров.

– Искусственное золото не пробовали создать? – пошутил Шершпинский.

– В Сибири, слава Богу, естественного хватает. Я пытаюсь иное золото добывать: человеческое здоровье.

– Слышал я, что и судьбу предсказываете?

– Вот это и есть преувеличение. Я предсказываю не судьбу, а предрасположенность человека к той или иной судьбе. Это можно предположить по свойствам его организма и характера.

– По форме носа и ушей?

– Ну, это было бы слишком примитивно. Но и на форму головы, рук, рта и носа тоже обращается внимание. Главное же всё-таки не в этом.

– В чем же?

Давыдов пригласил Шершпинского сесть в кресло, принёс сигары. Они закурили. И Давыдов сказал, выпуская из носа струйку дыма:

– Главное в том, что каждый человек излучает волны.

– Тепловые, как печь?

– Естественно, животных ведь так и называют – теплокровными.

Но кроме тепла, человек излучает волны своего головного и спинного мозга. Научись мы читать эти волны, расшифровывать их, и по многим болезням можно будет ставить диагноз без ошибок.

– И вы, говорят, эти диагнозы уже ставили?

– Ставил. И болезни лечил. Шарами из разноцветных стекол, системой зеркал, минеральными порошками. Собственно говоря, земля, камни, деревья и человек состоят из одних и тех же элементов. Зная, где нарушилось в человеке природное равновесие, можно попытаться восполнить недостающее. Кроме того, я изучаю свойства драгоценных камней. Уже давно замечено, что они несут в себе особую силу. Некоторые камни могут лечить, иные могут вас в гроб загнать. В них спрессовано каким-то образом и прошлое, и будущее. В них спрессованы энергия и опыт. И это тоже надо расшифровать.

– Значит, вы научились прочитывать волны человека. И вы можете читать чужие мысли?

– Ну, нет! Вы уже хотите принять меня на работу в полицию? Чтобы я раскрывал тайные мысли преступников?

– А что? Мы бы вам хорошо платили! – усмехнулся Шершпинский.

– Боюсь, что я бы вас разочаровал. Прочесть то, что таится у человека под черепной коробкой, я пока не в силах. Могу уловить настроение, но это могут делать многие люди, особенно женщины, у них кожа тоньше, они чувствуют лучше нас, мужчин.

– Можете ли вы на расстоянии влиять на людей?

– Пока нет. Но в принципе и этому можно научиться.

– А на большом расстоянии?

– Со временем можно будет влиять и на очень большом расстоянии.

Вы же не удивляетесь тому, что написанное в Петербурге вы в тот же день можете читать в Томске. Телеграф и аппараты Морзе сделали это возможным. Люди научились передавать сигнал далеко-далеко. Научатся они передавать далеко и свои собственные биологические сигналы. Уже теперь есть люди, которые умеют делать это. Колдуны всякого рода, это ведь не только шарлатаны. Среди них есть одаренные природой люди.

Шершпинский невольно подумал о Полине.

– Себя вы к таким одаренным не относите? – спросил он Давыдова.

– Отношу. Но я занят более важными научными проблемами. В одном из своих стихотворений я пишу об этом.

Давыдов стал в позу и продекламировал:

Уже приблизилась пора,
Когда из сени потаенной
От инструментов и пера
Я мог явиться в мир отсталый
С плодом науки небывалой.

– Гм. Стихи неплохие. Вы очень умный человек. Но всё же вернемся к воздействию на людей.

– Воздействие? Говорят, гипнотизму можно научиться. Но всё же сильнее природные силы.

– Значит, вы можете влиять на людей на расстоянии?

– Мне некогда развивать это направление. Я занят больше аэронавтикой. Вот что занимает всё мое время. Лечение людей лишь дает средства для занятий аэронавтикой. Меня даже мужики здешние зовут «еронавтом», мне это лестно.

– Я бы всё же советовал заняться вам гипнотизмом.

– Ага! Вы всё же мечтаете переманить меня в полицию!

– Мы были бы счастливы иметь вас своим сотрудником. Но мы понимаем, что на научной ниве вы получите более богатый урожай. Интересно было побеседовать. Если, не дай бог, заболею, лечиться приду только к вам.

Шершпинский встал. Давыдов спросил:

– Роман Станиславович, может, приказать подать вина или чаю?

На улице мороз.

– Днем я обычно не пью вина. И карета у меня теплая. Интересно было посмотреть на ваши научные приборы. Благодарю вас!

– Заходите, Роман Станиславович!

– Непременно!

Шершпинский удалился. Проводив его до двери, Давыдов вернулся в комнату в раздумье. С чего это полицмейстер пожаловал? Поверить жалобу врачей? Но он бы прислал своих церберов. То ли, правда, любопытствует?

Шершпинский же думал о том, что зря потратил время на визит. Нет, этот ученый не сможет заменить Полину. Даже если бы он имеет те же способности, что и она, его не так просто заставить. Нет, надо договариваться с Полиной! Любой ценой! Она должна ему помочь!

Карета быстро примчала домой. Открыв дверцу кареты, Шершпинский увидел во дворе переминавшихся на морозе дворовых людей. С балкона свисал длинный шелковый шнур, на нём висела монтевистка Полина. Голова её была неестественно повернута набок, на лицо садились снежинки и не таяли.

39. ЧТО ЗА КОМИССИЯ, СОЗДАТЕЛЬ!

В последнее время Роману Станиславовичу часто снился почему-то один и тот же сон. Будто он с тяжким трудом взбирается на отвесную скалу. Подтягивается на руках, выискивая ногами, обо что бы опереться. Глаза заливают пот, члены немеют, верхушка скалы близка, там есть площадка, где можно отдохнуть. Он протягивает руку и... срывается вниз.

Сколько раз просыпался он в холодном поту. Ощупывал себя, убеждаясь, что жив, цел, слава богу. А на душе было гадко, словно поел чего из выгребной ямы.

А всё это было потому, что приехала комиссия из Петербурга. Пя-

теро. Надменные. С ним держатся строго официально, да и с Германом Густавовичем тоже.

Каково господину губернатору? Под него подкапываются, а он вынужден был им выделить в губернском управлении две просторных комнаты. Дали им лошадей, экипажи, возниц, посыльных. Копайте, дескать, под нас, чего там!

Правда, Роман Станиславович расстарался, чтобы все кучера, посыльные были людьми Евгения Аристарховича. Ежедневно докладывают Шершпинскому, где побывали приезжие, с кем встречались.

Герман Густавович предлагал приезжим жить у него в особняке. Отказались. Пригласил послушать музыку. Отказались. Жить остановились в гостинице «Европейской». Пусть! Там все горничные и половые служат Шершпинскому и Евгению Аристарховичу. Уж пришлось пристроить туда своих людей.

А всё же тревога нарастает. Тяжко, муторно. А тут еще Полина сотворила такое! Не зря говорят, что где тонко, там и рвется. Лучше бы шнур этот злосчастный оборвался, на котором она повесилась.

Пришлось Роману Станиславовичу постараться сгладить неприятное впечатление. Первое, пустил людей на базар, чтобы рассказывали, что вот родственница полицмейстера пошла на балкон бельё снимать да запуталась в веревке, упала с балкона. Несчастный случай.

Вызвал он Моисея Гельмана владельца похоронного бюро:

– Похоронить по первому разряду!

И было действие. Шли похоронные служащие в надетых поверх пальто позолоченных ливреях и, несмотря на мороз, в цилиндрах. Впереди шел мальчик с крестом, затем другой – с иконой. Оба они тоже в ливреях, в белых шерстяных чулках и в цилиндрах.

Лошади черные, гладкие, с наглазниками, словно глаза их были обведены белым. Шесть лошадей запрягли цугом, они и тянули колесницу, некий балдахин с четырьмя витыми столбами, с куполом и крестом на крыше. Золотые покрывала спускались до земли, касаясь её пышными кистями. На высоком черном одре стоял лакированный саркофаг с львиными ножками. Лошади пугались и взмахивали черными султанами.

Затем шли седенький дьячок с дымящимся кадиллом, хор певчих, факельщики в черных одеждах, белых чулках и перчатках.

Затем ехал длинный поезд черно-золотых карет. Шли в процессии переодетые полицейские, агенты. Потом ехала двуколка, с которой разбрасывали еловые ветви. И получилось внушительное зрелище.

И в церкви, и на кладбище нищим подавали с необычайной щедростью. И Шершпинский плакал искренне и горько.

После многие его даже жалели. Вот, содержал дальнюю родственницу, а умерла, так такие пышные похороны закатил! Сердечный всё-таки человек!

Он многие меры принял. И в городской тюрьме, и в пересыльном замке всё почистили, покрасили, побелили. Бандитов и воров, которые могли что-нибудь выболтать, поспешили отправить по этапу в другие города. Сесилию Ронне пришлось отпустить. А что делать? Пусть клевет

щет. Пусть брешет про тот случай в гостинице. Доказать что-либо трудно. А что забирали её, так по доносу, как иностранку. Проверяли.

Господин губернатор уже рассказывал этой комиссии о работе полицмейстера. О раскрытии заговора сепаратистов, о надзоре за бунтовщиками-поляками и разными социалистами.

Хорошо бы сейчас дело какое-нибудь громкое организовать! Вот он, мол, полицмейстер! Действует! Чего же вам еще надо? Куда-то делся этот чертов Улаф Страленберг, как в воду канул. А так хорошо было бы сейчас его изловить. Иностраный шпион, из российской земли хочет богатства наши исконные извлечь. Поймать бы за руку! С поличным! Да где он, этот Улаф Страленберг? Шпики по всему городу мечутся, Шершпинский шпыняет их, требует. Но нет, не могут найти. Стеречь надо, стеречь дом Каминэров. Рано или поздно он туда придет. Там его, голубчика, и схватят.

Шершпинский в эти дни вспоминал шведского ученого так часто, что тому должно было икаться. Но Улаф Страленберг жил спокойно в доме у замечательного ученого Матвея Зонтага-Брука. Многочисленные работники дома были молчаливы. Жили они в подвальном этаже, о существовании которого в первые дни пребывания в гостях Улаф даже и не подозревал.

А там, под домом, были и жилые комнаты, и кухня, и многочисленные кладовые. Из того же подвала вел подземный ход. Однажды Зонтаг-Брук пригласил Улафа прогуляться по этому ходу. Он представлял собой широкий листовичный сруб. Это был как бы такой широкий и длинный колодец, положенный горизонтально.

– Я хочу довести этот ход до самой окраины города. И расширить его потом таким образом, чтобы можно было проехать здесь на тройке лошадей. Представляете? Скачу я по Почтамтской, по Пескам, в нужный момент земля разверзается. Моя тройка влетает под землю, и земля вновь смыкается за мной! Каково?

– Каким же образом будет разверзаться и смыкаться земля? – удивился Улаф.

– Очень просто! – отвечал Матвей Зонтаг-Брук. – Придем домой, я покажу вам чертежи. Обыкновенная механика, поворотные камни, рычаги. Запускать механизм в дело сможет всего один служитель, простым поворотом рычага. Причем сооружение будет располагать замаскированными зрительными трубами. Мой часовой всегда сможет видеть, кто именно приближается к подземному ходу. Врагу он не отопрёт!

– Но как вам в голову пришла такая смелая идея?

– Знаете, всё просто. В европейской части России города давно не знавали штурмов и осад. Многие столетия прошли. Разрушились крепости, обвалились и утрамбовались подземные ходы. Стерлась и сама память об этих ходах. А Томск сравнительно недавно еще отбивался от осад степняков. И растет, изменяется он не столь быстро, как города в центре России. Здесь сохранились многие старые подземные ходы.

А богатеи и теперь их строят. Почему не соединить подземным ходом две усадьбы? Можно будет зимой ходить в гости, не надевая шубу и не обувая пимы. Да мало ли зачем подземный ход может понадобиться?

К примеру, я имею счастье теперь беседовать с вами, благодаря небольшому подземному ходу, который мы подвели под стены тюрьмы. И я надеюсь, что мы с вами всё же найдем при помощи другого подземного хода заилленный колодец с его сокровищем.

Когда вернулись в дом, Зонтаг-Брук показал Улафу Страленбергу чертеж поворотного механизма. Улаф подивился остроумности решения проблемы.

– А вы не только археолог, но еще и талантливый механик! – воскликнул Улаф в восхищении. – И какой великолепный чертежник!

– Пустяки! – отозвался Зонтаг-Брук, – я раньше занимался гравировкой на металле, там, действительно, нужны глазомер и твердая рука. Теперь, увы, я вынужден от этого отказаться.

– Почему же?

– Глаза. Я быстро теряю зрение. Был у одного местного волшебника. Давыдов, потомок знаменитого гусара, который громил Наполеона и писал чудесные стихи. Этот Давыдов при помощи разных маятников и шаров может читать волны мозга. Он определил у меня водянку мозга. Опухоль там, на зрительный нерв давит. Да я это и без маятников чувствую. Сначала перестал видеть левый глаз, теперь и правый начинает отказывать. Я последнее время читаю через сильнейшую лупу. Но не хмурьтесь, друг мой! Поверьте, я на это не обращаю внимания! Да, Давыдов предупредил: сосуд закроется, и я умру. Что же? Умер мамонт, скелет которого мы с вами можем наблюдать в любое время. Мамонт был большим, а я маленький. И мой скелет будет совсем маленьким. Но и мамонт, и я, мы, сыграем свою роль в этом мире, зайдем какую-то его клеточку. Станем звеном в цепи. Неважно, что мамонта убили, а я умру сам. И неважно, что он жевал траву, а я ел мясо. Мы станем землею. И кто скажет, зачем мы были? Почему я имею большой мозг и маленькое тело? Какой-то сдвиг в плазме. Каприз природы, или наказание за грехи далеких или близких предков? Да и какая разница? Мамонт был, и я был! И мы оба устраивали свое бытие, как могли! Оба старались. Как говорится, *per aspera ad astra*.

Улаф Страленберг и Зонтаг-Брук поднялись по лестнице наверх. Из комнаты с мамонтом винтовая лесенка вела в мезонин. Здесь были строенные окна, открывавшие вид на бескрайнее болото с островками осинки и берез.

В этом мезонине у Зонтага-Брука была картинная галерея. Картин было пока всего две. Это, собственно, были портреты. На одном из них был изображен Зонтаг-Брук. Он изображен был возле своего дома, на фоне тенистого парка и голубого озера. Дом был похож, каждая ставенка, и каждое бревно нашли здесь свое отражение. Но дом смотрелся красивее, праздничнее, а главное, в действительности пейзаж вокруг него был совершенно иной.

И сам Зонтаг-Брук очень похож, но у него было не тело карлика, а тело молодого стройного юноши. И это не казалось странным. Новое тело Зонтагу-Бруку очень шло. Удивительно, как художник сумел добиться полнейшего сходства с оригиналом, хотя многое доммыслил.

Со второго портрета смотрел Улаф Страленберг. Он был закован в

рыцарские латы. Подобные латы носили в те времена, когда предок Улафа Иоганн Филипп фон Страленберг воевал в армии короля Карла Двенадцатого. За плечами Улафа были Алтайские горы, а в руках он держал корону короля скифов, камни которой рдели, как закат.

Портреты написал художник Петр Тарабрин, появившийся на зимке недавно. И только Зонтаг-Брук знал, что у художника совсем иное имя.

– Правда, в мезонине уютно, хорошее освещение? Здесь очень к месту будут новые картины? – спросил Зонтаг-Брук.

– О да! – согласился Улаф, – если бы можно было заменить пейзаж за окном. Всё же эти заснеженные болотные кочки навевают уныние.

– Милый друг! – воскликнул Зонтаг-Брук, – взгляните на этот альбом! Раскройте его! Вы видите чертежи, рисунки. Это моя мечта. Она будет воплощена. Еще летом не было вокруг дома ограды, и ворот не было. А теперь? Взгляните в окно. Видите эти массивные столбы, поддерживающие арку с фонарями? Оформление ворот закончили в последние дни осени. Тогда же посадили вон те тополя. Они сейчас тоненькие, но они быстро наберут силу. Как мощные насосы, они начнут осушать почву.

Да, сейчас пейзаж такой, как в знаменитом стихотворении Жака де Лиля «Сады».

В России северной свирепствуют метели,
Но мощные леса их, кедры, сосны, ели,
Мхи и лишайники во мгле морозных зим
Стоят зеленые под слоем снеговым!

Да! Мхи и лишайники! Эта книжечка вышла в Лондоне в 1801 году. Сентиментальный французик всё же слабо представлял северную Россию. Но настроение передал. Мы зеленеем под снегом!

У меня в дворне есть три старика. Пан Тадеуш, пан Людвиг и пан Леопольд. Это еще первая волна польских ссыльных повстанцев. Рыцари нимфы и роз. Масоны. О! Они были ландшафтными строителями у королей! Вы знаете их ритуал? На алтарь возлагаются свежие розы и окропляются кровью. Человек, накрытый черным плащом – Молчаливость, и рядом – шаловливая нимфа. На жертвеннике курится фимиам. Опоэтизированная эротика просвещенной Европы. Жажда таинственного флюида, посылаемого нам из магнетического центра Вселенной. Мы все притягиваем эти флюиды, подобно губке, впитывающей влагу. То, что я создал пером и карандашом в этом альбоме, мои рыцари нимфы и роз избразят на местности, при помощи лопат, садовых ножниц и своего волшебного мастерства. При помощи улавливаемых ими флюидов. Вам нравятся то, что видите в альбоме? Заходите в гости через год-два, и вы всё это увидите вот за этим окном!

Улаф был совершенно очарован этим маленьким человеком, живущим такой полной, интересной жизнью. Он и в стылой Сибири умеет видеть интересное и прекрасное! Нет, он не маленький, он больше мамонта! Он велик.

40. ИВАНЫ ИВАНОВИЧИ

Комиссия давно уже поняла, что её окружают подставные лица. Лилия Александровна фон Мершрейдт посетила губернское правление. В комиссии ей сказали, что хотели бы встретаться со свидетелями где-нибудь вне правления.

Лилия подумала и предложила дом Асинкрита Горина. Это недалеко от правления, в то же время к дому легко подойти незамеченным. Дом этот окружен халупами, деревьями. К нему ведут многие кривые тупички.

И в одно пасмурное утро в дом Асинкрита Горина с Лилией Мершрейдт пришли два пожилых господина, одетых в хорошие шубы и шапки. У каждого из них была в руке трость, каждый курил дорогую сигару.

Господа эти велели называть себя Иванами Ивановичами, а как их настоящее имя – никого не должно интересовать.

В доме Асинкрита Горина господ этих ждали, чтобы дать показания, граф Разумовский, Верочка Оленева и Сесилия Ронне.

Сам Асинкрит и Дмитрий Павлович Давыдов были посвящены в дело и дали обет молчания. Иваны Ивановичи сначала расспрашивали Верочку. Потом, проводив её из комнаты, позвали Разумовского и Лилию.

Верочку взялся развлекать Асинкрит Горин как хозяин дома. Он предложил ей чаю. Верочка робко взяла чашку. Вид Асинкрита её поразил. Ужасная волосатость лица, грязный и рваный халат и валенки на одну ногу.

Девушка необычайно понравилась Асинкриту, но он чувствовал, что его боятся. Он никогда еще не ухаживал за девушками, ни одна из них не привлекала его внимания. И вот.

Горин быстро заговорил:

– Пожалуйста, не бойтесь меня, милая барышня! Меня зовут Асинкрит Горин, я дворянин. Я давно не брился, увы. Я весь в мечтаниях. Книжки. Ах, когда я тоже учился в гимназии, мы много читали по программе, но это было не так интересно. Вы сахар берите! Да. Теперь у меня много интересных книг, остались еще от покойного батюшки. Сейчас принесу.

Асинкрит быстро зашаркал валенками в мезонин, принес оттуда грудку пыльных книг и свалил всё на стол, рядом с баранками. Пыль поднялась столбом, и Верочка чихнула.

Асинкрит кинулся затворять форточку:

– Ах, мы вас простудили!

– Это я от пыли! – сказала Верочка, – извините, пожалуйста.

Она дивилась неловкости Асинкрита, его волосатости и неухоженности.

– Вот, смотрите, – сказал Горин, – «Адская почта, или Курьер из ада с письмами». А это? «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга». Каково? А читали ли вы «Граф Вальмонт, или Заблуждение рассудка»?

– Нам не дозволяют такое читать, у нас нет в библиотеке.

– Я вам с удовольствием дам эти книги на прочтение! – воскликнул Горин, поправ пальцем в варенье и облизав его.

Тут вышли господа из комиссии, стали надевать свои шубы и откланиваться.

Лилия фон Мершрейдт, Сесилия Ронне и Верочка попросили Давыдова проверить их здоровье своими аппаратами. Асинкрит сунулся было в комнату Давыдова, но Лилия сказала:

– Мы к Дмитрию Павловичу обращаемся как к доктору, а вы будете лишним.

– Да-да! Я понимаю! – ретировался Асинкрит.

В лаборатории таинственно мерцали шары и дуги, качались маятники, и курились свечи.

Давыдов проверял дам маятниками и магнитами. Наконец, он сказал:

– Я должен поздравить вас, сударыни, никаких особых отклонений в вашем здоровье я не нашел.

– Это приятно слышать, – заметила Лилия фон Мершрейдт, – после всего, что перенесла бедная Сесилия в застенках Шершпинского, она еще и здорова?

Сесилия воскликнула:

– Нас, французов, так просто не сломить! Там был надзирающий, такой большой мушкетер-баба. Он мене хотел бить. Я его кусал. Он мене велел приковать на цепь. Я его ругал по французским самым гадким ругательствам. Он не понимал. Мене был смешно, я хохотала, хотя сидела на цепь!

В сенцах гости нечаянно наткнулись на какой-то предмет, с которого соскользнуло покрывало. Верочка вскрикнула. Галантный граф Разумовский взял её по руку:

– Не беспокойтесь, милая барышня. Ну да, это чугунный саркофаг, видите фигурных ангелочков на крышке? Я приобрел эту вещь для себя, на всякий случай, ведь цены всё растут. Вы знаете, в нем очень удобно солить капусту, сразу столько насолишь, что хватает и себе, и дворовым людям.

Верочка забыла испуг и невольно рассмеялась.

Асинкрит Горин проводил гостей не только до дверей, но вышел на двор, где трещал мороз.

– Вы простынете, любезный, в своем халате! – сказала Лилия, возвращайтесь-ка побыстрее в дом.

– Не уйду, пока не пообещаете еще навестить нас! – зупрямился совершенно закоченевший Асинкрит.

После этого визита Асинкрит Горин стал беспокойным и нервным. Это заметили вскоре и граф Разумовский, и Дмитрий Павлович Давыдов. Горин теперь только и говорил, что о необычайной красоте Верочки Оленевой.

– Отчего ты Асинкрит мечешься? – говорил граф Разумовский, – разве ты не помнишь строки Михаила Юрьевича Лермонтова «Была без радостей любовь, разлука будет без печали?».

– Вы старая перечница, что вы можете понимать в любви! – сердился Горин.

– Ага! – воскликнул граф, – проняло! А то всё твердил: не женюсь, не женюсь! А ведь тебе обязательно нужны наследники.

– Сам знаю! – буркнул Горин.

Вскоре после этого он посетил Сесилию Ронне. Для этого визита он позаимствовал пальто и шапку у Давыдова, а у графа его серебряные часы на цепочке.

– Прошу руки вашей приемной дочери! – заявил Асинкрит оторопевшей женщине. – Вы не смотрите так, я вам всего не могу пока сказать, но уверяю вас, если мы поженимся с Верочкой, наши дети будут сказочно богаты. Они, может, будут богаче всех в Томске!

Сесилия Ронне расхохоталась:

– Ты волосатый обельзьян! Как смель ты просить рука Верочка?

Горин пошел в кабак и пропил там часы графа Разумовского. Возвратившись домой, он каялся и плакал.

Граф процитировал стихи:

Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно!*

С этих пор Горин не мог уже ни о чём думать и говорить, кроме как о женитьбе на Верочке Оленевой. Граф Разумовский урезонивал его:

– Посмотри на себя, ну какой же ты жених? Чем ты можешь прельстить юную особу? Ты ходишь в отрепье, ты зарос волосами по самые глаза.

– Я хочу жениться на Верочке! – отвечивал упрямый Асинкрит.

– Хорошо. Тогда тебе нужно открыть свой подвал, извлечь кое-что из сундука, пошить себе модные костюмы, нанять себе личного парикмахера, который бы брил тебя в день по два раза и опрыскивал бы самыми модными духами.

– Нет, я не могу нарушить отцово завещание.

– Тогда иди работать.

– Я не умею!

– О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! – вскричал граф Разумовский. – Как же ты можешь тогда мечтать о близости с прекраснейшим созданием? Что за женитьба? Молодую жену ведь надо содержать достойно! Предоставлять всё удобства жизни! Особо это касемо Верочки. Она столбовая дворянка. Она лишилась отца и нуждается в сильной опеке. А что можешь ты дать ей? Свои стоптанные валенки, которые в Сибири почему-то называют пимами?

– Я дам ей счастье! – ответил Горин.

Вскоре Горин получил плату за проживание с Давыдова и Разумовского. Вместо того, чтобы купить чаю, сахара и муки, как ему советовал хозяйственный граф Разумовский, он купил в магазине Верхрадского огромную корзину живых цветов.

С этой корзиной стоял он несколько часов возле гимназии, караулил Верочку Оленеву. В воздухе уже пахло весной. В снегу протаяли многочисленные глазки. Солнце пригревало.

И Верочка Оленева неожиданно появилась перед ним, она вышла

из гимназии с подружками. Они весело щебетали, как ласточки, когда вдруг перед ними появилось волосатое чудище с воспаленными глазами, бухнулось на колени перед Верочкой:

– Верочка! Я не могу вас забыть! Вы снитесь мне во сне! Просил вашей руки у матушки Сесилии... Вот, цветы, как знак моей...

Верочка в страхе отстранилась. Подружки закричали:

– Ах! Ах!

И Асинкрит остался один на углу с полной корзиной живых нежных роз. Он вскрикнул, пнул эту корзину изо всех сил, и кинулся бежать.

На углу Почтамтской, возле трактира на Трясихе, его сбили лошади. Он упал на снег, лежал почти до самого вечера в сугробе. Никто не подошел, чтобы поднять его. Раз валяется возле трактира – значит, пьян. Известно, что пьяный проспится, а дурак – никогда.

Он мог бы замерзнуть ночью, но на его счастье мимо проходила женщина из двора Разумовского. Она тоже подумала, что Асинкрит пьян, но поскольку это был хозяин усадьбы, в которой она жила, Палашка (так звали женщину) наняла ваньку, который и помог погрузить Асинкрита в кошеву.

Асинкрит был в беспамятстве. Давыдов и Разумовский внесли его в дом.

Дмитрий Павлович обследовал больного и пришел к выводу, что тот жестоко простудился. Они жарко натопили печь, натирали тело больного спиртом, прикладывали грелки, давали пить отвар из сушеной малины.

Асинкрит в бреду всё повторял имя Верочки. Граф Разумовский это прокомментировал так:

– Худо если дева засидится, но еще хуже, если такой вот блудный сын заблудится.

Горин пришел в себя лишь на третий день.

Он исхудал и почернел.

– Хочу Верочку! – опять начал канючить он.

Граф Разумовский стал вразумлять его и призвал в помощь себе поэзию:

– Помнишь ли ты, несчастный, стихи Аполлона Майкова? Я тебе почитаю, слушай:

Её в грязи он подобрал,
Чтоб всё достать ей, красть он стал,
Она в довольстве утопала,
И над безумцем хохотала.
Он в шесть поутру был казнен,
И в семь во рву похоронен,
А уж к восьми она плясала,
Пила вино и хохотала.

– Ну, о чём говорят сии стихи? – спросил граф Разумовский. – Сие означает, что не всякая Ева для всякого Адама создана. Так-то вот бывает, когда зарятся на красивых женщин! Короче сказать: руби дерево по себе! Иначе не будет толка!

– Буду рубить! – еле слышным шепотом отвечал упрямый Асинкрит.

Как только он смог встать с лежанки, и ковылять по дому, заявился он в алхимическую комнату Давыдова и потребовал:

– Сведите мне с лица волос, чтобы я был, как все люди!

– Но я таких опытов никогда не ставил, даже не представляю, как это сделать, это же особая статья! – попробовал его отговорить Дмитрий Павлович. Всё было напрасно!

– В счет оплаты за проживание. Сведете мне волос, и живите здесь хоть сто лет бесплатно!

– Да вы упрямец! – усмехнулся Давыдов, – такое упорство похвально, если бы вы нашли ему иное применение!

– Поймите же, Дмитрий Павлович, это вопрос жизни и смерти!

Давыдов и сам был человеком эмоциональным, он тоже увлекался не раз какой-либо идеей, когда казалось, что кроме этой цели, уже никакой другой в жизни и быть не может.

Поэтому Дмитрий Павлович пообещал безутешному влюбленному подумать о способе сведения волос.

Горин стал приходить к нему каждое утро и каждый вечер, спрашивая:

– Ну что?

И однажды Давыдов сказал:

– Я прочитал всё, что по этому вопросу написано и в старых манускриптах, и в новых журналах. Сведений нашлось не так уж и много. За успех не могу поручиться, но попробовать можно.

Дмитрий Павлович Давыдов сварил густой настой из красного вина и толченых скорлупок кедровых и грецких орехов.

В назначенный день голову Асинкрита обмотали полотенцами, густо смазанными колдовским варевом. Не видно было ни щек, ни глаз.

Асинкрит полулежал в плетеном кресле-качалке, а Давыдов воздействовал на него излучением двух огромных магнитов.

Печь протопилась, но вьюшка была не закрыта, и в ней кто-то страшно подвывал.

В конце сеанса целитель хотел снять повязку, но Асинкрит замотал головой. Он прогнусавил сквозь тряпки, что будет спать с повязкой, чтобы целебная мазь лучше подействовала.

Утром Асинкрит снял повязку и, волнуясь и дрожа, подошел к зеркалу. Волосы были на лице, на своем месте, они только приобрели темно-коричневый цвет с синеватым оттенком. Теперь Асинкрит выглядел просто ужасно!

Асинкрит Горин дико взвыл и побежал к редактору «Золотого руна», дабы вылить желчь свою и тоску. Но Давыдова не оказалось дома.

Как раненый зверь, метался Асинкрит по всем закоулкам большого дома, выл и стонал.

Граф Разумовский, как мог, успокаивал его:

– Не сотвори себе кумира! Это не я говорю, это заповедь пророка Моисея. А ты сотворил и стенаешь теперь. И опять же в Библии сказано:

«Недостойн развязать ремень у сапог его». Ты хочешь, чтобы Савла превратили в Павла! Подумал бы ты и о том, что псу живому лучше, нежели мертвому льву. Это тоже библия изрекает!

– Мало бы, что она там изрекает! Это Дмитрий Павлович неправильно составил рецепт!

– На священное писание пенять негоже, это всегда себе дороже.

Асинкрит замотал головой, выбежал на крыльцо, там стал ждать Давыдова.

Через какое-то время встревоженный граф Разумовский вышел за ним:

– Ты, Асинкрит, не дитя малое, после простуды великой ты вновь остужаешься. Весенняя погода обманчива.

Давыдов пришел поздно, он был не в духе, на все претензии Асинкрита, ответил кратко:

– Дорогой мой, я же не обещал вам обязательный успех.

Волосатый дворянин поднялся к себе наверх, и долго было слышно, как в мезонине скрипели половицы.

Утром весь дом потряс отчаянный вопль. Казалось, убивают кого-то. Проснулся Разумовский, проснулся и Давыдов, прибежали люди из дворни Разумовского. Кое-как разобрались, что крики доносятся из мезонина. Собрались туда идти, как вдруг по лесенке скатился человек. Его никто не знал, но он был в халате Асинкрита.

– Ах, ты разбойник! Говори, что же ты сделал с несчастным дворянином и хозяином сего дома Гориным? Говори, не то распотрошу тебя, как курицу!

– Я ничего с ним не сделал! Это не я сделал, это вот он, Дмитрий Павлович, сделал! – заговорил вдруг незнакомец голосом Асинкрита.

– Что такое? Ты еще и голоса подделываешь? – громогласно заорал граф Разумовский! Да я тебя на виселицу!

– Да это же я, Асинкрит! – занял незнакомец плачущим голосом. – Он меня уничтожил! У меня все волосы выпали! Все! Понимаете? И на лице и на голове! Я же был кудрявым, а теперь что?

Давыдов уже понял, что незнакомец это и есть сам Асинкрит. Это было ужасно. Лишившись растительности на лице и на голове, он совершенно преобразился. Лицо его оказалось заостренным, как у лисички, голова была вытянута тыковкой. Без волос на лице он смотрелся как паяц с лубочной картинки.

– М-да-а! – протянул граф Разумовский, – воистину – шёл в комнату, попал в другую!

– Всё пропало, всё! – стонал Асинкрит Горин, – как я теперь Верочке на глаза покажусь?

– Но она ведь вас и в прежнем вашем облике не жаловала! – сказал Давыдов, – и кто знает, может, ваш новый облик ей придется по душе?

– Да, по душе! Мне теперь самому на себя смотреть противно.

– Не надо отчаиваться, – урезонил его Дмитрий Павлович, – возможно волосы еще отрастут. Я подумаю, как помочь этому. Но в принципе, что такое есть красота? Вот вам нравится Верочка. А что имен-

но в ней нравится? Милый носик? Но кто сказал, что отросток, с двумя отверстиями для выделения слизи, это и есть красота? Волосы? Но ведь это просто шерсть, из которой можно скатать, если хотите, валенки! Так и всё остальное в ней. Красоту в данном случае создает ваша мошонка и всё, что с ней связано. Спросите любого скопца насчет Верочки, никто из них ею не восхитится. Они отрезали и выбросили свое восхищение.

– Вы... вы... вульгарный материалист! – вскричал Асинкрит.

– Ну, какой же я материалист, если интересуюсь теологией и даже сочиняю стихи! Вам надо успокоиться, в конце концов всё образуется.

Горин ходил по дому, как неприкаянный, вздымал глаза к потолку, вздыхал.

Граф Разумовский, видя его смятение, рассуждал как бы сам с собой:

– Люди не хотят быть совершенными. Цепляются за власть, за золото до конца дней своих. С собой ничего не унести. Лучше бы дружили с музами, с облаком в небе, с цветком в поле. Государь Александр Павлович хотя и в зрелых летах, но осознал, что власть и деньги не дают радости. Вспомнил, что ради власти поднял руку на отца своего. Ужаснулся и ушел от власти и золота. В этом городе жил он, свободный от всего. Слушал птиц и говор реки. И приблизился к совершенству. Я был на месте его упокоения. Четыре кедра навевают умиротворение. Господи! Сделай так, чтобы многие люди ужаснулись делам своим, и станет больше совершенства на земле.

41. ЦВЕЛА ЧЕРЕМУХА

Сибиряк, погруженный в пучину многомесячных морозов, нет-нет да и вздохнет, читая о благословенных местах, где всегда тепло. Есть, оказывается, на земле такие места! Всегда лето. Тепло и не жарко. Ложится туземец под пальму, и оранжевый плод с пальмы падает прямо в рот ему! А мы? За что бог наказывает?

Но если вдуматься, то вечное лето – это же однообразие. Никогда-никогда этот туземец не узнает, что такое настоящая весна, с первыми проталинами, а затем с бурным таяньем снегов. Когда небо голубеет, вскрываются реки, плывут на льдинах костры, так хочется любить! Хочется успеть насладиться коротким теплом! Крупные южные цветы никогда не имеют такого щемящего аромата, какой бывает у неярких цветов севера. Хотя бы нашу черемуху взять, от её аромата кружится голова!

И вот опять пронесли реки талые льды к океану, опять зацвела в Томске черемуха.

Каждый эту весну встречал по-своему. Герман Густавович Лерхе старался из всех сил укрепить свой авторитет. Его нервировали члены петербургской комиссии. Суется тут! И никакими их манерами и маневрами не проймешь.

В местной газете устроена была статья за подписью Петр Добродетельный. Этот Петр рассказывал о том, как много сделал губернатор для всей Руси и для всего мира, изучая быт ойротских племен.

Деятельность губернатора благотворно повлияла на дальнейшее развитие золотой промышленности. Горные заводы в Алтайских горах и в Кузнецких степях с помощью Лерхе обновились. Он покровительствует культуре и науке. Благодаря ему благословенный град Томск и вся Томская губерния стали процветать.

Счастливые сограждане присвоили губернатору звание почетного гражданина Томска, это такая малая благодарность за многочисленные великолепные деяния его.

Герман Густавович с удовольствием прочел газету. Но тут случилось, как на грех, происшествие, встревожившее город. В день выхода статьи Петра Добродетельного часы на башне городской ратуши забили невпопад. Знаменитый часовщик Иван Мезгин уехал в Петербург за инструментами.

Нашли другого механика, доктора Штрауса. Тот влез на башню, стал починять механизм. В часах отломилась вдруг скоба, и колеса завертелись с бешеной скоростью, одним из колес полоснуло Штрауса по руке, отрезав напрочь кисть.

Народ собрался на вой и стенания Штрауса и увидел окровавленную кисть руки, валяющуюся возле одной из чугунных Венер.

Город, оставшийся без часового боя, почувствовал некий уют. Тотчас поползли слухи. Неправильно дали почетного гражданина господину губернатору. Потешили бесов, а теперь бесы и развлекаются.

Шершпинский поднял на ноги всех агентов. Ясно было, что кто-то нарочно испортил городские часы, чтобы и губернатору, и полицмейстеру насолить. Но кто?

Напротив ратуши стоял кособокий треугольный домишко. Его недавно построил мещанин Яшка Полторанин. Причем стены складывал из могильных камней, которые валялись на берегу Томи неподалеку от биржи, там обнажилось древнее кладбище. Камни были хорошо обтесаны, это и прельстило безбожного мещанина Яшку Полторанина. Его предупреждали, мол, мертвые не простят. А Яшка только смеялся:

– Самый прочный материал! Дом будет, как крепость. А ночью часы с ратуши сниму и на своем доме повешу!

Роман Станиславович приказал арестовать Яшку. И что же? Яшку забрали вечером, а ночью его дом вдруг с грохотом провалился под землю! Причем дрожание земли ощутили сторожа в ратуше и даже жители гостиницы «Европейская». Одна из чугунных Венер возле магистрата упала на землю. Скелет мамонта рухнул, разбросав свои части по земле, отдельные кости отлетели аж до Ушайского озера.

На месте дома обнаружилась громадная яма, в которой бурлила на дне вода. Откуда что взялось. Инженеры сказали, что это природное явление такое. Но, говорят, видели, как со дна ямы вынырнул крокодил, дожевывая Яшкину козу. И невольно вспомнилось зимнее происшествие с лошадьми. Кто их задрал и сожрал? Что за история с крокоди-

лом этим? Фантазия? Но почему фантазия скотину жрёт? Вот и будь тут полицмейстером!

Евгений Аристархович заходил. Поиски беглого шведа пока не дали результата. Правда, замечено, что известный нищий Севастьян Огурцов купил дом напротив соляного склада, неподалеку от дома Каминэров. Зачем? У Севастьяна еще два новых дома на Трясихе построено. Так зачем он древнюю развалину купил?

– Последить не мешает! – подтвердил Шершпинский. – Огурцов замечен в связях с разной шпанкой, может, он купил старый дом, чтобы краденое барахло прятать?..

Сказал и почувствовал раздражение. Ну что за успехи? Нищий дом купил! Тут надо по крупной птице стрельнуть так, чтобы вся губерния задрожала. Вот, мол, полицмейстер! Что за молодец! А получается я, что молодец – против овец, а против молодца сам овца.

И Шершпинский стал невольно подумывать, а не Полина ли это вредит ему? Да разве он плохие ей похороны устроил?

Эх! Тут и так тошно. Комиссия эта. Все пятеро Иванами Ивановичами прозываются. И их имена в официальных бумагах, видать, тоже не настоящие.

Был он у них в присутствии. Вроде как докладывал о делах. Сам напросился. Вежливые. По имени-отчеству. Присаживаетесь, Роман Станиславович, кофею не изволите? И спрашивают, и в бумаги пишут. Вроде допроса получается. И на откровенность никак не вызовешь. От помощи в расследовании отказываются.

Герман Густавович встречался с ихним старшим, спрашивал, каковы выводы намечаются, каков итог будет? Так этот мерзавец ответил, мол, вам потом всё из Петербурга сообщат.

И не подступишься к этим «Ивановичам». В гостинице сняли три смежных номера с окнами, из которых парадное видно. Всякого входящего в зрительную трубу разглядывают.

И что они узнали, а о чем догадываются? Думай теперь. Как-нибудь утопить бы их ненароком, нечаянно. Так нет! Это вам не Трущев. Осторожные! Хитрые. Сами, кого хочешь, утопят! И следят за ними, да не всегда услеживают, когда и куда ездили, с кем встречались. Уж так они хитро поворачиваются.

Вот дела! Бросить бы всё, выйти в оставку, да обратно в Петербург! Сын Федор сейчас в Кадетском корпусе учится, жена его опекает, да дочери помогает. Взрослая дочь Любаша скучает, поди, по отцу. Редко видятся. Эх, служба! Дела, ради которых обо всём забываешь. И вместо благодарности какие-то бумажные пачкуны под него яму копают!

И понял Шершпинский, что это действует на него весна. Вот, и детей вспомнил, в сантименты впал! А дел-то сколько! Черемуха! Пусть себе цветет. Надо разглядеть, что за этой черемухой кроется.

А весна шла по городу, заглядывая и в роскошные дворцы, и в малые лачуги. Верочка Оленева загрустила, самая не зная о чем. Опять вспомнился ей Миша Зацкой. Смешной такой юноша. Милый вообще-

то. Немножко странный. Поэт, конечно. Любопытно было бы его встретить. Но сколько она ни оглядывалась на улицах, Миши нигде не видела.

Мадам Ронне твердила ей, что у юной девушки всё впереди. Будет еще счастье, будет семья. Ах, мадам забыла свою молодость. Счастье Верочке нужно немедленно, теперь! Каждая минута без него – трагедия. И сознаться в ожидании счастья страшно даже самой себе. Не скажешь об этом даже лучшей подруге, там всё на шутках кончается.

Мадам Ронне тоже поддалась влиянию весны. Гуляя по берегу Томи вместе с Верочкой и малюсенькой болонкой на цепочке, мадам тайком вздыхала. С каждой весной она неумолимо приближается к рубежу, за которым женщина перестает быть интересной для мужчин.

Что же? Она так и увянет в этой чужой стране? Но сейчас уже и во Франции она не найдет своей судьбы. Её былую красоту, юность, свежесть уже не вернуть. Она может повторить это всё только в Верочке. Её удел до конца жизни опекать это прелестное существо. Да есть ли со стороны Верочки хоть маленькая взаимность? О чём она думает, мечтает? Как знать? Весна заглянула и в особняк Лилии фон Мершрейдт. И Лилия тоже вздохнула. Как тяжело ощущать свое одиночество весной! Никакие танцы в общественном собрании, никакие концерты не принесут подлинного утешения. Годы улетают, как птицы, их не поймать, не остановить. А разве нет мужчин одиноких? Причем вполне порядочных? Есть! Но она была слишком разборчива. Теперь-то ей это понятно.

Вот когда были в доме Асинкрита Горина, она невольно загляделась на этого чудака. Такой он забытый, такой неухоженный! Конечно, ему нужна направляющая женская рука. А эта его звероподобная волосатость даже интригует. Если его отмыть, одеть в приличный костюм, он будет очень даже хорош! И ко всему прочему он – дворянин. Чем не партия? Надо будет найти какие-то ходы.

Асинкрит Горин в этот момент сидел на лавочке под черемухой и весь трясся от кашля. Волосы у него отросли, но как-то клочками. С этими бурными клочками на голове и щеках выглядел он беспризорным калекой. А главное, начала его бить ночами лихорадка. Пропал аппетит. Сухость во рту мучить стала.

Давыдов лечил его маятниками, граф Разумовский заставлял пить деготь с медом. Но пока что это мало помогало. Граф сказал:

– Дыши черемухой! Это от всех болезней помогает, по себе знаю.

Асинкрит дышал, но болезнь не отступала.

Ночами он метался во сне. Однажды ему приснился покойный батюшка. Он сказал:

– Так-то ты выполняешь мою волю о наследниках? Я мечтал о потомках. Если бы ты вовремя женился, у меня теперь уж был бы внук! А лет через двадцать мой внук мог взять всё мое золото из подвала, построить дворцы. И что же? Ты всё медлишь.

– Но, батюшка, у меня вылез волос.

– Идём!

– Куда?

– К Верочке Оленевой!

– Вы и про неё знаете?

– Я всё про тебя знаю! Я же тебе говорил сквозь землю, разве же ты не слышал?

Он схватил Асинкрита за руку и увлек на улицу. Город спал, и только в двух-трех местах тускло маячили фонари. Сторожа на окраинах стучали в свои колотушки.

– Куда же, батюшка? Верочка теперь спит!

– Разбудим!

Они шли всё быстрее, потом отец вдруг исчез. Горин уже собирался шагнуть, но вдруг первый проблеск зари показал ему, что стоит он на краю скалы Боец. Одна нога Асинкрита уже повисла в воздухе!

Горин проснулся в холодном поту, долго не мог прийти в себя. Голова болела, все кости ныли. Он поплелся во двор, на лавочку. Сидел под черемухой, кашляя и сморкаясь.

Из соседнего сарая в щелку смотрел на него граф Разумовский. На коленях у графа сидела Палашка, он обнимал так крепко, как только мог, и в то же время философствовал, совмещая сразу два удовольствия.

– Всякую часть тела, которую тебе дал Бог, не держи в бездействии. Это для Бога оскорбительно. Он старался, создавая тебя, продумал всё до мелочей. И это безбожие: сидеть вот так на лавке без дела, как Асинкрит. Нет, будь ты старый и даже больной, если в состоянии хотя бы немного шевелиться, шевелись!

И если бы кто-то мог бы в это время заглянуть в сарай, он бы увидел, что Палашка вполне разделяет философские взгляды великолепно-го старца.

42. ОТКУДА РУСЫ ПОШЛИ

Город встретил оркестром и толпой первый пароход. Опять у биржи золотопромышленники выкликали желающих по контракту работать на дальних и ближних приисках. В кабаках и трактирах играли гармонии и шарманки.

Каждый день кони Моисея Гельмана волокли колесницы с жуткой поклажей в сторону Вознесенского кладбища. И когда кого-то зарывали в яме или помещали в склеп, в каком-нибудь доме раздавался крик новорожденного. Это новый человек начинал свое длинное или же короткое шествие к смерти.

В то же самое время на трактах трубили в рожки кучера почтовых карет. В большом доме на Почтамтской деловито постукивал телеграфный ключ, соединяя Томск с Петербургом.

На скрытых томских «каштаках», на горах, вдали от строений, в лесах и колках полным ходом гнали вино. Топились там большие пароходные котлы фирмы Гулетта, доставленные из Тюмени. По змееви-

кам сочилась жидкость, готовая вспыхнуть, только поднеси к ней спичку. Ночами разлитое и опечатанное «акцызом» вино везли тихие фуры к пристани. Отсюда «огненная вода» растекалась по всей Великой Сибири, превращаясь в меха, золото, банковские и кредитные билеты.

Город жил. Он хранил бумаги о дне своего рождения и о родителях своих казаках-землепроходцах в ратуше и в губернском правлении. Так что город всегда мог вспомнить свое прошлое. Будущего он знать не мог, как не знают его и люди. Он мог лишь предполагать. Мечтать.

Город прихорашивался. Высаживал деревья, мостил улицы.

Груженные камнем и глиной телеги то и дело подъезжали к яме, в которую провалился вместе со всем добром дом Яшки Полторанина. Яма глотала камни, но уменьшалась медленно. Горожане заглядывали в неё, надеясь увидеть зверя коркодила. Но он им не показывался.

Огорченный городской голова Тецков ходил тут же, прикидывал, как быстрее и лучше и яму засыпать, и скелет мамонта восстановить, и упавшую чугунную Венеру поднять. Кричал на возчиков, на грузчиков.

Упрямые томичи всё же засыпали яму и высадили по берегу Ушайского озера вербу, ивняки, чтобы укрепить берег.

В эти дни гуляний, пикников не все томичи отдыхали. На заимке Зонтага-Брука день начинался рано. Матвея будила Алена Береговая. Он сразу шел к рукомоёйнику, лил воду на лысину, умывался. Затем Алена приносила ему на подносе в чашке дымящийся кофий. Матвей медленно выпивал его, закуривал сигару. Он готов был к новому дню.

Зонтаг-Брук спускался в подвальный этаж, отдавал распоряжения. Шел в конюшню, смотрел, все ли кони ухожены и здоровы. Конюх стоял при этом не дыша. Не дай бог, что-то хозяину не понравится.

Улаф просыпался часа на три позже. И Зонтаг-Брук приветствовал его, приглашал к завтраку. И почти всегда был к чаю торт, и обязательно фигурный, собственноручно изготовленный Матвеем.

– Могу сказать, дорогой друг, что подземный ход уже приближается к заветной цели. Но мои люди заметили, что шпики негодяя Шершпинского что-то стали подозревать. Они нашего героя Севастополя пасут, я имею ввиду слежку. Вот почему я приказал сделать там запасной подземный ход. Вечерком придет Философ Александрович Горохов. Сделаем вылазку. Посмотрим. Согласны?

– Конечно! Но, признаюсь, ваше сообщение о шпионах Шершпинского меня обеспокоило.

– Не волнуйтесь, дорогой друг, мы сумеем обвести вокруг пальца этих ищек!

– О! Обмотать вокруг пальца! Сколько всё же богат ваш русский язык! – воскликнул Улаф Страленберг. – Я давно его изучаю, но в нем столько образов! Всё не изучить никогда. Для этого надо было бы родиться в России.

– Даже и рожденному в России никогда в жизни не постичь глубин этого языка! – сказал Зонтаг-Брук. – У великого народа и язык бывает великий. Вы знаете, что народы так же рождаются и развиваются, как

люди. Иной ребенок умирает в детстве или отрочестве, а иной вырастает. И судьба каждого человека и каждого народа – разная.

Выпуклые глаза Зонтага-Брука оживились, он соскочил со своего стула, заложил руки за спину, и стал вразвалочку, мелкими шажками, ходить по столовой:

– Вы, конечно, читали Гомера. А знаете, кто он такой? Имя его по-гречески пишется – Хомерус. Вдумайтесь. Хомо – человек. Рус – русский! О! Я был во всех крупных европейских городах. Во многих музеях и библиотеках изучал старинные манускрипты, папирусы и клинопись. Расшифровывал нерасшифрованное, проверял гипотезы. Я расскажу о своих выводах. Вам первому поверяю я результаты своих исследований.

Это было в стране Арктиде, где на горе Меру под звездой Ур стоял Храм знаний человека. В столичном городе Арка жили мудрецы, владевшие знаниями, о которых теперь человечество может только мечтать. У них была священная русская книга Вед. Расцвету знаний способствовал великолепный климат Арктиды. Там было тепло, но не жарко, теплые течения омывали материк. Обширные леса, где были кедры и пальмы. В бескрайних полях работали умные машины, убирая хлеба, овощи, виноград. Причем, машинами этими никто не управлял.

Жители Арктиды умели такое, что теперь покажется сказкой. У них не было гимназий, но каждому ребенку вкладывалась в ухо горошина из особенного сплава. Эта горошина несла больше познаний, чем все вместе взятые книги всех европейских столиц. Причем ребенку не нужно было зубрить, читать. Его мозг постепенно и навсегда усваивал знания, заключенные в чудо горошине.

Но что-то случилось. Споткнулась Земля. Столкновение с космическим телом? Предания сохранили то, что видели люди Арктиды в те дни и ночи. Три луны висело на небе и очень близко от земли. Ураганы разрушили Храм знаний человека. Вода заливала страну. Жрецы успели унести из Храма священные диски и камни, на которых возникают живые картины.

Холода и потопы. Люди Арктиды снаряжали корабли, которые могли идти и по воде, и по суше. Они успели доплыть до гор Тибета, когда огромная волна нагнала их, разрушила корабли. Погибло всё имущество, огромное богатство. Арктидские мудрецы всё же сумели спасти и волшебные пластины, и камни.

Спасшиеся в тот день от наводнения люди прозывались русы. Какое-то время они жили в горах Тибета и Алтая, и на священной реке Сарасвати, впадавшей с востока в Каспийское море. Потом часть русов ушла на запад, часть на северо-запад, часть на юг.

Ушедшие на юго-запад добрались до Адриатического и Средиземного морей. Расселились на островах Италии и Греции. Вождь русов, Одоакр, покорил Рим.

Троянский герой Эней тоже был древним русом, как и Александр Македонский.

Древними русами в одном из поколений был рожден сказитель Хомерус. Он поведал миру о золотом руне. Это повесть о поисках но-

вых земель, новых богатств. Золотое руно – это и зерно на поле, это и руда в горах, это солнце, это жизнь! А древние русы и искали и находили жизнь.

На северо-западе древние русы занимали территории нынешней Скандинавии и русы-венеды жили в районе Балтийского моря. Так что, возможно, вы, господин Улаф Страленберг, находитесь с русскими в близком кровном родстве, голос крови привел вас в Сибирь.

Проходили века, и венеды мигрировали на юг, запад, восток. Вы услышите древнее название этого народа в таких именах, как Вена, Венеция, Равенна.

Многое меняется на свете, смешивается кровь, но голубизна глаз и лен волос выдают причастность человека к древним русам. Они были в большинстве своем беловолосыми и русыми.

И еще я нашел в древних документах указания на то, что один из древних арктидов, жрец Храма знаний человека, стал родоначальником династии скифских королей.

Именно у него хранились волшебные пластины и камни. Он видел, что понять истину арктидов окружающие его люди не готовы. Эти люди находились на более низкой стадии развития.

Тогда он нашел на кожаный каркас волшебные пластины и камни. Это и стало короной королей скифов на долгие века. Корону было завещано беречь больше жизни. Эта магнетическая корона соединена с Высшим разумом и даст её владельцу необыкновенное могущество, какое сегодня человечеству даже трудно представить.

В суровых степях поколения скифов забыли мудрость предков, были простыми скотоводами и воинами. Но корона хранила позабытый опыт.

Зонтаг-Брук закурил новую сигару, выпустил дым из ноздрей, и закончил свой рассказ так:

– Дорогой друг, когда я узнал от вас о завещании вашего предка, я понял, что это та самая корона! По крайней мере, я очень надеюсь на это. Мы с вами, возможно, вернем людям Земли утерянные ими познания!

Вы хоть понимаете, на пороге каких событий мы стоим? Как расцветут все науки и искусства, когда мы овладеем этим сокровищем! Какие возможности откроются перед человечеством!

Зонтаг-Брук подбежал к Улафу Страленбергу, воскликнув:

– Позвольте мне вас обнять, дорогой друг!

Матвей вытащил из кармана жилета носовой платок и отер глаза.

Пораженный Улаф, сказал:

– Это похоже на прекрасную сказку, я уже не раз убеждался в могуществе науки, в непредсказуемости, которая сопровождает исследования. Ах, как я рад сотрудничать с вами! Только одно меня тревожит: не завладеет ли сокровищем до нас Шершпинский?

Зонтаг-Брук вытянул вперед руку:

– Клянусь, что сделаю всё возможное, чтобы корона попала в руки к тому, кто её достоин!

43. ВЕСЕЛАЯ ИГРА

Ночью от дома Зонтага-Брука отъехали две кареты. Они были подрессорены и имели мягкий ход. Колеса были обиты войлоком. Лошадей обули в специальные валяные сапожки. Экипажи катили по улицам сонного города совершенно бесшумно.

На Воскресенской горе кареты медленно пробирались закоулками. Остановились они на пустыре за церковью. Зонтаг-Брук шепнул Улафу:

– Здесь у нас выходит запасной подземный ход, сейчас мы в него спустимся и пройдем к дому героя Севастополя Севастьяна Огурцова.

Через минуту из карет вышли три женщины, у одной на руке была надета корзина с крышкой. Во тьме, в зарослях боярки и шиповника, земля словно расступилась перед этими тремя.

Минут через десять эти три женщины очутились в подвальном помещении старинного дома. Там их уже ждал Севастьян Огурцов. Подвал был хорошо освещен фонарями, там были картины на стенах, добротные диваны и лакированные столы. На одном из столов были вина, закуски, фрукты и торт – в виде короны.

Женщина, принесшая корзину, осторожно поставила её на пол, откинула крышку. Из корзины вылез улыбавшийся Зонтаг-Брук.

– Если бы кто-то и уследил нас в кустах, то всё равно ничего не понял бы! – весело сказал он. Пусть ищут трех женщин! Спасибо тебе, Алена, ты несла меня аккуратно, не уронила. Философ Александрович, дорогой друг Улаф, снимайте парики и платья, теперь таиться нечего! Здесь мы в безопасности. Ход плотно закрыт камнем. В этом доме сверху плотно закрыты ставни и двери. Свет из подвала наверх не попадает. К банкету всё готово. Осталось нам пройти к подземному колодцу, вынуть несколько камней из кладки. Мы скоро узнаем, существует ли знаменитая корона или же нет! Сейчас отправимся, я только выкурю сигару на счастье. В подземном ходе курить, увы, нельзя. Севастьян! Раздай кирки, ломы и заступы.

Подземный ход был отрыт основательно, в рост человека, лишь длинной Алене приходилось чуть пригнуться. Впереди семенил Зонтаг-Брук, освещая ход фонарем. Он оборачивался, скалил свои коричневатые зубы:

– Каково? Инженерная мысль работает и в Сибири! Прочные стойки, стены обшиты строгаными плахами, тут можно даже жить при желании! Я плохих работников не держу, сразу увольняю!

Вскоре они достигли цели. Зонтаг-Брук осветил фонарем часть выпуклой каменной стены колодца:

– Это стенка старинного колодца, внизу, почти у его основания. Сейчас мы вывернем пару каменных блоков и увидим его дно.

– Послушай, что я тебе скажу, братец ты мой! – обратился к Зонтагу-Бруку Философ Александрович. – А не получится ли так: мы вывернем эти камни, а в подземный ход хлынет вода?

– Не получится, многоуважаемый Философ Александрович! Вы,

конечно, известный золотопромышленник, многое повидали, но ведь и мы не зря грызли науку. Я рассчитал глубину залегания водоносного слоя в этом месте. Мои люди замерили колодцы в соседних дворах. Другие мои люди подняли кое-какие старые документы в управе. Мы выломаем камни как раз над уровнем воды.

– Дай-то бог! А то у меня нет никакого желания намокнуть, у меня и так ревматизм!

Они начали долбить швы между камнями. Сцепка был очень прочной. Сломалась кирка в руках у Горохова. Севастьян Огурцов расшиб себе ломом ногу. Тогда Алена сказала:

– Все отойдите! – она так саданула ломом, что из камня посыпались искры, и он чуть повернулся:

– Пошел, падла! – по-жигански вскрикнула Алена, подвернула камень ломом, и огромная каменная глыба свалилась к её ногам. Алена плевала на ладони, схватила лом и вывернула второй камень.

– Теперь следует раскопать дно, – сказал Зонтаг-Брук.

– Отойдите! – повторила Алена, подоткнула подол и с заступом в руках полезла на дно колодца. Она ковыряла ил лопатой, вбрасывая его в подземный ход, ибо больше бросать его было некуда. Причем очередную порцию ила швырнула прямо на лысину Философу Александровичу.

– Эй, баба! Не дури, а то я тебя проучу! – разозлился Философ Александрович.

Зонтаг-Брук заговорил успокоительно:

– Она же не нарочно, Философ Александрович, она вообще-то добросовестная работница.

В это время Алена вскрикнула:

– Есть что-то! Сейчас достану!

Она наклонилась, крякнула и вытянула из вязкого ила небольшой, окованный медью сундучок. Натё!

Она подала сундук Зонтаг-Бруку, но тот предложил Улафу Страленбергу вскрыть крышку сундука. Улаф поддел её киркой, она со скрипом отворилась. Внутри был замшелый кожаный мешочек. Улаф трясуцимися руками попробовал развязать шнурок, но не получилось. Философ Александрович вытащил из потайного кармана кинжал и разрезал кожу. Зонтаг-Брук посветил фонарем. В свете фонаря проглянули запыленные пластины золота и красные прямоугольники драгоценных камней.

– Есть! Корона есть! Поздравляю! – воскликнул Зонтаг-Брук. – идемте скорее на праздничный ужин!

Они вернулись подвал в великой радости. Зонтаг-Брук водрузил корону в центр праздничного стола, разлил вино по бокалам.

– За победу! За магнетическую корону скифских королей! – провозгласил свой тост Матвей Зонтаг-Брук. – Кушайте мой коронный торт!

– А корона действительно магнетическая? – спросил Философ Александрович.

– И не сомневайтесь. Пейте! Смотрите, как переливаются рубиновые огни! Вы видите, в камнях возникают картины! Видите?

Все уставились на корону. Камни были тускловаты, они вовсе не переливались, как сказал ученый коротыш. Но всё же каждый увидел в глубине камня что-то свое.

Карты золотых залежей разглядел в них Горохов. Улаф Страленберг увидел в глубине одного из камней своего предка в железных латах.

Алена увидела в камне своего сынка Петюшку, который стал важным господином, в дорогой одежде.

– Вы уверены? – спросил Улаф Страленберг. Он сморгнул, и лицо предка исчезло. Теперь он уже и не верил, что видел его.

Зонтаг-Брук отхлебнул из своего бокала и сказал:

– В любых камнях возникают символы тайн воды, огня и воздуха, и всего безбрежного мира. Но это лишь символы, к которым предстоит найти ключ. И не каждый эти символы может разглядеть. Это сложная наука. Золотые пластины тоже насыщены зашифрованными сведениями. Господин Горохов должен знать, что золото может лечить и убивать. Не к каждому этот металл бывает ласков.

– Насчет золота – сущая правда! – подтвердил Горохов. – Старатели знают, что один человек может всю жизнь прожить на золотой жиле, но она никогда ему не откроется. Зато другой сразу её разглядит сквозь землю...

В этот момент над головами пирующих раздался оглушительный грохот.

– Что это? – воскликнули разом Горохов и Улаф.

– Что? Это вышибают окна и двери дома. Выследили всё-таки, сволочи! – вскричал Зонтаг-Брук, надевая корону на голову. – Ну, нет! У нас есть запасной ход. Пока они выломают подвальную дверь, мы успеем убежать. Алена! Сажай меня в корзину!

Алена быстро запихнула коронованного Зонтаг-Брука в корзину и полезла в ход. Все кинулись за ней. Но догнать её было трудно.

Она выбралась из хода вместе с Севастьяном Огурцовым. Задвинула камень и подперла его колом, чтобы изнутри камень повернуть было нельзя.

Первым понял всё Горохов. Он ругался самыми отборными ругательствами:

– Охмурил! Одурил! Порошка в вино подсыпал. Огарок! Обабок! Я же говорил, что Алена не зря с ним ошивается. И купец твой мнимый, Лошкарев, где-нибудь у него же на заимке живет. Шайка!

В это время и Улафа и Философа Александровича схватили за руки люди в гороховых костюмах.

Алена с Севастьяном кинулись к карете. Севастьян вскочил на козлы. Алена влезла в карету и открыла корзину. Зонтаг-Брук вылез из корзины, высунул голову в дверцу и крикнул Севастьяну:

– Не жалея кнута! Гони!

– Куда? На заимку?

– К верхнему перевозу. Хлещи!

– А Петюшка с Ваняткой как же? – спросила Алена. – Неужто мне деток бросать?

– Потом вызволим! С этой короной всех купим! На перевозе нас лодка ждёт! А на займку сейчас ехать нельзя, Улаф с Философом её уже раскрыли.

– Так надо было их кончить, лахман сделать.

– Ученого жалко, забавный такой. Философ мне тоже по душе. Широко жил! Не скряжничал. Это по-нашему!

Зонтаг-Брук отдернул занавесочку и глянул в заднее окошко:

– Крючки позади! Нашарили! Вот гады! Севастьян, хлещи сильней! Не жалей вороных!

Карета уже начала спускаться к перевозу, когда Зонтаг-Брук вновь крикнул в дверцу:

– Разворачивай к Потаповым лужкам! Крути, говорю! Обложили! На перевозе – крючки!

Севастьян натянул правую вожжу, карета круто повернула. Заскакала по кочкам.

Зонтаг-Брук увидел в свете зари на холме темные фигуры:

– Останови карету! Алена, дай мне зонт и лупи агентов! После я тебя освобожу! До скорого!

Зонтаг-Брук подбежал к краю скалы Боец с огромным английским зонтом. Он думал при этом, что вот загнали, как мамонта. С этого самого места мамонт срывался, чтобы упасть на острые камни. Вниз было глядеть жутковато. Солнце вставало над бором и освещало леса, реку, зеленые заливные луга за ней.

За спиной Зонтаг-Брука Алена Береговая яростно раскидывала агентов. Кому сломала нос, кому скулу, а кому и ключицу. Но агентов набежало много, силы были неравными.

Зонтаг-Брук глянул вниз, туда, где бешеные потоки воды разбивались об острые скалы. Нет, зонт тут не поможет. Он хлопнул себя ладонью по полному животу и скривил губы:

– Нагулял тело, наел пузо! Коронованный идиот! Тупица! Не продумал пути к оступлению. Да ведь в то, что корона существует, по настоящему и не верилось. Просто игра увлекала! Да и корона-то, может, и не скифская, и не золотая.

Но... сдать на милость крючков? Да ни за что на свете! Он всегда их дурачил с великой легостью. Он всегда был болен, но был сильнее их, здоровых. Сдаться? Нет!

Карлик снял корону, оглянулся, увидел бегущего к нему Шершпинского, озорно свистнул и швырнул корону в реку.

– Мы оба воры, но я вор честный, а вы – нет! Ауфвидерзеен! – крикнул Зонтаг-Брук и бросился с обрыва.

Шершпинский застыл, как соляной столб, к краю обрыва и подойти-то было страшно.

44. «И В ВОЗДУХ ЧЕПЧИКИ БРОСАЛИ...»

Философ Горохов совсем недолго пробыл в тюремном замке. Уже через полмесяца его провели в кабинет к Евгению Аристарховичу. Горохов думал, что придется оправдываться, доказывать свою невиновность. А Евгений Аристархович открыл ему навстречу свои объятия:

– Уважаемый мой наставник! Прошу прощения за доставленное вам беспокойство, но вы сами виноваты, в плохую компанию затесались.

– Компания как компания! – взъершился Горохов. – Чего тебе от меня надо? Может, пытать будешь?

– Помилуйте! Философ Александрович! Как можно! Я же помню, как вы, будучи прокурором, меня, вчерашнего посредственного гимназиста, пристроили в присутственное место, дали должность. С этого момента началось мое восхождение по служебной лестнице. Теперь я хочу сообщить вам приятную для вас новость. Господина Шершпинского арестовали, увезли в столицу для разбирательства.

Евгений Аристархович понизал голос:

– Скажу больше, сам Герман Густавович стоит на пороге отставки. Он ездил в Омск, говорят, что стоял там на коленях перед генерал-губернатором. Но отставки ему не избежать. Просто в Петербурге пока еще не подобрали ему замену.

– Его судить мерзавца надо! Вот уж кто преступник так преступник!

– Не нашего это ума дело, дорогой Философ Александрович, царем он был назначен, царю и решать. Таких не судят, вы же знаете. Скажут: утомился, надо дать отдохнуть, да и переведут в другое хлебное место.

– Ладно, Женька! Я понял, что ты меня отпускаешь.

– Конечно! И прошу извинить за все доставленные вам неудобства.

Но кто же вас просил дружить с таким человеком, как Рак?

– Рак? Кто это такой?

– А карлик.

– Его звали Зонтаг-Брук.

– Как выяснилось, у него много имен и фамилий. Среди шпаны он известен как Рак.

– Ага! Но уж очень он такой аванажный и вальяжный, маседуан и маскарон. Все науки превзошел. Поймали его? Нет? На заимке есть портрет, можно срисовать и отдать агентам.

– В этом нет нужды, Философ Александрович. Сего Рака надо искать теперь на дне Томи. Боюсь, что его уже съела рыбка. За ним множество художеств. Вот, скажем, недавно нашли в склепе бедного юношу Мишу Зацкого. Заманил его Рак. А матушка Мишина и без того была больна, а как узнала о судьбе сына, так сразу скончалась. А вот, пойдем, в кладовку, что я вам покажу.

Евгений Аристархович взял Горохова под руку. Они спустились в подвал. Евгений Аристархович подошел к бочке, рывком скинул с неё крышку. Горохов глянул, отступил:

– Что это? Человек в воде?

– Человек в рассоле. Это привез неизвестный мужик в подарок Шершпинскому. Сказал, что бочка с кочанной капустой в подарок из деревни. А там засоленное тело беглого каторжника Петьки Гвоздя, или же иначе Петра Гвоздарева. И этот подарочек устроил Рак. Гвоздь ему стал не нужен. Вот с какими фруктами вы возжались!

– Да, я чувствовал что-то неладное, да, видно, с годами нюх потерял. Это же мнимый купец Лошкарев! Ах, мазурики! Ну, собаке и смерть собачья... А Улафа ты освобождаешь?

– Зачем же? Иностраннный шпион, участвовал в банде. Зачем же я буду останавливать такое хорошенькое дельце?

– Ты, Женька, брось! Я сего шведа знаю. Он настоящий ученый и никакой не шпион. Он и так уже настрадался. Давай-ка, выпусти его. Иначе и я из кутузки никуда не пойду. Да ты награду на каком-нибудь ином деле заработаешь. А вот буду я новый прииск открывать, тебя в долю возьму, богатым станешь.

– Ну, мне за золотом гнаться не приходится. Я к своей работе прикипел. Ладно, казнить, так казнить, миловать, так миловать! Так и быть, выпущу твоего шведа. Только ты, Философ Александрович, сам проследи, чтобы он побыстрее уехал из Томска. И лучше всего, чтобы он вообще убрался из России в свою Швецию.

– Ладно! Но я хочу выйти отсюда вместе с ним.

– Что ж. Сейчас его приведут.

И вскоре привели Улафа. Одежда на нем была изорвана в клочья, тело всё в синяках и ссадинах. Он заметно поседел.

– Ну, как тебе, швед, наша российская наука? – спросил Философ Александрович. Улаф промолчал. Видно, было не до разговоров.

– Идем, швед! Нас отпускают! – сказал Философ Александрович.

– Подождите! – остановил Евгений Аристархович. – Я не могу выпустить господина Страленберга в таком виде. Гаврила Гаврилович! Принесите господину Страленбергу новый костюм.

Охранник Гаврила Гаврилович через минуту вернулся в кабинет с отличным новым гороховым костюмом.

– Нет ли костюма другой расцветки? – невольно спросил несчастный Улаф. На что Гаврила Гаврилович привычно ответил:

– Бери, барин, что дают, у нас не хранцузский магазин.

Вскоре Улаф и Горохов шли уже по Почтамтской. Навстречу им двигалась пышная процессия. В коляске, которая вся была засыпана цветами, ехал угрюмого вида человек. За коляской следовал пожарный оркестр, солнце резвилось на медных касках и трубах. Звучала музыка. Музыканты исполняли попеременно, то старый российским гимн «Коль славен Господь во Сионе», то новый «Боже, царя храни». Обычно оба этих гимна исполнялись в особо торжественных случаях.

Женщины из открытых окон бросали на дорогу цветы, подбрасывали в воздух свои чепцы. Крик «ура» катился от окна к окну.

– Чего орёте? – ухватил Горохов за ворот восторженного гимназистика.

– Ивана Алексеевича Комиссарова везут. Из ссылки едет. Каторж-

ник бывший. В Петербурге его сын, Осип Иванович, государя императора спас. Каракозов стрелял, а Осип-то руку преступную с пистолетом в сторону отвернул. Вот отец Осипа теперь едет в столицу с почетом.

– Видишь, что творится, шведец? – сказал Философ Александрович. – Героя везут! Россия – страна героев! То герой Севастополя, то герой не поймешь чего. Каторжник. А его цветами осыпают. Тут и цари, и каторжники, всё вперемешку! И сам чёрт эту Россию не разберет, а ты решил разобраться. Зря!

А вдоль Почтамтской стояли и стар, и млад, вытягивали шеи, только бы взглянуть на Комиссарова одним глазком. Ах, ах! Сам государь приказал привезти в Петербург с почетом! Воспитал же такого сына, сумел же! Что? Каков с вида? Ура! Ура!

И Сесилия Ронне, и Верочка Оленева, и Амалия фон Гильзен тоже были в толпе, тоже кричали «ура», забыв обо всём на свете. И граф Разумовский стоял впереди всех, у самой обочины дороги, расправляя пышные усы. И когда Комиссаров поравнялся с ним, громко сказал:

– Не выйди твой сын вовремя на прогулку, сгнил бы ты в Сибири! Да и то видно, что рожа твоя бандитская.

Давыдов говорил Сесилии Ронне, Верочке и баронессе фон Гильзен:

– Если вы полагаете, что вы сами сейчас кричите свои виваты, то вы заблуждаетесь: это в вас кричит толпа! Стихия кричит. Она вас захватила целиком и полностью. В такие минуты человек над собой не властен. Он уже не отдельная частичка мироздания, он часть огромного животного, по имени – толпа. Куда качнется это животное, туда и он качнется. Ваши напряженные мозговые клетки сливаются в единое целое и посылают мощные волны-флюиды, которые летят по земле. И где-то в дальнем море рождается ураган, и где-то в Японии грохочет землетрясение, а в Италии просыпается вулкан. Милые женщины, остыньте, перестаньте кричать, в конце концов, это всего лишь бывший каторжник...

Весь город собрался возле губернского правления, чтобы посмотреть, как высокое начальство выйдет встречать с хлебом солью этого бывшего каторжника.

Впрочем, не весь город. Не было в толпе Асинкрита Горина. В последние дни он страдал кровохарканьем. Давыдов не смог вылечить его. Асинкрит вызвал знаменитого доктора Бота. Тот долго простучивал грудь и спину Асинкрита согнутыми пальцами. Прикладывал к груди и спине и слушательную трубку.

В конце концов, велел пить тертый чеснок с медом. И предупредил, что жить Асинкриту осталось месяц, самое большое – два.

– Я своим пациентам никогда не лгу, – сказал доктор на прощанье.

– Доктор, а не могу ли я прожить месяца три-четыре? Я ведь еще не женат, доктор!

– О женитьбе надо было думать значительно раньше.

Теперь Асинкрит остался один в опустевшем доме, Смотреть на этого Комиссарова у Асинкрита не было ни сил, не желания. Асинкрит плакал, пинал стулья и табуретки.

Совершенно обессиленный, он взял банку с медом, спустился по лесенке и открыл заветный подвал. К чему золото, если наследников всё равно не будет? Кому завещать его? Не хотелось никому отписывать свое добро. С какой стати?

Асинкрит вскрыл сундук, достал один из мешочков с золотым песком. Насыпал в тарелку несколько пригоршней золотого песка, залил медом, и стал хлебать ложкой. Золотая похлебка с трудом шла в горло.

– Жри, гад! – сказал сам себе Асинкрит. – Осталось два месяца. Жри! Чтоб за это время всё золото съел. А то, смотри у меня!

45. ДВА ПИСЬМА В ШВЕЦИЮ

В 1867 году в Стокгольм и в Гетеборг пришли письма из Сибири, из неведомого и далекого города Томска. В Стокгольме пакет был доставлен родителям Улафа Страленберга. Бедные старики уже и не чаяли получить весточку от сына.

Матушка Улафа прижала к письмо к груди и закричала:

– Он жив, жив!

Отец, набив трубку, сказал:

– Я же знал, что ничего с ним не случится, молодой, здравомыслящий человек, не пьяница. Читай, что он там сообщает.

Улаф просил прощения за долгое молчание. Дела сложились так, что он не мог доверять почте, за ним следили местные власти. Переслать письмо с оказией тоже как-то не удавалось.

«Матушка! Вы были неправы, когда говорили мне, что в Сибири я увижу людей на одной большой ноге и с двумя ртами. Да, здесь был один необычный человек, с короткими руками и ногами и огромной головой. Он приблизил меня ко многим тайнам, но и к великому страху тоже. Встреча с ним всё же была очень полезной. Она дала новый импульс моим научным исследованиям. Этого необычного человека больше нет. Остальные люди выглядят абсолютно так же, как и все люди на нашей любимой родине. Хотя, конечно, есть у них и национальные особенности. В большой стране всё большое, в ней и достоинства велики, и недостатки тоже.

Матушка и батюшка! Я должен сообщить вам, что в жизни моей случились важные изменения. Я стал православным. Это позволило мне легче войти в здешнее общество. Еще в 1721 году митрополит Тобольский Антоний Стаховский разрешил шведам и прочим людям нашей веры переходить в православие через миропомазание. Вот и мне священник мирром сделал крестик на лбу. Итак, я стал православным. Теперь меня в бумагах пишут Ульяном Стралберовым. Это привычнее для русского уха. Я хорошо изучил русский язык и, как говорится, обрусел. Это судьба многих иностранцев, которые живут в Сибири. Иначе здесь было бы трудно жить. Но ко мне судьба очень благосклонна.

Матушка и батюшка! Может, вы станете меня ругать, но я здесь женился на русской девушке. Но если вы её увидите и узнаете, то вы

меня поймете. Она очень красива, кроме того, она столбовая дворянка. Так что в нашем браке объединились два старинных дворянских рода. Девушка эта рано осталась без родителей, и она будет рада вас считать своими родителями. Она образованна, умна и добра. Чего же можно еще желать?

И кроме всего прочего, я получил здесь важную должность. Теперь я являюсь чиновником губернского правления, контролером золотых приисков. Это даёт мне возможность существовать безбедно. И еще я могу ездить по казенным делам в отдаленные таежные места и попутно вести там свои научные наблюдения. Думается, что со временем я смогу создать большой научный труд по истории, флоре и фауне Сибири. Европейцы так мало еще знают об этом удивительном, девственном и могучем крае. Я посылаю вам 11 литографий с видами Томска. Выпущены они в Варшаве художником Юлиусом Вольдемаром Флеком. Он жил в этом городе, любил его. И вот выпустил эти литографии. В Томске они пользуются громадным успехом, и быстро раскупаются. Вы видите под пейзажами разъяснительные подписи на русском и польском языках. Поскольку вы этих языков не знаете, то я перевел эти подписи для вас.

Обратите внимание на литографию, где изображена лестница, поднимающаяся на крутую гору, поросшую вербой и шиповником. Вы видите прилепившиеся к горе кузницы, этот место так и называется – Кузнечный взвоз, или же Кузнечный развал, ибо на этом крутом подъеме обыкновенно разваливаются возы. На горе возносится к небу изумительный храм, узкий и высокий, как стрела. Как сияют его кресты и маковки! Это Воскресенская церковь, находящаяся неподалеку от старинного шведского кладбища. Именно в этой церкви я обвенчался с моей горячо любимой Верой Николаевной Оленевой. Она подобна богине, и во время венчания в церкви все только и любовались ею. Я думаю, что вы её полюбите так, словно это ваша родная дочь. Мы обязательно приедем в гости, как только начальство даст мне отпуск или же смогу поехать с целью служебной в Европу.

Я мечтаю еще пройти по пути предка нашего, который путешествовал с Даниилом Готлибом Мессершмидтом.

Со следующей оказией, дорогие мои, я пришлю вам свои подарки. Это будут меха и сибирские кедровые орехи.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья.

Ваш любящий сын Улаф фон Страленберг».

Тетушке Амалии в Гетеборге был доставлен другой пакет. В нем были литографии и еще бронзовая пластина, та самая, которую тетушка вручила когда-то Улафу. Он рассказывал в письме о своей жизни в Сибири, о женитьбе, о многом другом. Были там и такие строки:

«Милая тетушка! Спасибо вам за амулет нашего предка. Он сослужил свою службу. Я был близок к сокровищу, оставленному Иоганном Филиппом фон Страленбергом. Я даже держал его в руках. Но оно ускользнуло. Не смог его удержать. Оно сверкнуло и исчезло, как ми-

раж, как видение. Очевидно, человечество еще не готово к обладанию этим сокровищем. Это не просто золото и драгоценные камни. Это золото великих познаний тайн природы. И к этому золоту не так просто приблизиться. Современные люди слишком нравственно слабы, несовершенны, чтобы владеть этой тайной. В материи таится колоссальная энергия, по сравнению с которой, изобретенный китайцами порох – сущий пустяк! Но я ни о чём не жалею. Я здесь нашел иное золото. Мою милую и нежную красавицу-жену. Многих друзей.

Духовное богатство, богатство души способно противостоять времени. Оно тоже таит в себе огромную силу. Я пишу вам это письмо в старой ризнице монастыря, устроенной в колокольне монастырской церкви. Как вы догадались, наверно, я принял православие. Ризницу я избрал для уединенных научных трудов. Надо мной сейчас гудит трехсотпудовый могучий колокол. Это помогает мне думать. И я с грустью вспоминаю свой стокгольмский чердак, где я так страстно штудировал Шопенгауэра, Бёме, Сведеборга. Философия? Чтобы понять жизнь, нужно страдать. Тот, кто всегда жил счастливо, ничего в жизни не поймет.

Тетушка! По приезде в Швецию я обязательно навещу вас и отдам за всё, что вы для меня сделали. Вы подарили мне совершенно удивительную и замечательную судьбу.

А фигурку оленя передайте в Стокгольме в Королевское археологическое общество либо в музей древностей Упсальского университета. По вашему усмотрению. Пусть сей амулет послужит науке.

Ваш счастливый племянник Улаф».

К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО

8 (21) июня 1910 года в деревне Загорье Смоленской губернии родился Александр Трифонович Твардовский.

Ещё до войны выходят его книги стихов «Дорога» (1938), «Сельская хроника» (1939), «Загорье» (1941). Но самой знаменитой стала созданная во время войны поэма «Василий Тёркин. Книга про бойца». Здесь суровая правда о войне представлена глазами простого солдата.

После войны Твардовский обращается в своем творчестве к жизни простых людей – как они возрождаются к мирной жизни, восстанавливают то, что было разрушено войной. Создается книга «За далью – даль», представляющая как бы дневник путешествия в Сибирь и на Дальний Восток. Книга была в 1961 году удостоена Ленинской премии.

Важным делом жизни Александра Трифоновича была работа в качестве главного редактора журнала «Новый мир». При нем там публиковались произведения Ф. Абрамова, Ч. Айтматова, Г. Бакланова, В. Белова, В. Быкова, Ю. Домбровского, С. Залыгина, Ф. Искандера, Б. Можая, В. Шукшина и других авторов. Величайшей заслугой редактора стало опубликование произведения тогда еще никому не известного рязанского учителя Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962).

В феврале 1970 года условия работы стали невыносимыми, и он вынужден был незадолго до своего шестидесятилетия покинуть журнал.

Скончался Александр Трифонович Твардовский 18 декабря 1971 года.



Александр СОЛЖЕНИЦЫН

Поминальное слово о Твардовском

Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырём, — только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди! Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его полгода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор — до последнего часа в сознании. В страдании.

Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока, и желанно-горькими тяготами журнала ещё не борождён лоб, и во всё сиянье — та детски-озарённая доверчивость, которую пронёс он через всю жизнь, и даже к обречённому она возвращалась к нему.

Под лучшую музыку несут венки, несут венки... «От советских воинов»... Достоинно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир». И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.

А вот вся нечётная дюжина секретариата вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мёртво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. (Это давно у нас так, это — с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт.) И расторопно распоряжаются телом, вывёртываются в бойких речах.

Обстали гроб каменной группой и думают — отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают — победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие, — вы ещё как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгрести, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.

К девятому дню
27 декабря 1971

Александр ТВАРДОВСКИЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.
И за твоею мглой безгласной
Мы – здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны –
Иного смерти не дано.
И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.
И нам, живущим ныне людям,
Не оставаться без родни:
Все с нами те, кого мы любим,
Мы не одни, как и они.
И как бы ни был провод тонок,
Между своими связь жива.
Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?

* * *

Перед войной, как будто в знак беды,
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.
И тяжело было сердцу удручённому
Средь буйной видеть зелени иной
Торчащие по-зимнему, по чёрному
Деревья, что не ожили весной.
Под их корой, как у бревна отхлупшею,
Виднелся мертвенный коричневый нагар.
И повсеместно избранные, лучшие
Постиг деревья гибельный удар...
Прошли года. Деревья умерщвлённые
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зелёные...
Прошла война. А ты всё плачешь, мать.

* * *

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...

ДВЕ СТРОЧКИ

Из записной потёртой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далёко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А всё ещё бегом бежал
Да лёд за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего – ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далёкой,
Как будто мёртвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примёрзший, маленький, убитый
На той войне незначительной,
Забитый, маленький, лежу.

1943

* * *

На дне моей жизни
На самом доньшке
Захочется мне
Посидеть на солнышке,
На тёплом пёнушке.
И чтобы листва
Красовалась палая
В наклонных лучах
Недалёкого вечера.
И пусть оно так,
Что морока немалая
Твой век целиком,
Да об этом уж нечего.

Я думу свою
Без помехи подслушаю,
Черту подведу
Стариковскою палочкой:
Нет, всё-таки нет,
Ничего, что по случаю
Я здесь побывал
И отметился галочкой.

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Прощаемся мы с матерями
Задолго до крайнего срока –
Еще в нашей юности ранней,
Еще у родного порога,
Когда нам платочки, носочки
Уложат их добрые руки,
А мы, опасаясь отсрочки,
К назначенной рвёмся разлуке.
Разлука ещё безусловней
Для них наступает попозже,
Когда мы о воле сыновней
Спешим известить их по почте.
И, карточки им посылая
Каких-то девчонок безвестных,
От щедрой души позволяем
Заочно любить их невесток.
А там – за невестками – внуки...
И вдруг назовёт телеграмма
Для самой последней разлуки
Ту старую бабушку мамой.

* * *

Как не спеша садовники орудуют
Над ямой, заготовленной для дерева:
На корни грунт не сваливают грудую,
По горсточке отмеривают.
Как будто птицам корм из рук,
Крошат его для яблони.
И обойдут приствольный круг
Вслед за лопатой граблями...
Но как могильщики – рывком –
Давай, давай без передышки, –
Едва свалился первый ком,
И вот уже не слышно крышки.

Они минутой дорожат,
 У них иной, пожарный навык:
 Как будто откопать спешат,
 А не закапывают навек.
 Спешат, – меж двух затяжек срок, –
 Песок, гнилушки, битый камень
 Кой-как содвинуть в бугорок,
 Чтоб завалить его венками...
 Но ту сноровку не порочь, –
 Оправдан этот спех рабочий:
 Ведь ты им сам готов помочь,
 Чтоб только всё – ещё короче.

* * *

*Перевозчик-водогрѣбщик,
 Парень молодой,
 Перевези меня на ту сторону,
 Сторону – домой...*

Из песни

– Ты откуда эту песню,
 Мать, на старость запасла?
 – Не откуда – всё оттуда,
 Где у матери росла.
 Всё из той своей родимой
 Приднепровской стороны,
 Из далёкой-предалёкой
 Деревенской старины.
 Там считалось, что прощалась
 Навек с матерью родной,
 Если замуж выходила
 Девка на берег другой.
 Перевозчик-водогрѣбщик,
 Парень молодой,
 Перевези меня на ту сторону,
 Сторону – домой...
 Давней молодости слёзы,
 Не до тех девичьих слёз,
 Как иные перевозки
 В жизни видеть привелось.
 Как с земли родного края
 Вдаль спровадила пора.
 Там текла река другая –
 Шире нашего Днепра.
 В том краю леса темнее,
 Зимы дольше и лютей,
 Даже снег визжал больнее
 Под полозьями саней.

Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезённые слова.
Перевозчик-водогрёбщик,
Парень молодой,
перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой...
Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.
Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой...

* * *

Дробится рваный цоколь монумента,
Взывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчёта,
И так нагляден нынешний урок:
Чрезмерная о вечности забота –
Она, по справедливости, не впрок.

Но как сцепились намертво камня,
Разъять их силой – выдать семь потов.
Чрезмерная забота о забвенье
Немалых тоже требует трудов.

Всё, что на свете сделано руками,
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень –
Он не бывает ни добром, ни злом.

* * *

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете –
Живых и мертвых, – знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог,
Передоверить. Даже Льву Толстому –
Нельзя. Не скажет, пусть себе он бог.
А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Борис Иванович

ПРОЩАЙТЕ, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ

(фрагмент романа-поэмы «Моя лерга»)

*Превыше звёзд на недоступной тверди,
Мерцающих в кипучей пустоте.*

П. Б. Шелли

*... – как те, о чьей печали
Никто не знал... одни лишь птицы знали.*

Д. Китс

*Как упоительно всему
так безоглядно ни к чему
от сокровенности
ждать откровенностей!..*

Автор

Автобус междугородного рейса «Томск – ПарABELь» медленно отпятился от своей посадочной секции, выдвинувшись из ряда себе подобных, остановился, покачнувшись взад и вперёд солидарно с головами своих пассажиров, немного постоял в некой общей нерешительности, потом, словно железно взяв инициативу поездки на себя, двинулся потихоньку вперёд, забирая уверенно сперва вправо и потом влево. При этом головы сидящих уже отклонялись слаженно в противоположность движению их транспортного средства, словно все так же дружно, как при посадке в автобус, вдруг решительно и одновременно передумали ехать, но почему-то не решались об этом сказать...

Пока с наигранным безразличием пассажиры отвлекающе-безвольно прятали по окнам друг от друга глаза, железная воля на упругих колёсах резко вырулила с привокзальной площади к оживлённому перекрёстку улиц, притормозила и, поддав ходу, покатила через трамвайные пути влево до следующего, уже кольцевого перекрёстка, где, практически почти не притормаживая, решительно покатила вправо, к Томи. При этих двух последних резких сменах направлений движения люди, вынужденно наваливаясь друг на друга, вполне вынужденно же, словно обоюдно извиняясь за неловкость, наконец-то встретились взглядами. И улыбнулись. Улыбнулись по-доброму, облегчённо, увидя в глазах соседа свою растерянность недоумения от скованности, до того не позволявшей заметить в другом себя, другого себя. Напряжение вынужденного соседства резко пошло на убыль.

Богдан Иванович Хворыш после того, как автобус через час пути, уже за Обью, покатыл строго на север, достал специально взятый в дорогу номер «Аргументов и фактов» и, устроившись для чтения поудобнее, начал шуршать пухлой газетой, подыскивая подходящий материал. Впереди крепенькая темноглазенькая девчушка лет трёх-четырёх, до того беспрестанно топотившая на коленях матери, капризно скособочившись с укладкой щекастенькой головки себе на плечико и слегка при этом замерев к удовольствию своей родительницы, по-детски непосредственно

и, в то же время, казалось, с некоторым ироничным вызовом уставилась на него. Слегка тоже склонившись и приподняв брови домиком с едва заметным надуванием щёк в шуточной полуулыбке, он в ответ изобразил некое подобие салонно-формальной участливости «юная особа столь любопытна?» или вроде того. «Юная особа» очень этим возрадовалась и с энтузиазмом показала ему язык. «Да, и я такой же, и тоже ем мух!» – моментально мимикой оттелеграфировал он ей свой восторг от встречи со столь ему свойским «прекрасным». Следствием резко подскочившего эмоционального давления девчущки явилась большая зеленая дуля из её носика, очень кстати замеченная матерью. Общение было прервано отжиманием носика и собиранием соплей. Он, радуясь наступлению своевременности материнской бдительности, принялся за чтение. Настырная «юная особа» не раз ещё, вопреки увещаниям мамыши, пыталась продолжить мимический диалог с ним, но он искусно этого «не замечал». Вскоре она, утомлённая собственной активностью, уснула на материнских коленях к радости всех, а особенно тех, кто поначалу неосторожно сюсюкал в плане «а и откуда же такие холосые такималюси-сюси-кюси-муси-пуси-калапуси девотьки белутся-та, а?!». Богдан Иванович, осторожно удостоверившись из-за газеты в получении им некоторой свободы действий, сложил на коленях свой бумажный щит, закрыл глаза и задумался.

Думать на самом деле было о чём, но не очень хотелось. Так всегда бывает, когда решаешь одновременно несколько мыслительных задач, точно при этом зная, что их решение не имеет смысла, поскольку не определено главное – ради чего? Понимая это, впадаешь в некое подобие эмоциональной протрации, когда мысль обречённо перескакивает с одной мелочи на другую, чтобы, лениво покопавшись и в ней, попытаться заинтересовать себя ещё чем-либо неинтересным.

Вот, например, сама поездка в Парабель: предстоят встречи в Нарыме (а туда в нынешних транспортных обстоятельствах больше никак не попадёшь, кроме как по воде из Парабелы) с двумя-тремя старинными знакомыми для подготовки прохождения им следующим летом реки Пайдуги от устья до истока – задачи конкретные, понятные, но с неясной целью. Неведомой и для него тоже. Сама импульсивность возникновения землепроходческого намерения отдавала средневековой блажью, тем более непростительной в наше время для человека небогатого, а потому не могущего себя ни экипировать достаточно современно и надёжно, ни подстраховать на случай почти стопроцентной вероятности смертельно опасных форс-мажоров. И тем более это должно было выглядеть странным для любого из хоть сколько-то знающих его, потому что ни закоренелым таёжным бродягой, ни отважным следопытом, ни романтиком экстрима, ни киношно заскучавшим по трудностям городским оболтусом он не был. Напротив, его видели в качествах человека умеренного, трезвомыслящего, неавантюрного и, что более важно, местного, то есть весьма осведомлённого в плане знаний всех трудностей маршрута. Разумеется, у него были конкретные расчёты по времени с учётом благоприятности водного режима реки, минимизации гнуса, возможностей добычи пропитания; имелись карты, распечатки спутниковых съёмки, сведения, пусть и «через третьи руки», от тех, кто когда-либо в наше время пытался пройти этим маршрутом (он знал только о двух таких попытках второй половины 20-го века – обе закончились ничем). Ему нужны были: лёгкая моторная лодка с запасным мотором (как минимум триста километров комфортной езды); очень лёгкий и крепкий обласок (без него

верховье реки непреодолимо в принципе); походное снаряжение именно для вгрызания в тайгу; и, самое главное, напарник – некрупный (для меньшей посадки обласка), крепкий и выносливый (работа на последних полутора сотнях километров предстоит адова), упрямый... Именно напарника он опасался не сыскать, потому что искал не «джентельмена удачи», а нормального мужика. Но «нормальный мужик», обычно, при деле, а поэтому имеет множество обязанностей, обязательств, привязанностей и привязок – ради чего он должен сунуть, буквально, «кобелю под хвост» ровно месяц? Чтобы просто поохотиться и порыбачить, поболтаться в тайге? Но для этого не требуется тащиться так далеко и тяжело! И ещё рисковать собой! Конечно, любой серьёзный охотник, особенно в таёжных безлюдных глухоманях, всегда рискует, но в данных условиях, когда ты оказываешься в центре таёжного круга с радиусом удаления от какого бы то ни было человеческого жилья под двести километров болотом (а это совершенно бесперспективно!), по единственной дороге – реке – почти пятьсот, из которых полторы сотни непроходимы из-за заломов и завалов (а это ещё надо как-то преодолеть, пусть даже назад это уже и по течению!), то в таком случае риск должен быть чем-то дополнительно и серьёзно оправдан. Чем?

Прочие мысли тоже не добавляли оптимизма. В личной жизни всё выстроилось как-то до того привычно не так, что это никак особо не задевало. Всё так, как и у других, обычно, не так. Дети выросли, выучились. Ни о славе, ни о карьере, ни о каком-либо успехе не думалось даже нечаянно – разнообразный жизненный опыт и честная адекватность в самооценке не располагали и к минимуму иллюзий на данный счёт. И обид тоже внутри себя не обнаруживалось, потому что понималось, что обида – это та же иллюзия, только наизнанку. Всё, что мы имеем возможность оценивать – уже произошло.

Богдан Иванович был давно уже годами не молод, поэтому, растеряв былые иллюзии, новых старался избегать. Он располагал небольшим, но по-спортивному стройным и крепким телом на зависть большинству тридцатилетних, имел располагающие к непринуждённости манеры, был доброжелательно-ироничен и остроумен – всё это в сочетании с широкой образованностью и отлично поставленной речью выводило его непременно в центр внимания любой, даже и молодёжной, компании. А ненавязчивость, незаносчивость и умение выслушивать других делали его удобным собеседником.

На данное время у него совсем отсутствовали персональные враги. А прежде они были. Нет, разумеется, прежде всё было по-другому: иные работы, иные должности, иные всем этим продиктованные отношения... Но всё названное ничтожно в сравнении с главным – иным, без сомнения, был сам он, вечно что-то проповедовавший, к чему-то звавший, куда-то ведущий, что-то доказывающий... А что он, собственно, доказывал? Всё, за что он ратовал и чему радел, либо оказывалось на поверку впоследствии не столь уж серьёзным и важным в человеческом измерении, либо приходило потом само собой. А доказывал он и всем, и себе, кажется, лишь то, какой он хороший, какой он умный, какой он, всё-таки, молодец, всем необходимый, для всех незаменимый. И досадовал, если кто-то этому не верил, и обижался, если сам в этом сомневался...

Он почему-то вспомнил своё таёжное детство – сначала то ещё, доаэродромное, когда раз в неделю стала приходиться старенькая двухпалубная пассажирская посуда «Бодрый» (её ещё шутливо называли «Ободранный»), поэтому гостя, просто нового человека, ту же почту ожидали

именно раз в неделю, высыпая на берег к хрипловато-бодрому гудку всем наличным ходячим составом. И капитан, причаливая судно, с улыбкой брал под козырёк, искренне радуясь, что не напрасно почти двое суток извилисто скрёбся против течения, ориентируясь в фарватере по вешкам и больше по интуиции, что наконец-то видит населённый пункт, что ему здесь рады. Все, и на палубе, и на берегу, светились радостью, по-доброму подтрунивая, помогали, «пособляли» друг другу:

– Да не дуди ты – хорош: всех кур поперепугал!

– Не бойсь: кормить будешь – глядишь, и на юга не снимутся!

– Глуши коросту – берег подмываешь! Чё, не своё – не жалко?!

– Не нравится – на обласках гоняйте!.. С претензиями, понимаешь!..

– Алё! Алёша!! Тебе ж сказано «отдать концы» – чего рот разинул, шкипер, ёж тебе в клёш?! Чаль! Давай сюда конец!.. Какой? Ты это меня спрашиваешь?.. А ещё тут нам рассказываешь, что ты не Алёша!.. Тот конец, который не совсем конченный кончик!! Ой, жаль твою мать, а!.. Во, во... Можешь же!.. А трап? Давай-давай, дорогой мой человек, подсоблю... Тяжё-о-о-олый, зараза!!

– Славные передовики лесоповала, я что-то не понял: почему сами не вповалку?! Дрожжи закончились, что ли?

– Ишь, якоревый, задница в ракушках, ослабилась!.. Мы, брат ты мой водяной, работаем, а не болтаемся, как некоторые, – не будем пальцем показывать, – словно какое добро в проруби!

– Ну-ну... То-то в прошлый раз ваш какой-то из провожающих всеми четвереньками в сходни не попадал!

– Тебе ж говорят: от усталости!

– Ну-ну, поверили...

А чуть в сторонке кучки баб по интересам:

– А вон, глядь, какой ситечек затейный! Ба-аско смотрится!! Да нет, не на той... Чё ты, прям, Варя, на каку-то колоду в фуфайке смотришь? Вон, за кругом спасательным...

– А, вижу: рыженькая такая, дробненькая – эк, она: аж готова и на боку себе дырку выкрутить...

– Да ты на платье смотри...

– Ага, Нюра... Ух, какая расцветка! Сдалёка, наверное, не с Парабели даже... Может, в Колпашеве, или, пуще того, в Томске, отрез покупала...

– Дробненькая-то дробненькая, но ничего при ней, кроме ситца – ровно травянка вяленая...

– Да уж, кака-то дранощепина!..

– Тихо ты – загордится ещё...

– Ей без этого платья никак – там, вишь, и ни позыркать, и ни пожменькать. А тоже, поди, жить хочет... Ой-ё-ёй, дранка кручёная в ситце! – и это уже жалеючи, с сочувствием.

– А тот-то у трапа, Рая, смотри... Да плюнь ты на эту Агашу: даже нечаянно в её сторону глянешь – сразу привяжется, как давеча, словно болячка какая!.. Вона-вон, гыди-гыди-ка чё...

– Ви-и-ижу... Господи, прости: как с ним баба его... спит, жаль сердешная, ведь ни до чего путного не доберёшься из-за пуза такого – мука же!

– О, пожалела! Можя она, пузатиха эта, шибко борзоватая у него, ну, поджарая – тогда по её пазам и вудобенку им!

– А скажи, Катюня, ведь когда я Николкой моим ходила на девятом месяце – все ещё ахали, что живот большой, как при тройне – у меня

брюхатость была куда уж меньше?.. А то, скажешь!! И как его такого в дорогу-то пустили? Поди ещё одного... Ему самостоятельно и посикать-то не видно куда и чем!

– Икря-а-аний!..

– Здравствуйте, Иван Христианыч! Здравствуй, Поля! А где Лиля?..

А, ну мы так и поняли: им-то с Яковом Генриховичем подальше идти...

– Ой, Ида, напугалась!.. Смотри: негр, что ли?..

– Где?.. Да ну, Нина, скажешь тоже – это свой какой-то... чалдон, малость перекопчённый. Негры – те не такие! Те – что чугунки, только белки и зубья белеют!..

– Пряма, ага!.. Где ты их видала-то?

– Знаю!.. Петя, сводный брат, аккурат после войны в Москве одно время служил – там видел раз! А когда в гости приезжал – рассказывал! Ой, а Васька мой тогда махонький ещё был – всё этак с открытым ротиком, аж слюнки верёвочками, его слушал. И назавтра возьми да заболей, Васятка-то: шибко уж жаром горел, – дык мы и места себе не находили, что так спужались, – а турусил почём зря и ножонками сучил-сучил – всё, вишь, от негров убегал... Мама моя долго потом Пете выговаривала за это – дескать, виноват: «Петро, вот тяни ж тебя неладное за язык-то, застращал ребёнка неграми чуть ни до родимчика!..».

Всё внимательно рассматривалось и порой годами обсуждалось. Круг общения был узок, всё промелькнувшее новое радостно будоражило. Поэтому и к получасовой стоянке «Бодрого» относились со значительно большим интересом, чем сейчас, скажем, к поездкам на отдых в русско-немецкую Турцию или задрипаный своим же прошлым величием Египет.

А потом полетел Гагарин. И все радовались, а родившихся пацанов нередко называли Юриями. А потом воскресниками, всем местным миром, словно свой Байконур, с энтузиазмом корчевали и ровняли поселковый аэродром. Богданка, как и все другие мальчишки, складывал какие-то коряжки, корни и ветки на двухколёсные конные таратайки, помогая деловито хлопочущим подле трактора и волокуш взрослым... И был восторг от приземления первого самолёта, маленького ЯК-12, из которого выпрыгнули на траву начальник аэропорта в новом красивом-красивом светлом пиджаке с золотыми галунами и очень большой, просто огромный, толстый такой, в тёмно-синем форменном костюме с ещё большим количеством таких же галунов начальник колпашевского авиаотряда. Каждый – а сбежалось всё, что могло передвигаться – стремился потрогать обшивку крыла и хвоста, провести пальцем по пропеллеру... К поваленной берёзе были заблаговременно привязаны мерины Серко и Чалый с хомутами и верёвками – тягло на случай увязания самолёта.

С трудом отогнав людей и собак, наиглавнейший на местном севере лётчик («товарищ начальник авиаотряда» – так к нему обращались) стал, заведя двигатель, кататься по всему полю, проверяя плотность поляны. Все замерли. У маленького Богданки обмирало сердце, потому что дядька-лётчик слишком уж тяжёлым казался и для маленького самолёта своего, и для чуть сыроватой, особенно по болотистым краям, посадочной полосы. Потом самолёт подрулил на прежнее своё место, остановился, затих. К важно кряхтящему вылезшему из тесной для него кабины пилоту подошли самые главные мужики из местных: начальник лесозаготовительного пункта, технорук, кто-то из мастеров, завхоз, начальник аэропорта... О чём-то поговорили, иногда мягко притопывая по траве ногами и поочерёдно разводя руками. Большущий лётчик что-то напослед-

док рассказал смешное, потому что все, прощаясь с ним за руку, дружно рассмеялись. Богданке было радостно видеть своего отца, запросто разговаривающего с самим «товарищем начальником авиаотряда». Ему и самому хотелось бы постоять где-нибудь рядышком. Но в те времена старшими не поощрялась подобная вольность – «шуганут» вмиг, «понуужнут» так, что будь здоров: нечего, мол, на взрослые разговоры уши развешивать! Да и позови вдруг бы они его к себе (ох уж, эти фантазии!), точно начал бы «кособениться», краснея, и отнекиваться смущённо, но неактивно и недолго, потому что, хоть скромность и поощрялась, однако ж и сколько-нибудь затяжные «ломания» при этом, приравниваясь к упрямству, считались дурным тоном.

Кстати, гость из чужих в их доме, состоящем из маленькой прихожей, кухни и единственной комнаты, мог на протяжении достаточно долгого времени даже не подозревать о присутствии там ещё и четверых детей-невидимок, занятых какими-то своими беззвучными делами – «лезть в глаза» и, тем более, «мозолить глаза» собою не могло им и вообразиться. Данное положение было так естественно, что этому даже никто и не учил, как не учат, например, дышать. И это совсем не являлось следствием какой-то «забитости», «затырканности», «затюканности», то бишь подобием некой фамильной «недосоциализированности» детских индивидуумов. Были свои радости нестеснённого общения «в кружок» с беззлобными, иногда жуткими, воспоминаниями родителей о былом, о том, как, слава Богу, «выдюжили». И было захватывающее чтение Шолохова вслух, порой прерываемое общим смехом от удачного речевого оборота, порой всхлипыванием матери над эпизодами с жестокостями, порой и просьбой кого-нибудь: «Тома, давай-ка ещё раз о том, как Размётнов не стал мстить...». И мастерил что-то ловкими руками Коля, и отец над валенками с дратвою, и мама с шитьём, и сёстры с пальцами... И были домашние концертники-импровизации: Лена пела, и у неё это получалось очень хорошо; Богданка, которому позволялось, как младшему, многое, смешил всех сценками с переодеваниями и монологами «под умного»...

Вскоре, когда Богданка захворал и болел так долго и тяжело, что это всем надоело, отец повёз его на самолёте в участковую больницу. Больница, как и сельсовет, находилась ещё выше по реке, километрах в восьмидесяти, то есть недалеко, как там считалось. Для самолёта, четырёхкрылого Ан-2, это оказалось сущим пустяком, и в какие-то чуть ли ни пятнадцать минут они перенеслись в другой посёлок, который отличался от их родного лишь тем, что жителей было там поболее примерно на треть, человек на сто, а может и того шибче. Но не это важно. Важен был сам полёт. Они уселись на железную лавку вдоль борта, напротив другой такой же – пассажиров вместе с ними было человек десять; в хвосте самолёта валялись мешки с почтой, какие-то посылки, ещё что-то непонятное в брезенте, стоял багаж; в широко и мелко застеклённой кабине пилотов, в которую вели две ступеньки, было светло и виделось нереально много всяческих цифеблатов, циферблатиков и неохватное количество, как бы рядами вдоль и поперёк, прочих заморочных штучек. Там, в кабине, сначала никого не было, а потом туда ловко и быстро прошёл стройный молоденький лётчик, до этого с очень серьёзным лицом помогавший всем устроиться, а позже к нему полез второй, пожилой, с шрамом на лице, который перед этим с начальником аэропорта что-то писал в бумагах на нижнем крыле самолёта, а потом, неспешно снаружи забравшись, шумно-глухо захлопнул дверку, укрепил её каким-то непонятным мане-

ром, с добродушной и потому необидной наглостью окинув всех быстрым взглядом, поинтересовался:

– Полетим, или как? Никто в дороге не передумает? – здесь он ухмыльнулся добавочно. – Прошу учесть: по пути не высаживаем!

– Ты, мил, вези да не трясись, ради Господа, – перекрестилась на него старушка напротив.

– Это, мать, как уж Богу будет угодно на его путях неисповедимых!..

А потом он наклонился над Богданкой и мягко погладил его белые волосики, обратившись к отцу:

– Впервой летит?.. Не боится?.. А, действительно, чего тут бояться: воробьи куда меньше, а летают!

Потом уже, когда завёлся двигатель, когда самолёт вырулил на взлётную прямую, остановился и, всё неистовее и неистовее набирая обороты, страшно завибрировал, пожилой лётчик через плечо быстро оглянулся и бодро подмигнул Богданке, таращившемуся из-под мышки отца. А уже в следующую секунду всё вздрогнуло и тронулось, ускоряясь, покачиваясь, потом чуть подпрыгивая, наконец, взревело и взмыло, вдавливая замершее дыхание куда-то в седушку.

– Смотри, сынка, – отец тыкал пальцем в иллюминатор, – вон хата наша и Дружок на цепи... а вот, ближе, у прясел, вон-вон, видишь, мать стоит, рукой от солнца прикрылась...

Им повезло: самолёт разворачивался над посёлком, заваливаясь на него как раз тем боком, где сидели они. Но скоро он, встав на курс и продолжая подниматься, выправился и, оставив посёлок в полторы улицы тесовых крыш где-то позади, пошёл почти вдоль реки. Было и страшно, и интересно видеть Пайдугу шириной со спичечный коробок, деревья в виде скопищ мелких былинки, скользкую в стороне самолётную тень. И справа, и слева от реки лес в основном обрывался болотом с отдельными, иногда редкими островами сосняков. Болото занимало порой почти всё пространство внизу, мокро посверкивая на солнце, открываясь вдруг чередой озёр, иногда крупных. Если вдоль реки озёр было больше и они имели вид небольших подков, то на болоте их было чуть меньше, но зато они были более крупными и почти круглыми. На одном из них отец отыскал ему даже лебедей. Сам он почему-то не сразу понял, что это за две белые запятые с видом наоборот, но тут самолёт – а он летел уже, оказывается, пониже – стал заваливаться налево, внизу пошёл сплошной лес, сначала коричнево-зелёный сосновый, потом очень разный вдоль реки, потом березняк у показавшегося за рекой посёлка. Вообще-то Пайдугу в противоположных иллюминаторах было видно почти всё время, то ближе, то дальше, а под ними нередко маячила какая-то узенькая речушка, прорезавшая болото и лес в том же направлении. «Юголовка», – пояснил отец. Название реки было знакомо: кто ж не знает из местных пацанов, что она впадает в Пайдугу по их же стороне километров на десять выше по течению?! Богданка даже ощутил во рту вкус голубики с молоком! Именно с этой реки отец, мать и старший брат Коля привозили на моторке эту так нравящуюся ему ягоду. Ещё в восторг его приводило то, как с охоты возвращался отец: сразу за пряслом из кольев с жердями, на реке, узнаваемо причаливая, глож лодочный мотор; навстречу гулко несущемуся через огород Богданке приветливо выскакивал из-под крутого берега Дружок с тугим серпом хвоста чуть вбок (по настроению собаки всегда можно было заметить степень удачливости охоты); тяжело и приятно было в обнимку тащить к крыльцу, где ожидала улыбающаяся мать, пару угольно-чёрных с иссиня-коричневыми отливами раскры-

лившихся веерохвостых и мохнатолапых глухарей, бородатые головы которых из-за малого роста несущего постоянно стучались о комковато-мёрзлую землю убранного огорода; а после отец деловито вытряхивал из рюкзака что-нибудь вроде косачика, тетёрочки, парочки жалко скрюченных коричнево-сереньких хохлатых рябчиков, узелок с остатками хлеба – «это тебе, Данька, зайчик просил передать!». Чаще это был хлеб от «зайчика», иногда от «лисички», но он был всегда как-то необычайно сладостно вкусен...

Иногда и его папка, и их собака, помнится, возвращались усталыми и недовольными друг другом. Пёс трусил понуро, прямым к будке, как неродной. Они приезжали позже, чем их ожидали, поэтому и зайчики с лисичками, не дождавшись их на берегу, у лодки, не могли сделать вкусной передачи для Богданки. Все, брат, сёстры, мать, даже полосатый кот Васька, были немногословны, хотя и радовались, что дождались кормильцев. Брат прибирал снаряжение, брался за чистку ружья. Папка с мамкой, вытрясая и развешивая для просушки сапоги, портянки и прочее, неспешно разговаривали:

– На Юрму, отец, заезжал, сено проверил?

– Да. Нормально. Один меньшой стожок, где хвоща побольше, чуть покосился – я поправил малость.

– Достойт до конца ноября, до вывозки-то?

– Да куда он, мать, денется-то?

– А чё, скажи, торчат там, на Парсате, надо было так долго?! Мы уж забеспокоились...

– Ну Маруся...

– А мало ли, Иван, чё иногда удумается...

– Ну понимаешь, никак не получилось лося взять: всю ночь его держал наш Мальчик, но за болотцем – в темь же не сунешься... Только на рассвете пришёл к костру, лёг в сторонке – обиделся... Я уж его и так, и сяк – разговорить пытался... Ладно, до зимы ещё есть время реабилитироваться перед кобелём.

– Да подь уж он к холере этот лось – надо было домой, раз не получилось...

– Собаку ж в деле не бросишь...

– Оно так, конечно... Ладно, умывайся, да за стол пойдём.

И уже к старшей дочери обращаясь:

– Тамара, а Мальчику дали чего?

– Лена ему отнесла поесть, но он не хочет... Там Богданчик с котом его уговаривают...

Здесь, куда они прилетели, аэродром был как бы посуше и заметно попесчанее, чем у них, а к посёлку, который был на другой стороне реки, по тросу ходила паромная лодка, вмещающая пять-семь человек с ручной поклажей и почтой. Пока шли к больнице, Богданка, вспомнил про лебедей:

– Папк, а ты лебедей добывал?

– Нет, в них же нельзя стрелять!

– Они несъедобные, что ли? – он верно знал, что лебедь «родня» гусю, которого уж точно едят...

– Съедобные-то съедобные... Но, считается, не надо, не к добру: грех такую красивую и редкую у нас птицу отстреливать – что уж, оголодали, прям, будто другого чего добыть нет возможности, на лебедей, понимаешь, набрасываться будем... Так и до людей дойдём – убивать...

– Пап, ты же на фронте пулемётчиком, говорил, был...

– Ну, до ранения... Недолго, в общем... В пехоте оно так. А потом, после госпиталя, в кавалерийском полку войну заканчивал... Вишь, такие даже были ещё.

Но последнее, несмотря на то, что Богданка очень любил лошадей – и отец это знал – его не отвлекло:

– Я в кино видел: с пулемёта немцев так и косят...

– Ну, это в кино... такие косари... Там коси да коси – всё равно невзаправду, понарошку... Вон, смотри, и больница уже.

Богданка, как и все, немного боялся больницы, но спросил о другом:

– Ты сколько немцев убил? – спросил и чуточку испугался, поняв по лицу отца, по тому, как он сжал его руку, что спросил что-то не то...

– Дурачок!.. Там же не видно ничего... Вон где они – вдалеке: кто же их ближе, чем на сто-двести метров, подпустит-то?.. Да и дым тоже всякий, пыль там столбом... И не один ты стреляешь в ту сторону: ты, не ты попал, да, может, и не задели его, то есть целёхонький он, а просто залёг – там, сынка, никто ничего не знает!.. И нет в том нужды. И правильно... Ишь, погода как разгулялась!

– А вот нам в прошлом году на классном часе читали воспоминания чьи-то – тогда ещё Геннадий Данилович с Василием Ивановичем почему-то не пришли, хоть мы их и звали по поручению нашей Евдокии Фёдоровны, – так там про штыковые атаки, про рукопашный бой говорилось...

– Ну мало ли, кому не повезло?! Погоди-ка... Ага, правильно: сейчас обувь обшмурыгаем о траву и зайдём...

Больничка была маленькая, с двумя-тремя кабинетами, с несколькими палатами, но там работало много народу: санитарка, фельдшерка, даже врач-хирург (он же терапевт, стоматолог, акушер... и, кажется, ветеринар ещё). Именно он, главный здесь, выпроваживая из кабинета какого-то мужика в драном пиджаке непонятного цвета, строго и добродушно выговаривал ему: «Да никакая это, дорогой мой человек, не лихоманка – рожка у вашего поросё... Да не про рыло его речь... А я вечером найду – всё одно мимо же идти! Ну...». Вскоре он осмотрел, простучал и прослушал по пояс раздетого Богданку, слазил ему ложкой в рот, пощупал лоб ему и сказал отцу:

– Да ваш мужичок здоров, как бычок! Езжайте завтра спокойно домой, если ночью не будет жара... Будет – другой разговор: тогда сюда!.. Следующий!

Ночью в заезжем дворе местного лесопункта температура у него не поднялась, впервые за последние месяц-полтора... Богданка почти скачком улетел от болезни на тот берёзовый берег верховой Пайдуги. Во всяком случае, тогда всем так показалось...

Новый транспорт был скор, но очень непостоянен: весной аэродром около двух месяцев стоял в воде, и сам начальник аэропорта порою прямо из окон стрелял по уткам; осенью опять всё раскисало почти на такой же промежуток времени; плюс к тому межсезонные «переобувания» самолётов с колёс на лыжи и наоборот, нередкая для малой авиации нелётная погода по несколько дней кряду, нехватка мест в «кукурузнике», который был как-никак проходящим... Весной и осенью изредка выручал вертолёт: почту сбросить, сложную роженицу забрать, следователя привезти по какому-либо трагическому случаю... А река в это время ненадёжна и даже опасна. Впрочем, как и всё, как сама жизнь, опасна она всегда.

Да уж... Богдан Иванович никак не мог понять своей тоски из-за того, что Пайдуга опустела, стала необитаемой. Нет, был бы это рай-

ский уголок Земли – можно было бы понять собственное сожаление! Но ведь покинуто в прямом смысле всеми богами забытое место, в которое и сами-то они, люди, были сатанински-безжалостно брошены не то на гибель, не то на обживание края... Но и сами, бедолаги, недопогибли, и края этого унылого недообжили. Тайгу жалеть нечего: человек ей не нужен ни с пилой, ни с ружьём, ни с сетью, ни так просто, для антуража. За реку можно лишь порадоваться: отдыхает, восстанавливается она от многолетнего молевого сплава древесины, так гнилостно засорявшей её. И человек, покинувший эту нерукотворную каторгу, свет ведь увидел, облегчение условий содержания своего жизненного срока получил, то есть в некоторой степени одарен судьбой. Так всё, так!.. Почему же болит душа? Почему всё ярче и отчётливее, до слёз пронзительно, встают перед ним воспоминания о том, если честно, очень даже несправедливом и тяжком времени? Хотя, сказал же, а, словно можно отыскать в истории справедливые и лёгкие времена!.. Всё же, почему? Потому что возраст такой, что пора балансы подбивать? Потому что тогда, несмотря ни на что, брезжили какие-то личные перспективы, а сейчас их нет точно? Потому что и кочерыжка капустная тогда вкусна была, а сейчас – увы? Или душа не может смириться с напрасностью всех тягот и жертв (не своих личных лишь – наших общих!) и этак своеобразно бунтует?

Действительно, зачем, зачем всё это было? К чему вот этому всему теченье фактов ни к чему?! Ну, не примерещилось же... Впрочем, чему удивляться: извечное бегство человека от неминуемого устья растворения краткого течения его существования в пугающей беспредельности океана бытия всегда приводило несчастного к миражам непостижимых истоков – от химер конца к химерам начала, чтобы в итоге так и не выйти из плена иллюзий. Только боль почему-то неиллюзорна, натуральна...

Богдан Иванович открыл глаза и, смущённо посмотрев по сторонам, быстро вытер ладонями мокрые щёки, достал из кармана платочек, промокнул глаза. И только после этого заметил внимательный взгляд из пространства между спинками кресел перед ним: «юная особа», оказывается, давно за ним наблюдала... Он осторожно ей улыбнулся – она, как-то по-взрослому серьёзно закусив нижнюю губку, потупилась и медленно отвернулась...

Когда-то совсем юным, покидая родное левобережье Пайдуги на попутной самоходке, которая почти через сутки пути зачем-то ненадолго причаливала к правому берегу левого, основного, устья дельты (мужикам что-то надо было там забрать), он, чтобы размяться, спрыгнул на тальниковый берег и немножко походил по его упругому песку. А уже через каких-то десять минут они шли вниз по последнему, нарымскому, устью Кети прямо в Обь. И он оглянулся тогда на остающуюся за поворотом Пайдугу, и у него чуть ли ни навернулись слёзы. Тогда ему было жалко себя, уезжающего в совсем незнакомое, чужое, пугающее, но и манящее – в эту внутренне безразмерную прорву города. А что сейчас? Себя, точно, не жалко. Но есть необъяснимое ощущение вселенской покинутости всего, всего того, обойдённого вниманием, оглушённого безмолвием, помятого памятью, искажённого объяснением – того, бывшего, от которого убегая, все в нём лишь и бывают реализованы. Всё по-настоящему – только в прошлом. И смерть – лишь возвращение от текучих химер к непостижимости настоящих истоков. И в этом её неуловимая настоящесть.

Он ещё и в школу не собирался ходить, когда умер их сосед, мужик спокойный и какой-то умеренный во всём, в отличие от своей весьма языкастой, сварливой, несколько даже скандальной и совершенно необъят-

ной по габаритам жены. Богданке казалось, что она его, как и всех, включая собак, кошек и кур с трясогузками, за что-то недолголюбивала, неизменно называя его «белоголовым чертёнком», хотя он ничем ей не вредил и даже черёмуху с шиповником между их огородами объедал строго только со своей стороны. Но речь не о ней... Умер тихий и улыбочивый дядя Миша, пару раз прокативший его на своём лесовозе от дома до гаража. Умер тихо и для всех неожиданно, в кабине машины, на работе. На следующий день, когда отец был в конторе своей, старшие ещё из школы с какого-то важного мероприятия не пришли, мать пошла с увязавшимся Богданкой вслед за другими женщинами покойника провести и около вдовы повздыхать. Там было тихо, тоскливо и жутковато. Когда вскоре вернулись домой, Богданка, привычно наблюдал за тем, как мать, уложив на камелёк печи его доставшиеся от старших и потому не раз подшитые валенки, взяла оттуда же сухую кедровую лучину и стала растапливать печь, очень аккуратно, красивыми рядами «в решёточку» укладывая дрова для равномерности их горения... (Да вот, оказывается, с чего на протяжении всей своей жизни в дальнейшем до боли сердечной не мог он переносить небрежного зашвыривания кем-либо дров в топку, а жену свою в сельский период их совместной жизни просто-таки от печи гнал, мученически восклицая при этом: «О, что ты делаешь! У-у-у, ради Бога, отойди! Почему?.. По кочану!»). Он вдруг спросил мать, неожиданно даже и для себя:

– Мам, а почему умер дядя Миша?

Мать, закрывая дверку потрескивающей сушняком печи, тихо и спокойно ответила:

– Ты же слышал: сердце, говорят, остановилось – видать, больное было...

Она задвигала чугунами, а он спросил снова:

– А наша бабушка Наталья, твоя мама, почему умерла?

– Ну, возраст там другой был... По старости, наверное.

– А вот если бы у дяди Миши сердце не болело бы, он тоже до старости дожил бы?

– Да, наверное...

– И умер бы по старости, да?

– Да, – мать как-то забеспокоилась вдруг. – Богдан, хватит, не мешай: вишь, делов сколько у меня, а тут ты ещё нудишь, как, прям, старая кила какая...

Богданка сидел на своём любимом месте, на малюсенькой самодельной табуреточке напротив топки, и глядел через круглые отверстия и трещину чугунной дверки на яростный огонь, жадно и безжалостно пожиравший лёгкие дрова из кедрового сушняка. Когда-то этот кедр был маленьким, потом долго-долго рос (брат Коля считал ему кольца на срезе чурки, но даже он сбился), потом состарился и высох на корню, видимо, после очередного лесного пожара, а теперь он сторает в их печке. А другие старые деревья падали в мох и там трухлявели, растворяясь в земле. Он видел это сразу за посёлком, когда погнался вместе с другими ребятами за бурундучком. Тогда ещё на длиннющую чёрную гадюку наткнулись на полуистлевшей колоде, и ребяташки постарше, чуть пристукнув её по голове, к кладбищенскому забору на большой муравейник, зацемявив палками, отнесли – она попыталась уползти, но бесполезно – муравьи вмиг её облепили и ручейком потекли ей в рот, в ноздри полезли... На следующий день он уговорил одного мальчишку сходить туда: змеи там уже не было – лишь полускрытая серо-жёлтой хвоей, шуршащая от

прикосновения прутика, сухая, как тонкая бумага, чешуя её служила неким тоннелем для деловито снующего муравьиного общества. «Большая она была, старая, наверное... И сама бы сдохла скоро», – резюмировал мальчишка с важностью старшего эксперта. Вспомнилось Богданке, как летом парень один очень старого своего кобеля Джека, который уже и облысел, и вставать на ноги не очень хотел, и слёзы у которого, как у человека, катились вдоль носа, на верёвочке в лес уводил, ружьё прихватив с собой... Потом был выстрел за посёлком в той стороне. Потом этот парень на лавочке у дома своего всё прикурить никак не мог: руки у него тряслись и тряслись, а спички ломались и ломались. Говорил: «Он всё понял: смотрел мне в глаза, плакал и устало так улыбнуться пытался – видно, что не обиделся... А я в глаза ему выстрелить не могу никак – духу не наберусь – тогда он, как специально, взял так и голову боком мне подставил и ждёт... Надо же!».

Богданка любил смотреть на огонь, хоть и жалко ему было видеть, как неумолимо превращаются в угли, золу и пепел аккуратные желтоватые полешки. Это была его особая привилегия, привилегия младшего. Остальных, включая отца, мать, если что-то стряпала и варила, быстренько «понужала» с кухни до самого «когда позову». Сёстры порой по-доброму посмеивались над ним, проходя мимо: «Ишь, сидит себе, как, прям, дедок старенький!».

Богданка не был «неслухменным» (непослушным) и, тем более, «уросливым» (капризным), но он не мог дальше терпеть и спросил обречённо, боясь, что знает теперь и так уже всё заранее:

– Мам, я тоже стану старым?..

Мать опешила, но, пытаясь ему улыбнуться, что-то сказала такое:

– Ну, это когда ещё... Чего это ты, сынок?..

– И, значит, я умру...

Он заплакал так горько, как не плакал ещё никогда, приговаривая: «И вы все тоже... И меня не будет...». Мать пыталась его успокаивать, но он тихо и впервые вполне осознанно плакал, ничего не слушая и ни на что не обращая внимания. Потом тихонько встал и ушёл в комнату на сундук. Скоро он перестал плакать и сидел в густеющих сумерках, уставившись в противоположный угол. «Зачем идти в первый класс через полтора года, зачем расти и взрослеть; зачем и ему, и всем-всем что-то делать, если впереди нет ничего ни для кого?» – почти в ступоре думалось ему. Вскоре пришли старшие, но он на них не среагировал. Потом отец сунулся было к нему, но отошёл с озадаченным шёпотом: «Чё, мать, делать-то?».

И на другой день он ни с кем не говорил, не потому что, видите ли, обижался на кого-то, или на что-то, а потому, наверное, что не знал о чём тут вообще теперь можно говорить. Он видел, как провозили мимо окон на конных санях гроб с дядей Мишей, а следом шли люди, среди которых был и отец, и, наверное, почти все взрослые посёлка. Мать с сёстрами дальше своей калитки не пошла. У конторы, где вся тёмная среди ослепительного снега процессия ненадолго приостанавливалась, чтобы дальше двинуться уже под долгие сигналы подогнанного сюда специально лесовоза покойного, теперь отстали некоторые женщины и небольшие стайки ребятишек. Богданка на всё это смотрел, стоя у окна, словно на клубный экран. Ему уже почти не было страшно – он о чём-то как бы сожалел, но и сам не понимал, о чём именно... Случилась сильная оттепель, поэтому некоторые ребятишки взялись что-то соорудить из сыроватого снега в проулке у конюшни. Мать тихо попросила, постояв около него:

– Богдан, ну иди-ка, сынок, к ребяташкам, побегай с ними...

Он оделся, вышел, но услышав живую возню ребятни, понял, что ему среди них сейчас не место. Сзади кто-то тронул его ногу. Это был их щенок-подросток Дружок. Да, тогда это был ещё Дружок... Обычно весёлый и непоседливый, на этот раз пёсик лишь со сдержанной заинтересованностью глядя ему в глаза, кособочил голову то в одну, то в другую сторону, лишь чуть-чуть помахивая хвостом. «Подрос и поумнел», – что-то вроде этого подумал Богданка и, присев на крыльце, приобнял и стал гладить его щёки и пышный воротник. И заговорил, сам подивившись своему голосу.

Богданка и до того-то не очень жаловал детские компании, хотя в них его всегда хорошо принимали, а с семи лет, когда выучился читать, стал и вовсе отдавать предпочтение книгам. При этом откровенно детскую книгу он прочитал от начала до конца, кажется, только одну, свою первую, купленную для него отцом на почте. Она, видимо, была весёлой и интересной, потому что в ней повествовалось о том, как маленький поросёнок Хрюк ходил на праздничное школьное мероприятие. На всю жизнь врезались ему в память начальные слова этой книжки: «Хотите верьте, хотите нет, но жил на свете поросёнок, и звали его Хрюк». Богданка несколько раз её читал, ценил и берёг, но в Хрюка не поверил... Так же, как не поверил в те отрывки Ветхого Завета, которые читала ему баба Миля, отцова мать, приезжавшая к ним в гости. Но его очень тронул образ Христа из Нового Завета, и он даже просил кое-что перечитывать оттуда. Она перечитывала, дивясь этому, но уже какими-то другими словами и не совсем то. А на его недоумение поясняла: «Как ты не поймёшь, что это свидетельство уже другого апостола!». И Богданка с тех пор уловил, что апостол – тот важный «когдатощний ещё» дядька, который свидетельствует лишь то, что считает нужным, как бы имея право пренебречь тем, что было на самом деле. Ещё баба Миля строго объясняла ему правила любви к человеку, но при этом всегда недовольно поджимала губы, разговаривая с его матерью... Когда она уехала, всем, включая отца, стало как бы полегче. Так уж тогда Богданке показалось... А нелюбовь к детской литературе позже ему аукнулась, когда он, учась на филфаке, трижды ходил сдавать зачёт по детской литературе, чем крайне поразил преподавателя, очень милого и, кажется, наивного человека, кругленького, с тугими поросычьими щёчками, смешливого, при смехе как-то весьма натурально подхрюкивавшего. Этак «подхрюкивая» над ним и его товарищем по сему несчастью Иваном (к слову сказать, имевшим на дому уникальную отцовскую библиотеку), он, сжалившись и откруывая их зачётки, обращался к Богдану:

– Нет, я понимаю: студенту некогда готовиться к «несолидному» для его «высочества» зачёту... Но в детстве-то неужели не читали книжек, хотя бы нечаянно, что ли?..

– Почему же... Читал.

– Но вы, ваше наифилологичесство, сдаётся мне, знакомы лишь с «Колобком» в лубочном оформлении из «Родной речи»! Ох, голубчик, докатитесь до чего-нибудь... Нет, только честно: читали ещё что-либо вообще?

– Читал. Про Хрена.., ой, то есть Хрюка какого-то...

– Хре...хрю... хрю... Хрюка, говорите... – до слёз «расхрюкался» забавный экзаменатор, туго трясясь щеками и ставя им зачёты...

Вся родня была как-то перекошено разбросана по лику земли советской, поэтому встречи с ней были редкими и потому особо ценимыми.

Дядя Петя, оставшийся фотографически в образе юного симпатичного лейтенанта той страшной войны, который, казалось, до самой своей кончины на восьмом десятке был строен и молод... Дядя Коля, рассудительный, почти по-буддийски спокойный, работающий, густо и мягко что-то немногословно баритонящий воспоминаниями между делом – его, настоящего русского мужика и Сиблаг, и Кольма не сломали, не озлобили... Но самым дорогим, любимым для Богданки гостем был дед Клим, материн отец. А деда Романа, отцова отца, никто помнить не мог из семьи, даже отец, потому что погиб тот ещё в Первую мировую где-то в Польше... Так вот, дед Клим многое повидал: малоземельное нераздолье черниговщины; поиск своей доли на казацком Дону; удалое бегство оттуда с невестой-казачкой Натальей из непростых, кою не желали отдавать за мужика; тяготы обживания в лесостепной Сибири в русле столыпинской реформы; жена любила, уважала его, рожая ему детей, а он трепетно её, не приученную к трудностям, огораживал, как мог, от забот; потом фронт Первой мировой, окружение и немецкий плен, лагеря для военнопленных, работа в Германии около года, возвращение к своей семье с хозяйством, изрядно разорённым без мужицкого глаза в условиях теперь уже беспредела Гражданской войны; бессмысленная тупость военного коммунизма с его бессовестно-законным грабежом продразвёрстки; была, была возможность у него, человека уважаемого, как-то тихо пристроиться к местному кормилу власти, но он умел только работать и совсем не умел грабить других, считая последнее крайне постыдным; вскоре забрезжили надежды нэпа, и он радостно начал крепить своё крестьянское дело, и тогда же он со своим десятком лошадей, двумя десятками коров, неинтересным никому числом жеребьяче-телячье-овечье-куриной мелочи, пасекой, единственной на округу водяной мельницей вдруг из кормильца наконец-то вырвавшейся из голода страны превратился для власти, которую он же фактически и спасал своим трудом от голодного бунта, в классового врага и «кулака-мироеда»; как кулак первой категории, он не был расстрелян только благодаря тому, что – спасибо же германскому плену! – не служил в армии Колчака; в лагере, на лесоповале его и старшего сына Николая старательно отучали от ответственного крестьянского труда, приучая к труду рабскому, безответственному, чтобы потом дослать их к семье, до нитки обобранной, бабье-детским рёвом уже вкопавшейся землянкой в предзимье пустого таёжного берега, дабы прорубать там дороги в никуда, дороги, по которым, бывало, позже никто никогда ни разу не ездил; гибли дети и от всего этого кошмара, и от вновь навалившейся войны... А что дед Клим: обиделся, злобу затаил? Нет. Он говорил позже, глядя Богданку по голове: «Что ты: обижаться – грех! Знамо дело, все сгинуть могли во мраке, как пить дать, все... А вот, благодаря Господу, кто-то и выжил всё-таки. Теперь ты поэтому живёшь, свету можешь радоваться... А не посышься все эти беды, как давеча на нас с тобой из туюска в кладовке шурушки разные – и тебя бы не было, если б ссылка твоих родителей не свела. И мы тогда с тобой, если б не опрокинулся этот берестяной туюсочек на полочке, нужные сапожные гвоздушки не нашли бы. Так?». За всю девяностолетнюю жизнь, кажется, никто не слышал от него грубого ругательства. Дети его к нему обращались на «вы» («вы, батя, отдохнули бы», «вы, батя, в гостях всё-таки, а не на работу сюда приехали»), и он к дочери ласково на «ты», а к зятю исключительно на «вы». («А наш Петро, просил передать вам, Иван Романович, что следующей осенью постарается сам к вам приехать, чтобы повидаться и поохотиться заднемья на глухарей».) Он был верующим, но без апломба: ни за стол садясь, чтобы поесть,

ни из-за стола выходя, неторопливо насытившись, без крестного знамения перед иконой не обходился, произнося тихо при этом всегда какие-то свои незаученные короткие молитвы, вроде того: «Господи, рады щедро-там Твоим! Но Ты и других не оставь!». Иногда это было с юмором: «Слава Тебе, Господи: теперь можно терпеть и наравне с голодным недоброжелателем Твоим!». Сам своим чином молился, но к тому же никого не принуждал, да и не помнится такое, чтобы кого-либо как-то наставлял с усердием. И при этой мягкости умел он быть принципиальным: когда у него ещё до нэпа появилась своя мельница, то она обслуживала все хозяйства округа строго по заявочной очереди, но местный священник никак не соглашался на климово увещевание, что перед Богом все равны, пытаясь выговорить для себя особые условия – в итоге батюшка, обидевшись на раба божьего Клима, молот своё зерно где-то у чёрта на куличках, то есть, один Бог знает, где, а Клим вскоре родившуюся свою дочь Марусю вынужден был везти для крещения в другую церковь, тоже довольно далеко. Он вспоминал это с юмором, по-доброму, потому что не любил обижаться ни на кого и ни на что. И к себе относился снисходительно, говоря мягко из аккуратно подстриженной окладисто-пушистой бороды примерно так: «Какой бы крепкий порядок во всём у тебя ни был, а порой и грабли с ко-чергой глазами сыщешь уже опосля, как на них наступишь! Чего ж обижаться прозревшему?».

Это парящая клубами пара лёгкость выдоха морозного за минус пятьдесят по Цельсию оптимизма после прерывистого, взхлёб обжигающе-тяжёлого вдоха не поражала и даже не удивляла, потому что себе альтернатив жизненных не имела. Ты дышишь тем, чем тебе дано дышать, подчиняясь безусловности не тобою вложенных в тебя рефлексов. Ты живёшь, далеко не всем в себе управляя, даже мизерно мало завися от себя самого. Ты – пылинка страданий и радостей из всполохов Вселенной, безмерной, непонятной, непостижимой в принципе. И с этим Богом Вседержащим надо либо уживаться ради чего-то, либо отказываться от жизни ни для чего. Последнее подходит для клоунов, возмнивших себя трагическими актёрами. Дед Клим не был клоуном, поэтому нательное бельё на себе не рвал для публики, а тихо творил в незаметной для других своей повседневности подвиг нескулящего в жизни. Он говорил с людьми мягко, не допуская в речи каких-либо неудобств для них, но и не заискивая. Но когда он замолкал и задумывался о чём-то своём, в глазах его виделась такая несказанная боль, что Богданка, пугаясь, непроизвольно трогал его за рукав, возвращая к прерванному разговору. А может ему, мальцу, это лишь привиделось в керосиновом свете лампы, ведь именно тогда сгорела их поселковая электростанция, обычно заводившаяся два раза в сутки, вечером и утром...

Богдан Иванович уселся поудобней, чуть отвернувшись к окну и не открывая глаз.

Привиделось?.. Ему тогда действительно показалась, померещилась, почудилась, «приблизилась», если использовать дедову лексику, та боль в его глазах? Ох, уж это: всем всё всегда всюду кажется! А некоторым ещё кажется, что неправильно кажется только другим, а им самим кажется так, как и должно казаться на самом деле. Помнится, в начале так называемой перестройки один из коммунистических боссов так отреагировал на упрек в адрес его партии по поводу большевистских репрессий: какие, мол, репрессии – ничего и не было такого, а были некоторые «перегибы» в строительстве «общества всеобщей справедливости», которые кому-то «показались» репрессиями... Разумеется, частные случаи

справедливости побоку, коли речь идёт о перспективах её «всеобщего эквивалента». Вот только несчастных частных этих миллионы и миллионы... Потому, наверное, их и прореживали!.. А чтоб, «понимаешь ли это вот», не путались частным порядком в ногах «всеобщего».

В бурное горбачёвское время распорился как-то Богдан Иванович в главном корпусе Томского госуниверситета по данной проблематике с одним «убеждённым»:

– Если я правильно понял вас, вы считаете ту коммунистическую практику управления обществом «ошибками», «перегибами», но никак не «преступлениями»?

– Конечно! Ведь, кроме переделки, так сказать, сфер общества во благо людей, решалась одновременно и правильная воспитательная задача переделки, прошу прощения за технологизм, человека для его же пользы, который этому порой сопротивлялся! Извините, но насилие как элемент жизни и инструмент управления никто ещё не смог упразднить... А в столь грандиозной работе с огромной массой людей возможны ошибки, даже и массовые ошибки.

– Замечательно! Особенно потому, что даёт возможность по данному высказыванию кое-что заметить, не в пику вам, разумеется, а из чистой любви к рассуждениям. Итак, выходит, если я, положим, сейчас из полумиллионной массы томичей одного «по ошибке» не того, кого надо, начну прямо вот здесь, на аллее университетской рощи, «правильно» «переделывать» с «воспитательной» целью, допустив некоторые «перегибы», приведшие того «не того» к смерти – это будет, подскажите, пожалуйста...

– Преступление!

– Вот как?! Почему же?

– На подобные дела нужны соответствующие, применим словечко того времени, извинившись за неблагозвучие, «мандаты»...

– О, стало быть, если в наличии «мандаты»...

– То нормально! Но это не ваш случай...

– Да, верно же, я не такой... Где уж, как говорится, нам, дуракам, чай пить без блюдца! Но, если позволите, то я продолжу. Итак, у нас с вами получается, если исходить из ваших представлений о допусках элементарно-инструментарных технологических «массовых ошибок» никем не упразднённого насилия в обществе, логически следующее: один «перевоспитанный» вусмерть безмандатно – преступление; миллионы перевоспитанных с этим же результатом мандатно – ошибки в перегибах издержек воспитания. Так?

– Ой, Богдан Иванович, не надо передёргивать!..

– Что уж этакое принципиального в изначально и бессовестно скобоченном «передёрнешь» – мандаты?!

– Давай без плоскостей, а!..

– Хорошо! Возвысимся над проецируемым на плоскости: данному последовательному соединению РКП(б) – ВКП(б) – КПСС такие мандаты спускались какими структурами? Известно, что тогда пренебрегали всякими правовыми формальностями в пользу сути политической целесообразности, поэтому не «по букве», а «по факту», образно говоря, чьей рукой «выписывались» соответствующие мандаты?

– Их выдавала партия.

– Сама себе?! Так вот: я того несчастного «не того» из моего примера, может быть, тоже подобным образом «воспитательно» замочить желал по выданному собой самому же себе мандату! Что скажем?

– Да ну тебя! Погоди ещё...

– И это искренне! Верю! Потому как и «на ты» со мной, голубчик, «по-товарищески» перешли и при этом в районе ляжек нечто – уж, не кумача ли обагритель «ваше слово, товарищ маузер»? – в качестве железного аргумента импульсивно нашаривали... Увы... Ничего, не переживайте: в другой раз, может быть, и покучерявей диалог сложится – на следующем лихом завитке вихров истории...

Богдан Иванович внутренне усмехнулся этим достаточно обычным негодованиям всякого наглеца, пойманного на непристойностях. Стало смешно ещё и потому, что это ассоциативно напоминало реакцию неверной жены из одного старого анекдота, которая, будучи застуканной своим мужем в ситуации, так скажем по-русски, «ну и ну», даже, откровенно по-взрослому говоря, французски это смягчая, «ню» и «ню», или, другими словами, форменно «два в одном», то есть «без вопросов»: «Ну, вот, так и есть: сейчас опять начнутся упрёки и подозрения!». Подобной хитроизмудрённости анекдотов хватит не на одну дурочку: «Ты даже и теперь, конечно, скорее поверишь своим бесстыжим зенкам, чем своей любящей жене!». Да, уж, с подобных «дурочек» обоего пола, оперирующих незамысловатыми логическими приёмами на скорую руку в стиле «пришей-пристебай», как бы и взять-то нечего в силу их моральной невменяемости, но вид простачков, на всё попросту развешивающих уши, несколько огорчителен! В то же время не секрет, что каждый улавливает те волнения жизненных колебаний, на которые он внутренне настроен. Заметьте: в одном и том же поезде, под монотонику стука одних и тех же колёс на общих же для всех рельсовых стыках мелодика состояния пассажира разная.

Нет, оно, разумеется, так не одними нами всё устроено в организации волновых движений информационных полей, их передатчиков, и, наконец, их приёмников, что без помех не обходится, а поэтому всегда имеется некоторая вероятность чему-нибудь в действительности на самом деле примерещиться... Богдан Иванович вспомнил неприличный до забавности случай, произошедший с его другом Павлычем, директором сельской восьмилетки, ещё в той беззаботно-несуетной жизни «развитого» заката брежневского социализма. Павлыч был (да, к прискорбию знавших его, именно «был») очень и очень милым, душевным человеком, добрым учителем физики, которого учащиеся по-своему любили, несмотря на суровость его должности и предмета преподавания. Был он прост со всеми и по-простому же обходителен, чем некоторые иногда пользовались. Но не об этом речь... Пожалуй, единственным и сразу отмечающимся в облике Павлыча недостатком была его привязанность к алкоголю, которая и в тот понедельник проявлялась сквозь поглощённость делом некоторой гримасой невыспанности. Тем не менее лабораторное занятие увлечённо завершалось на должной эвристической ноте: учитель колдовал над проводами, парнишки из-за недостаточности материальной базы дружно над ним сгрудившись, ему помогали, девчонки в кружок, поправляя косички, чёлки и «хвосты», изображали заинтересованность – всё, как обычно, просто, почти по-приятельски. Ровный голос наставника, приглушённые реплики учеников:

– Это сюда вот, Серёжа, присоединяй...

– Куда?

– К левой клемме, видишь...

– Ой, Серёга, давай быстрее, а!..

– Ну ты тормоз, Серя!..

– Тише, ребята! Не надо так на него: он волнуется – вот и всё... Правильно... Вот... А это сюда подведём... Угу. И придерживай – сейчас включим.

– А не «ёкнет»? – прозвучало, как резкий хлопок, матерное детское опасение, и всеми вдруг была услышана несказанность обнаруженной тиши...

– Нет, не «ёкнет», – вдумчиво успокоил пацанов Павлыч, взорвав безмолвие его же громовым до звона в ушах раскатом...

Минуло сколько-то секунд, и насторожившийся вдруг учитель резко закрутил головой:

– Что?.. Чего это?.. Кто это сказал, а?..

– Н-н-не зна... М-м-мы никто ничего... Молчали все...

– А-а-а... Показалось... Да... Вот, видите, загорелось тут... Сейчас все по местам! Кто у нас попробует сформулировать вывод для записи в тетрадях?.. Но при этом размышляем все, вспоминая нюансы нашей совместной работы...

Всё-таки покойник был хорошим человеком. Богдан Иванович попытался вспомнить хоть что-либо неприятное, произведённое тем в его бытность, но ничего такого неприличного, кроме незначительных огрехов нетрезвости, не всплыло. А ведь как его под конец наказала жизнь!.. Господи, зачем Ты этак-то недобро с беззлобными?..

Под конец, с самого начала, постоянно жизнь всех и всегда наказывает с большевистской негибаемостью осознания силы своей власти над нами. А мы всё гребём и гребём к её божественным истокам неосмысляемого замысла. Там где-то, у чумазого чёрта на куличках, жаждем увидеть Лик Чистоты. Потому что отсюда его не рассмотришь, даже и при высокой температуре! По крайней мере, это никому не удавалось. Либо же казалось, будто удавалось. Думалось так. Но разве можно о чём-то верно думать, ничего достоверно не зная? Выходит, и думаем ни о чём?..

У селькупов есть предания о квели, древнем народе, жившем здесь до них. Когда настолько всё стало меняться, что даже появилось и стало быстро распространяться вдоль рек дерево с необычной белой корой (берёза), квели так испугались чего-то, что торопливо ушли куда-то за болота под землю, где и продолжают жить. И только одичавшие зайцы, бывшие некогда их домашними животными, покинуто прыгают по лесу, обречённые на бродячий образ жизни по замкнутому кругу бывших выпасов. Кто эти сокровенные квели с их легендарным страхом? Что обрели, кроме покоя, убежав? Что потеряли, кроме части заячьего поголовья, при этом? Неизвестно, поскольку сокровенное обречено на тайну свою. А бегут к чему-то, лишь убегая от чего-то. Например, к непонятым перспективам прошлого от явной бесперспективности будущего. Так жизнь пародирует сама себя, стремясь к воссозданию своей неповторимости посредством цифрового фото с собственного дагерротипа.

Богдан Иванович не заметил, как заснул. Засыпающим обычно не фиксируется момент перехода ко сну, но сновидение как условно-нереальное явление даже тогда, когда почему-либо для человека является откровением, в сознании его всё-таки разграничивается с обыденным, условно-реальным в жизни. Как наши понятийные условности «жизни» и «смерти» в природной безусловности нерасторжимого их единства и совершенной непротивопоставленности друг другу. Отсюда и «жизнь есть сон» и «сон есть жизнь»... В силу, хотя бы и, обязательного искажения сознанием им для себя доподлинно невыявленного.

Древние квели уходили безоглядно и быстро, унося под мышками попавшихся под руку зайцев. Кое-что из их очень скромного скарба вываливалось в мох и траву, превращаясь тут же в археологические артефакты. Они, по-заячьи заходя преследующему их чему-то за спину, рвались вперёд и вперёд, чтобы вернуться к себе назад. И это удалось им, как это удавалось всегда и всем – их теперь нет. Как нет бестолковомного Мориса Хуановича, интеллектуально-зряшного Глеба Ивановича, сумасшедше-проникновенного эстета-инкогнито со стойким сербским бредом под именем Борислава Йовановича, как... любого, впрочем, из вернувшихся. Они грустно ушли, не обретя Надежды. Надежда грустит, потеряв их. И грустить ей ещё относительно долго, потому что она умрёт последней...

Кто-то мягко, как в детстве, тронул Богдана Ивановича за плечо: «Идём, идём, Богданка, отсюда куда-нибудь... Я укажу тебе исток... Ты согласен?». «Да, я согласен, конечно же, согласен! – радостно отвечал он какому-то до восторга знакомому голосу, почему-то не вставая на ноги, а поднимаясь невесомо, как в детских снах... Его уже не трогали, а почему-то трясли за плечи – он же, продолжая по-прежнему подниматься, спешил досочинить пришедшие ему в дороге на ум строки: «Так-так-так, вот как:

*Всё оставляем позади,
Век уповая на потом:
Разгадка где-то впереди –
Того, ради чего живём!*

*И даже поутру из сна
Душа всегда раздражена
Так, словно изгнана из храма,
Или потеряна она
В гипнозе всполохов тумана
Лжетолкования обмана!*

Да, да... Видимо, это имелось в замысле... Надо будет записать потом...».

Татьяна Четверикова

Но этот дождь в холодном переулке...

* * *

Ветерок блуждает в желтых ивах,
Шевелит ненужные буйки...
На меня выносит несчастливых,
Как на берег стынущей реки.
Что могу? Выслушивать прилежно,
Ахать, уговаривать опять
Не впадать в отчаянье поспешно.
А потом снотворное глотать
И читать, испытывая жалость,
Про сердца, что кто-то занозил...

Вот такая осень мне досталась.
Не хочу? А кто меня спросил?

* * *

Я больше не посмею, не рискну
Втянуться в романтические игры.
Еще б изжить осеннюю тоску,
Чувствительно остры которой иглы.
Что холод одиночества? Пустяк,
Его рассеют книги и прогулки.
Но этот дождь в холодном переулке!
Но этот весь продрогший березняк!..
Осядет все же чувств нежнейших муть.
Я перейду тоску по желтым листьям.
Прощай, любовь!
Ты норовишь по-лисьи,
Но вновь тебе меня не обмануть.

* * *

Мои глаза полны тайгою:
Листвой, иголками, травой,
Цветами, что цветут без счета,
И в небе синим вертолетом.

Мои глаза полны тайгою:
Зеленой, красной, золотою –
Любою краской, но не серой.
Сейчас глаза наполнят сердце.

И станет сердце – не иначе –
Простым, доверчивым и зрячим.

* * *

Наталье

В каждом доме по кошке, герани и примуле...
Вот спасибо, родные, что так меня приняли.
Как же славно сидеть и неспешно беседовать.
Я в своем далеке тосковала без этого.
Понимаем друг друга, хотя и не родичи.

...За окошком и сумрак, и осень, и дождичек.
За рекою – тайга, за тайгой – Бог знает.
Время тоже не спит, наши судьбы листает.
Я не знаю, что будет, но знаю, что было.
Как сказали до нас: что пройдет – будет мило.
Этот мир, этот век, этот город старинный,
Этот дом и глядящие в окна рябины...

* * *

Мне нравится жить в этой осени мокрой,
Где тополь сорит невесомою охрой.
Где в каждом окне то герань, то фиалки,
Где ходят дорожками важные галки.
Мне нравится жить в этом городе старом,
Он тайны свои не откроет задаром.
Привыкни сперва к одиноким прогулкам,
Пойди поброди по старинным проулкам.
Пойди подыши-ка архивною пылью
И станут предания явью и былью.
Во времени этом глухом и протяжном
Мне нравится думать о вечном и важном.
О древних старухах, глядящих по-детски,
О том, что не нужен мне берег турецкий.
Зачем мне галопом – по призрачным странам,
Когда пахнет дождик тайгой и шафраном.

СНЫ О ДЕТСТВЕ

1.

На Красный Путь – за керосином,
В прохладу лавки, полумрак...
Ни облачка на небе синем.
Июль. Жара. Эскорт дворняг.

Держусь за мамину ладошку.
Звенит трамвай, гремит бидон...
За лавкой – пыльная дорожка:
Зеленый Остров и затон.
Там заводь теплая и лодки,
И волчьих ягод синий цвет...

И ни одной еще высоты,
И ни одной печали нет.

2.
Подарком память детства мне дана,
Заросшая сиренью, бузиною...
На Кемеровской – частные дома
И тишина, два метра глубиною.
Я в ней тону... Но хорошо на дне!
Здесь ноги травы донные щекочут,
Кот на заборе и герань в окне...
А где-то рядом магистраль грохочет.
И корпуса растут день ото дня,
В индустриальном грохоте и гуле.

Спасибо, город, что растил меня
Во глубине своих зеленых улиц.

3.
Среди цветов, травы примятой,
Где возле кленов кинозал,
Еще в конце шестидесятых
Вождь твердокаменный стоял.
Но ни почтения, ни транса
Не вызывал он у людей,
Что в ожидании сеанса
Гуляли мирно вдоль аллей.
Они как будто бы прощали
Нужду, бараки, лагеря...
А он всё всматривался в дали,
Где для него цвела заря.
Где для него слагались гимны,
Туда он руку простирал...
Но как-то незаметно сгинул.
Торчал нелепо пьедестал.
Потом и он исчез однажды.

Елена Клименко Оплетает ежевикой...

* * *

Сегодня чудный день для чая
И для иллюзий о любви.
Так наливай погорячее
И слов шарманку заводи
О том, что даль светла до края,
Вокруг волнистая тайга
И сани по волнам ныряют,
Стремясь поближе к пирогам.
Тепло последнее сбегает
Весёлой пенкой с молока,
Легко в сугробы превращая
Трепещущие облака.
Прозрачны наши изысканья
И чайна радость без труда,
И батареи наполняет
Тепла прозрачная руда.

* * *

Оплетает ежевикой
Песня струны тонкие.
Ты бежишь тропинкой дикой,
Дикою девчонкою.
Над тобой смыкают своды
Лес и облачные башни.
Воплощением свободы
Знойный день и вечер влажный.
Манит ночь прохладным гротом,
Водопаду гладит спинку.
Счастье ждёт за поворотом.
Смотрит вдаль, жуёт травинку.

ДАЧНОЕ

Здесь витают души кошек
И левкоев, и люпинов.
И мышиный вьёт горошек
Тропку ввысь неутомимо.

Там витают души мышек.
Там в животном ясном рае,
На небесных светлых крышах
Кошки с мышками играют.

Елена Кириллова

Мы полетим над лесом...

* * *

Приму обман и зрения, и слуха,
Негромкий стук сама воображу.
Как в эту осень пасмурно и сухо,
Когда в окно рассеянно гляжу!

И пусть других азарт из дома гонит –
То за деньгами, то для куражу,
А мне привычен узкий подоконник,
Когда в окно рассеянно гляжу.

И если ветер к ночи нарастает,
Срывая листья, – я сижу, вяжу.
Ведь у меня стратегия простая,
Когда в окно рассеянно гляжу...

* * *

Я из другого измеренья
Гляжу на столик у стены,
На блюде с крошками печенья,
На стул, компьютер и штаны –

Вся сеть затейливая быта
Тебя от подвигов хранит:
И даль темна, и чувства скрыты,
И волны бьются о гранит.

* * *

О, мальчики, отвергнутые мамой,
Но ищущие оную во мне,
Достойные короткой эпиграммы,
А вовсе не прогулок при луне!

Вздыхаю с облегчением, и – мимо.
Отныне (завизировано мной)
Позволено быть мрачной, нелюдимой,
Язвительной, немодной и смешной.

И пусть их, если тешиться угодно,
Ревнуют, забывают и молчат,
Скандалят и тоскуют принародно
С упорством недолюбленных волчат...

– Ату его! – и гончая порода
Старательно взрыхляет чернозём...

Мы выберем желанную свободу,
А с нежностью и лаской подождём.

* * *

Зубы устали кусаться,
Руки устали драться,
Сама же я – огрызаться
На всех – так устала, братцы.

Ноют зимою зубы,
Ветер холодный – руки
Высушил, стали грубы,
И вся я томлюсь от скуки:

Кто-кто самолёт скурочит,
Пустит по-над Парижем?
Ладно, не буду очень
Жадной – давай поближе:

Мы полетим над лесом,
Мы полетим над полем.
Весело, зябко, тесно.
Ну и зачем мне воля?

* * *

«Розы вянут от мороза».
Всё – атас, отбой, завал!
Ты меня нелепой прозой
Очень разочаровал.

Из незначущих событий,
Из тончайших паутин
Я вытягивала нити
Чудных будущих картин

И доверчиво мечтала,
Что при встрече расскажу,
Как тебя мне не хватало,
Где служу и с кем дружу...

Я на пальцах, на пуантах,
В грёзах вся и старых снах.
Ты ж – увесистый, как панда,
И в брезентовых штанах.

Словно острая заноза –
Твой привет и твой ответ.
Вянут розы от мороза –
Знаю это с юных лет.

...В саге – явные длинноты.
Бог с тобою (или бес)! –
Занял денег до субботы
И таинственно исчез...

* * *

Прикуплю я синие обои.
Где мой рыцарь — Говорящий кот?
Буду с ним болтать, а не с тобою,
Обновляя стены в Новый год.

Утомлюсь под бряцанье посуды
И раскину карты, наконец.
На тебя раскладывать не буду,
Ты и так — герой и молодец.

Для себя — единственной, любимой —
Разузнаю тайные пути,
На которых, путаных и длинных,
Невозможно счастья не найти.

А потом зажмурюсь и украдкой
Запущу вальжного кота.
Он пройдет все карты по порядку
И укажет лапою: вон та!

Засмотрюсь в окно на фейерверки,
Задремлю под всполохи огня...
А наутро вскрою три конверта
От друзей, что помнят про меня.

СКАЗКА

Ведьма – от слова «ведать».
Ведаю – значит знаю,
Когда мне пора обедать
Иль просто напиться чаю,

Когда – закусить Иваном,
Бредущим ко мне лесами,
А то – гусей караваном:
Придумайте что-то сами.

Но где-то в уютной спальне
Дремлет в кровати гномик,
Тихий, весёлый, маленький –
Я точно его не трону.

Его караулит котик –
Дремучий собрат по цеху,
По словарю – Мефодий,
Песец – по густому меху.

С котом заведём беседу
И песню затянем хором.
Я жду тебя – слышишь? – в среду.
И не смотри с укором.

* * *

Плохо – нет, и плохо – да.
Что же надобно тебе?
Вон, с небес течёт вода,
Гром играет на трубе,

Листья мокрые блестят,
Облетая под дождём.
Мы сильнее их стократ –
Эту бурю переждём.

Переждём, да поглядим,
Чем закончится гроза:
А о том, что впереди,
И загадывать нельзя.

Ветер, вроде бы, затих,
Солнце новое встаёт.
Нам пока что по пути,
Так идём, пока не льёт.

Ирина Неклюдова

Рассказы о природе

ДОЖДЕВОЕ ЧУДО

Одно из сильных впечатлений моего детства – пробежавшая рядом дождевая тучка. Я видела кромку дождя так близко, что достаточно было протянуть ладонь... Не успела. Вижу как сейчас: разрывные нити чуть наискосок бегут вперёд, не выбирая дороги. Бегут мимо нас с мамой куда-то вдаль, туда, где ждут полива летние травы. Бегут мимо нашей земляничной полянки, неожиданно появившись среди вкусно пахнущего солнечного дня.

Событие это длилось несколько мгновений, но осветило всю мою жизнь. Так нечто потрясающее не даёт покоя, оставаясь до конца непознанным и потому волшебным. Я словно заглянула в тайну небес, а они, приоткрыв влажную тёмную завесу, отпустили погулять маленькую проказливую тучку, которая, едва не задев меня, лихо прокатилась мимо, показав неведомую дорогу. Куда?..

С тех пор я взволнованно отношусь к великому дару природы, ко всем её проявлениям. Пробежавший мимо дождь – граница двух миров, радости и печали, солнечного света и лёгких слёз. Тучка явно здоровалась с нами и желала доброго пути... На вечную память. На всю оставшуюся жизнь.

Много лет прошло с тех пор. Много чудес природы довелось мне увидеть, включая звездопад в горах. Но это чудо, чудо пробежавшего мимо дождя, не повторилось ни разу не только со мной, но и ни с кем из моих знакомых. Может быть, вам повезёт?

РАЗБЕГАЮЩИЙСЯ ЧАЙ

Однажды летом гостила я у подруги в Таджикистане. Была там впервые, и всё мне было в диковинку: и пёстрые, широкие платья, и тюбетейки, и незнакомый певучий язык.

Осталась как-то одна, решила помыть полы. На кухне, за плитой, увидела ровную аккуратную горку просыпанного чая. Видимо, на днях мои гостеприимные хозяева забыли открытую пачку на краю плиты да и опрокинули нечаянно. Чёрная горка возвышается ровная, аккуратная, словно наш сибирский муравейник в миниатюре. А зрение у меня, надо сказать, слабоватое. А воображение богатое. Поэтому, когда чайники, сметаемые моей твёрдой рукой в совочек, начали разбегаться в разные стороны, я с перепугу подумала, что перегрелась на непривычно жгучем азиатском солнышке, и решила передохнуть.

Подремала полчаса, успокоилась, вернулась на кухню. Заглянула за плиту, горка чая возвышается на прежнем месте, словно и не сме-

тала я её вовсе. Значит, показалось всё? Взяла совочек в руки, веничком махнула, а чайники опять в разные стороны побежали! Тут уж я не на шутку перепугалась. Еле-еле подругу с работы дождалась. Сама то и дело за плитой поглядываю. На месте чайная горка или перебралась куда?

Пришла Света с работы. Смеётся надо мной. Оказывается, это муравьи её домашние. Она их не заводила, нет. Сами приползли.

Вот так. К нам паучки в гости захаживают. А у них муравьи за плитами живут. Светины родители после этого случая весь отпуск надо мной потешались. Зато когда ко мне в гости в заснеженную Сибирь приехали, заслушивались, как сверчок за печкой поёт. Им тоже всё в диковинку было!

ЛЕСНАЯ МОДЕЛЬ

В один из тёплых летних дней захотелось нашему семейству прогуляться в сосновом бору. Год был неурожайный, грибы попадались редко, в основном обтрёпанные, мохристые сыроежки, которыми зверушки лакомились от бескормицы. В лесу было тихо, и высоченные сосны стояли на страже этого покоя. От лёгкого, почти незаметного ветерка, а может быть, и от неминуемой старости, на землю изредка планировали тонкие хвоинки, не в силах держаться более на строгих ветвях.

Вдруг на тропинку выскочила белка. Посмотрела внимательно и строго, словно спрашивая, зачем мы тут; запрыгнула метра на два на дерево, в пустые корзинки наши заглядывает. Замерла. Что ей надо? Дочка из любопытства выложила перед ней единственный найденный маслёнок. Белка долго не спускалась. И вдруг как побежит. А я уже фотоаппарат достала и за ней. Ух, долго же она меня по лесу мотала! Муж с дочерью успели на жарёху несколько лисичек и моховичков отыскать. Домой зовут. А я всё оторваться от белки не могу. Она меня словно заворожила. Вскинет мордочку хитрую, глаза скосит, позволит подойти поближе, хвостик рыженький распушит, головку изящно развернёт – щёлкай, фотограф. Только я успею на стоп-кадр нажать, как она опять пулей: то по мшистой поверхности, то по деревьям скачет. Набегалась я за ней... Наконец (случайно ли?), опять к тому месту вышла, где мы первый раз с «моделью» нос к носу столкнулись. А у неё с другой стороны сосны целый клад припасён: несколько шишек, боровичок, грибы какие-то сморщенные. Она, по-видимому, только-только в дупло-кладовую собралась это богатство, запасы зимние, поднимать, да мы помешали.

Извинились мы тогда перед белкой и домой довольные поехали. И с умницей лесной пообщались, и себя не обидели. А фотографии на память остались. Вспоминает нас белка или нет, не знаю. Но мы её – точно. Вот она какая красивая из-под сосновой веточки выглядывает, полюбуйтесь.

СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА

В детстве была у нас с братом весёлая кучерявая болонка. Она любила играть и баловаться вместе с нами. Однажды Сергею пришла гениальная мысль воспитать из щенка настоящую дрессированную собаку. Ро-

дители поощряли все наши трудовые начинания и потому с удовольствием преподнесли будущему учителю книгу о том, как правильно тренировать четвероногого друга.

Брат очень этой книжкой увлёкся и не выпускал её из рук. Сначала Каштанка, с подозрением косясь на новый красочный предмет из шелестящих листьев, внимательно слушала маленького хозяина, а потом, совершенно не понимая, чего же он от неё хочет, начинала с возмущением лаять. Ей хотелось бегать, прыгать, веселиться, а не выполнять странные бестолковые команды, исходящие от шустрого шкета, симпатичного лишь тем, что у него были такие же спутанные кудряшки, как и у неё. Ну как его не облаять? Неужели самому побегать не хочется?!

– Фу, – приказывает Сергей и для большей важности топает ногой.

– Тяв, – отвечает Каштанка, виляя хвостиком, с непропадающим аппетитом вылизывая огромную, не по размеру, миску.

– Сидеть, место!

– А я что делаю, длиннолапый? – слышится в собачьем урчании. – Ты сам-то пробовал есть из миски, держась хвостом за воздух?

– Лежать, место, – продолжает строжиться учитель.

– Тяв, неплохой вариант. Так даже удобнее. Присоединяйся, тяв-тяв!

– Каштанка, рядом, рядом!

И послушная ученица с немалым грохотом катит пустую посудину к Сергею.

– Смотри, я давно всё съела, давай ещё, гав!

Брат, вполне довольный первым успехом, важный и гордый, гладит любимую болонку. Важно достаёт из кармана приготовленный кусочек сахара. Но не успевает собачка спокойно полакомиться тёмным от прилипших соринки рафинадом, как новые команды сыплются тяжёлой артиллерией ей на голову.

– Барьер, барьер! – кричит братец, заставляя погрустневшего щенка запрыгнуть через палку на высокую будку.

– Гав, он нормальный? – поворачивается Каштанка ко мне, и глазки её просят помощи или защиты.

– Барьер, барьер, – присоединяюсь я к затеянной игре.

Да, с нами двумя собачке будет справиться нелегко. Но брат прогоняет меня с командного пункта. Командир должен быть один!

– Апорт! Апорт!

И палка, служащая опорой георгину, летит в сторону теплиц. Крупная красная шапка георгина падает, как подкошенная. О, что это? Пси-на, сметая брата, кидается, радуясь и рыча, на бедный цветок. Схватив его зубами, долго трясёт в недоумении мордой: «опять обманули!».

– Вы что мне подсунули, бестолковые... гав?

Болонка плюётся, не в силах избавиться сразу от прилипших к зубам и нёбу бархатистых лепестков. Мы, смеясь, командуем хором:

– Поворот, Каштанка, поворот!

Уж эту-то команду она непременно должна выполнить. И собачка, как по волшебству, несколько раз крутанувшись вокруг себя, падает на землю, обиженно замирает, положив лепестковую мордочку на сложенные лапы.

– Получилось, получилось, – радуется брат.

– Ко мне, ко мне, – отдаёт он новый приказ!

– Гав, надоели... рыв... – ученица начинает сердито лаять и вдруг хватает мастера за штаны. Так они и бегут до самого дома. Потом весёлым визжащим клубком катятся по траве.

Упорное обучение продолжалось несколько дней. Каштанка протестовала, как могла, правильно и с удовольствием выполняя только одну команду: «Голос!».

Однажды собачкин учебник куда-то запропастился, и мы никак не могли его найти. Недообученная, но довольная этим обстоятельством, Каштанка бегала по двору совершенно безграмотная. Потом и она куда-то делась. После ужина, выйдя во двор, мы услышали осторожное, но победное рычание, доносящееся из будки. Заглянув туда, увидели весьма грустную картину. Книга о пользе тренировок была разорвана в клочья. А весёлая мордочка кучерявой болонки едва видна была в ворохе растерзанных ею бумаг. Талантливая ученица упоённо дочитывала последнюю страницу, водя чёрным носиком по замусоленным строчкам.

– Тяв, интересная книга. Пахнет невкусно, но какие смешные картинки... тяв...

– Каштанка, Каштанка, – с грустной разочарованностью произнёс брат.

Так Каштанка вернула себе безмятежное детство, а Сергей навсегда отказался от трудной профессии педагога.

ЗАБОТЛИВАЯ МАМАША

Однажды ехали мы всем семейством: я, муж, две дочки и сын, весело и непринуждённо болтая, по незнакомой загородной местности на стареньком, едва тарахтящем «москвиче». Ехали в гости к дальним деревенским родственникам, у которых не были ни разу. Вдруг за крутым поворотом путь преградила живая громада – грозная рогатая корова с чёрными пятнами. Она стояла, как вкопанная, поперёк дороги, развернувшись к нам боком, и громко трубила своё продолжительное «му-у», выпятив губы и высоко задирая голову к небу. Объехать её было невозможно, обочины крутые с обеих сторон. Что делать? На сколько минут мы здесь застряли? С места же такую глыбу не сдвинешь и кусочком печенья за собой не уведёшь. Расстроились мы, да и струхнули немножко, чего уж тут скрывать! Скотина-то рогатая! Мало ли что ей в голову взбредёт!

Коровина деревня виднелась недалеко серыми покосившимися крышами. А вокруг нас во всю ширь простирались невообразимые сибирские просторы, частично истоптанные, но, в основном, с великолепным массивом красивых полевых цветов и трав, пестрящих нескончаемым сказочным разноцветьем, все краски которого может передать только талантливый художник.

Корова ещё раз протрубила низкое победное «му-у» и, наконец-то, убедившись в полном отсутствии всяких угроз с нашей стороны, повернула голову назад и закивала ею, словно подавая сигнал кому-то невидимому... На проезжую часть выскочил телёнок с такими же, как у мамоч-

ки, великолепными расписными пятнами. Он с любопытством посмотрел на нас красивыми, навывкате, глазами, наклонил весёлую мордочку и помотал её вверх-вниз, словно говоря «спасибо» за то, что мы остановились и позволили ему спокойно перейти дорогу.

А корова нам «спасибо» не сказала. Даже не обернулась. Наоборот, во всей её важной удаляющейся походке с покачивающимся в такт хвостом читалось: «Разъездились тут!». Но её как маму можно понять. Это сколько же беспокойства: туда-сюда телёнка на деликатесные обеды водить. Хорошо, что машин в тех краях немного.

А мы с тех пор особенно внимательно по сельским дорогам ездим. А то выскочит кто-нибудь не такой предупредительный и воспитанный, беды не оберёшься.

ХОХЛАТЫЕ ГУЛЁНЫ

Баба Нина завела курочек. Приехали мы с дочкой в деревню с ними знакомиться. Не с пустыми руками идём, сорную траву из огорода сочными букетами тащим. Подлетели курочки, выбирают, что повкуснее. А одна красную пряжку на дочкиной туфельке стала клевать. Обклевала со всех сторон, по ноге на всякий случай постучала и пошла к остальным, недовольная. Пробовала дочка погладить её, да не понравилось той, дёрнулась из-под руки, подпрыгнула что есть мочи. Сами понимаете, не кошка, ей другая ласка нужна.

– А какая? – спросили мы у бабушки.

– А вы их в огород выпустите погулять, узнаете тогда.

После обеда пошли мы грядки полоть и курятник открыли. Обрадовались хохлушки, повыскакивали наперегонки, друг друга с ног сбивая. Так им на волю хочется! Сначала ни на шаг от нас не отходили, кудахтали что-то на своём. Благодарили, наверное. Петух рядом важный вышагивает. Тоже квохчет что-то по-своему.

Через некоторое время (каждый из нас своим делом занят) смотрим, а курочек-то рядом нет. Только что копошились на соседней грядке, салатные листья поклевывая, только что весело требушили сорняки да вокруг яблоньки прохаживались – и нет никого. Слышно кудахтанье где-то, далеко-далеко.

Собирали мы их потом целый час. Они из огорода в картофельное поле забрели и, как партизаны, среди молодой ботвы попрятались. А троих, самых хулиганистых да проворных, вообще у соседей нашли. Понаделали там дел! У бабы Вали только что посаженную грядку редьки всю перерыли. А как там червячков не искать, когда земля рыхлая! Пришлось нам с дочкой соседскую грядку в порядок приводить, боронить, да новыми семенами засеивать.

Сели мы вечером ужинать, жалуемся:

– Не ласка этим курицам нужна, а клетка надёжная.

Баба Нина только смеётся над нами:

– Что ж вы за хозяйшечки такие? Не можете живность около себя удержать. От хороших-то помощниц никто не разбегается!

И то верно, от бабы Нины эти кудлатые хохлушки ни на шаг. Они

хозяйку любимую обожают. Куда бы ни забрели, всегда домой возвращаются. Потому что кормить так вкусно, как она, их никто не будет. А она им и зерна отборного, и смеси из трав разнообразных, и скорлупку потолчёт. И хохлатки несутся исправно. Каждый день к столу горка свежих яиц. Их ещё домашними называют. Приезжайте в гости, угощайтесь. Бабе Нине не жалко. Ни у кого таких нет.

ВАЖНАЯ КУРИЦА

После прополки морковных грядок решила я курочкам свеженадёрганной мокрицы принести, пусть полакомятся, они её обожают. Что для огорода сорняк, для них благо. В природе пустого не бывает. Даже сорная трава свою цену имеет. Так вот, приближаясь к курятнику, слышу, как квохчет одна пронзительно громко: так, словно весь двор о важном событии оповещает. Что, думаю, такое? А это она нестись собралась. Стоит на одной лапке, вторую к брюшку подтянула, для нового шага приготовила, да, видно, решить не может, в какую сторону идти, то ли налево, то ли направо? Задача-то серьёзная. А по углам курятника действительно две коробки с сеном стоят. Родильное отделение, значит. И курочка величавая выглядывает, какое же ей гнездо выбрать. Мимо две хохлатки прошли, спокойно расселись по ящикам, а громкоголосая всё стоит и кудахчет дальше с не меньшим энтузиазмом.

Минут пять была я в курятнике: свежей травой всех угостила, зерна подсыпала, водички подлила, а важная на меня даже не посмотрела. Какая еда, когда она миру скоро яйцо подарит. И продолжает: «куд-куда, куд-куда?». Любопытно мне было, какой же ящик она выберет, но не дождалась я решения её важного, в дом пошла. В конце концов, какая разница, куд-куда?

Но курочкам нашим спасибо. Кормили они в то лето на славу. Вкуснее тех яиц домашних не было. Но и мы старались, траву их любимую, включая жгучую крапиву, рвали, гулять выпускали, чистили, убрали в курятнике. За всё благодарить надо. Добром за добро. А иначе как?

ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ

Чтобы спокойно, не опасаясь вечно подслушивающих мальчишек, можно было делиться друг с другом тайнами, мы с подружкой Валькой облюбовали в бабушкином заброшенном сарае сказочный уголок. Там витали ароматы целебных трав, которые, собранные в пучки, сушились, перевёрнутыми букетами глядя в пол. Сквозь маленькое слюдяное оконце едва пробивался слабый свет, прибавляя и без того жутковатой таинственности и делая секреты наши ещё более волнующими. Лучшего места и придумать было нельзя.

Часто притаскивали мы на наши «шепталки» постряпушки всякие со стола. А когда уходили, остатки в банку жестяную из-под конфет складывали. Прибегаю я как-то, Валушки нет ещё, банка поцарапанная на боку валяется, крышка в стороне, всюду крошки рассыпаны. Кто был

здесь? Решили мы с подружкой понаблюдать. Караулили долго, около часа сидели, никого не укараулили. Да и как укараулишь, не торчат же целый день в сарае. Но с того дня, прежде чем секретами делиться, сидели мы некоторое время не шелохнувшись, тесно прижавшись друг к другу, прислушиваясь и замирая. Иногда вдруг ни с того ни с сего испугаемся шороха случайного и с визгом из сарая. Ещё чуть-чуть – и потайное место наше раскроется, сами выдадим. Уж кому-кому, а мальчишкам всегда интересно, чего это девчонки с визгом из сарая вылетают?!

Дни проходили за днями, а нам так и не удалось узнать, кто же она, эта неуловимая лакомка? Незнакомка приходила, когда ей вздумается, да ещё и угощалась не всем, привередничала. Крышку на банке мы теперь завинчивали, а не просто закрывали, но таинственной гостью своей оставляли всегда что-нибудь вкусненькое. Однажды это был пухлый бабушкин пирожок с повидлом. Пончик по-нашему. Так вот, в тот день не успели мы с Валюшкой к тусклому оконцу пробраться, слышим, писк стоит невозможный, словно возмущается кто, на самых высоких нотах, мы такие и не слышали никогда. Тоненько-тоненько. Сердито-сердито. На цыпочках, вцепившись друг в дружку, пошли мы на голос, чтобы не спугнуть зверушку. Сквозь дырявую крышу обветшалого сарая падало немного света, и мы чётко увидели, как из тесной щели, прогрызенной в плотно сбитых досках обшарпанного пола, торчала острая мордочка мышки, которая никак не хотела расставаться с румяной добычей. В зубах её торчал бабушкин пирожок. Он был в три раза больше мышки и, несмотря на все её старания, никак не пролазил сквозь узкую щель. Так и лежал «тяжёлым грузом» поперёк досок. Мы представили даже, что мышка висит на нём, как на качельке или как в цирке искусный акробат, держащийся крепкими зубами за трапецию и показывающий при этом искусные трюки. Бедная... Постряпушки-то у нашей бабушки вкуснющие, пробовали, знаем! Как такое богатство на полпути к уютной норке бросить? Бедолага... Пропищит от возмущения арию оперную, схватит зубами острыми мякиш масляный и вниз его со всей силы мышиною тянет. Непослушный пирожок только прогибается посередине. Могла бы, сидя под доской, спокойно обедать, отгрызая понемногу лакомые кусочки, мы бы и не заметили ничего. Да, видать, пожадничала, не в силах с такой добычей расстаться. Она же нас не знает, вдруг отберём?! И то подумать, не каждый день в сараях пирожки валяются.

Мышка-гурманка нас тогда сильно позабавила. Решили мы секреты свои отложить. Они же не живые, есть не просят, подождут. Пусть мышка покушает спокойно. Через час заглянули: ни мышки, ни пирожка. Управилась, значит. Молодец.

Но гостью нашу бабушка больше не разрешила подкармливать. «Им, тонкохвостым, только дай волю, мигом всё заполонят!». А в потайное место мальчишки гамак повесили, столик соорудили и чурки берёзовые вместо стульев поставили. Теперь секреты у нас общие. А то мало ли какой монстр из старых досок вылезет. С мальчишками понадёжнее, да и поспокойнее будет.

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

Гуляли мы, три весёлые и неразлучные подружки, вечером по городу и забрели в незнакомый двор. Сели на скамеечку, аккуратно выкрашенную, с художественной резьбой по широкой спинке, какую любят делать местные мастера, придавая необъяснимый уют родному жилищу. Дворик был старый, ещё прошлого века, и в глубине его тянулись вереницей пять-шесть сараев, прижатые друг к другу так тесно, что непонятно было, где заканчивается один и начинается другой. Хохотали мы, веселились долго. А местные старушки, наблюдая за нами из открытых окон, обрамлённых расписными ставнями, не возмущались, как это обычно бывает, а улыбались в ответ. Гостеприимным был двор, приветливым. Мы не сразу обратили внимание на необычные звуки, сопровождающие наш непрерывный смех. Похожи они были на недовольное рычание. Не собака ли? Нет, не может быть. Здесь пугать нас не стали бы, это чувствовалось и по светлоситцевым занавесочкам окон, и по маленькой опрятной клумбочке у покосившегося крыльца.

Что такое? В наступившей тишине рычание прозвучало важно и грозно. Чей покой мы нарушаем? Кто-то в сарае скрёт лапами дверь.

– Да это медведь!, – страшным шёпотом произнесла Алинка. – Я этот голос знаю. У нас в деревне у дяди Паши медвежонок одно время жил, пока в зоопарк не отвезли.

Откуда здесь медведь, зачем? Но думать было некогда! Ракетой сорвало нас с места и помчалось в неизвестном направлении. Однако недалеко. Страх побеждён был любопытством. Мы вернулись. В конце концов, нам ведь ничего не грозит?!

Оказалось, это приезжий циркач-дрессировщик попросился на постоя к местной бабушке. Гостиниц-то в нашем маленьком городке отродясь не было, вот и устраивался каждый как мог. Всю труппу цирка в общежитии заводском поселили, а медведя куда девать? Вот хозяин с подопечным своим на окраине города и разместились. В цирк они пешком ходили на радость и потеху всему району. Мы с девочками часто сопровождали их на правах смелых знакомых. И с бабой Грушей, у которой гости необычные квартировали, крепко подружились. В гости к лохматому мишке приходили всегда с банками сгущенного молока. А баба Груша чаем нас поила со сладкими ватрушками по древнему рецепту своей мамы.

А мишка ел так: обхватывал банку двумя лапами, запрокидывал голову вверх и выпивал быстро, а если не хватало ему, с любопытством рассматривал пустую посудину, вертел её беспощадно в могучих лапах с острыми загнутыми когтями, потом со всей силы тряс хрупкую жестянку, время от времени пытаясь заглянуть внутрь тёмных стальных сот, и наконец возмущенно рычал и кидал помятую, бесполезную железку на землю. Иногда нам казалось, что мишаня острым когтем, словно открывалкой, легко сорвёт крышку, из-под которой только что послушным потоком лилось молоко, но хитрый зверюга лишь мотал головой и взволнованно пританцовывал в ожидании очередной банки. Сколько мы лакомств ему перетаскали, можно было всю улицу накормить. Но ничего, ради такого знакомства не жалко.

А медведь, наверное, всю жизнь наш город вспоминал и его глупых жителей, которые сгущенку медовую не едят, а в карманах носят.

ПРОВОРНЫЕ ЛЯГУШКИ

В начале лета соорудили мы на садовом участке небольшой прудик-бассейн. Вырыли яму, положили плёнку плотную вниз, камнями-окатышами обложили, налили воды. В общем, сделали всё, как надо. Осталось только погоды жаркой дожждаться, чтобы вода хорошенько на солнце прогрелась, и можно было купаться, наслаждаясь яркими летними днями. На следующий же день облюбовали наш прудик две пузатые лягушки. Опустили мы для них на воду крепкое сиденье от старого детского стульчика, и зелёные пляжницы, ловко взбираясь на расписную досточку, часто загорали, подставляя изумрудные спинки тёплому солнышку. Они, как заправские дачницы, то часами сидели на импровизированном шезлонге, то плавали, ловко отталкиваясь лапками. Нас они, правда, боялись и близко к себе не подпускали. Да и нам, честно говоря, не очень-то хотелось в холодную воду к лягушкам лезть. Вот станет жарко, тогда уж извините. Всё-таки бассейн для себя строили.

Когда же мы кошку на дачу привезли, бедные лягушки так шустро в разные стороны повывскакивали, что у Мурашки чуть косоглазие не случилось. Она до этого зелёных и пучеглазых мышек не видела никогда. Минут двадцать кружила пушистая охотница по бортику бассейна, заглядывая то и дело вниз. И в воду по скользким ступенькам-выступам спуститься страшно, и любопытство разбирает: что за бесхвостая порода так ловко вверх и вбок скачет? Вдруг ещё кто выскочит!

Но потом любознательную кошку закрутили стрекозы да кузнечики и, бегая за ними, она забыла про купающихся лягушек. А квакающие красавицы осенью снова к нам приходили. Скакали по грядкам, пока мы морковь убирали. Или не они это были, не знаю. Лягушки ведь все на одно лицо.

ПРОНЫРЛИВЫЙ ВОРОБЕЙ

Повадился к нашим курочкам воробушек зёрна клевать. На улице летнее раздолье, корма везде полно. Даже в городе все птички сытые. Но этот хитрец влетит с размаху в курятник, на ходу схватит из кормушки первое, что попадёт, и улепётывать побыстрее. Гурман какой выискался. Петух на него сначала даже не реагировал. Не успевал, наверное. Так стремительно воробей вылетал из огороженного сеткой-рабицей сарайчика. Летом дверь всегда открыта, и кормушка как раз напротив входа стоит, на свету.

Потом, смотрю, воробушек и присаживаться начал и выбирать что повкуснее. Петух пробовал было возмущаться, каждый раз норовя тукнуть маленького воришку по макушке. Но тот до того был вёрткий, что Петя постоянно промахивался. Постепенно к маленькому воришке все привыкли, и пичуга малая стала кормиться со всеми вместе, ничего не опасаясь. Курицы вокруг чашки стоят, а воробей скачет по приготов-

ленной смеси, скорлупки не берёт. Сам как глазастая картофелинка, которую только что из лунки выкопали, а землю отряхнуть забыли. А перемажется если в смеси кормовой, становится на перезрелый пупырчатый огурец похожим. Так и хочется хохлаткам его поскорее клонуть, на вкус попробовать. Но поскольку огурчик всё время скачет, достать его нелегко.

Иной раз прихожу с чашкой, доверху наполненной куриными сладостями, а воробьишка уже сидит и ждёт. Ну не наглец ли? А сегодня вообще с подругой прилетел. Скоро у нас не курятник, а воробьятник свой будет!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

Когда в городской квартире я перебирала ведро смородины, со дна его, с широкого, пахнущего лесом и свежестью лета листа, выползла толстая зелёная гусеница. Она с жалостью поглядела на тазик ягоды, который был от неё далеко, и в нерешительности замерла. Потом приподнялась повыше и, как солдатик по приказу, встав по стойке смирно, в ужасе остолбенела. Вообще-то в таких случаях умные гусеницы должны спастись, уползая со всех ног куда глаза глядят...

Какой хаос увидели глаза гусеницы? Я рассмеялась неожиданной, но не совсем случайной гостье и сложила в пустое ведро остальной листовой мусор от переборки. Добавила туда и несколько ягод. Завтра всё равно на дачу ехать, верну беглянку домой. Для меня это дело доброе ничего не стоит, а для неё цена слишком высока...

УМНЫЙ БУТУЗ

Летом я с семилетним сыном снимала дачу в одной из ближайших деревень. Напротив нас, в маленьком и уютном домике с резными ставнями, жил старик. Некогда был он заядлым охотником. И теперь каждый день вместо полуденного сна гулял два-три часа по лесу в любую погоду. Сопровождал его всегда рыжий, жизнерадостный, лохматый пёс по кличке Бутуз. Глядя на них, непонятно было, кто более всего ждал и радовался лесной прогулке: Бутуз, любящий гоняться по двору за всеми, или сдержанный сухонький старичок, бравший с собой неизменно мастерски изрезанную замысловатыми узорами палку.

Сосед деда Антона, так звали старика, строил новый дом. Каждый день на небольшой тележке прикатывал он скромному бобылю несколько деревянных обрезков для растопки. Зимой, как известно, печь покусать любит. А в сильные морозы каждая дощечка на счету. В деревне люди часто помогают друг другу совершенно бескорыстно. Дед Антон перед прогулкой обязательно заносил сваленные у дороги «дровики», так он их ласково называл, в крытый двор. И только после этого они с Бутузом отправлялись в лес. Пока старик перекладывал доски во двор, пёс непрерывно крутился рядом, бегая за хозяином взад-вперёд и путаясь у него под ногами. Мне от этого он казался очень бестолковым.

В один из дней дед Антон задержался в огороде. Работы у крестьянина всегда много. Бутуз долго скакал вокруг сваленных досок и, ожидая прогулки, гавкал в нетерпении. Видимо, в его собачьих мозгах крутилась сложная схема причинно-следственных связей, потому что в какой-то момент пёс схватил зубами самый крайний деревянный огрызок и попятился с ним к дому. Доска неуклюже поползла по траве, нервно и мелко подпрыгивая.

Я позвала сына. Мы стали наблюдать за собакой вместе. Когда Бутуз, ловко пятясь задом, запнулся на пороге, но не сдаваясь и не разжимая зубов, втащил тяжёлый груз в проём открытой двери, мой сердобольный и любопытный Алёшка побежал к хвостатому работяге. Вдвоём они быстро справились с работой. Довольная собака, радостно взвизгивая, резво крутилась подле моего сына, сопровождая каждое его действие высокими подскоками в стороны и вверх, явно наслаждаясь новой, затеянной ею игрой.

Эта весёлая история стала началом крепкой дружбы трёх, не похожих друг на друга товарищей: старика, мальчика и собаки. Особенно объединяла совместная радость ежедневных лесных прогулок. Каждый раз они возвращались с полными корзинами ягод и грибов. Несколько раз и меня с собой брали. Там, в лесу, я окончательно убедилась, что была несправедлива к Бутузу в начале нашего знакомства. Никакой он не бестолковый, а самый настоящий умный и добрый пёс. Недаром у нас на Руси поговорка живёт: «С кем поведёшься, от того и наберёшься». Её, конечно, люди придумали и о людях. Но к собакам её тоже применить можно. Особенно к тем, у которых хозяева умные и трудолюбивые сами.

ЛЕСНОЙ ПОДАРОК

В тот день мы с отцом долго ходили по лесу с пустыми корзинками и никак не могли набрать грибов. А ведь в тех местах их всегда было достаточно. Свернёшь с основной дороги на известную только нам тропинку, придёшь на заветное место, нарежешь, сколько нужно, и домой. Грибы-то ещё и переработки требуют. Потому брать их надобно по силам своим, ровно столько, сколько приготовить сумеешь. Возни с ними, я вам скажу. И перебрать, и почистить, и помыть. А там... уж каждому грибу своё: какой солить, какой жарить, какой мариновать, какой сушить. В общем, гриб большого внимания требует.

Что в тот день случилось, не знаем. Уж мы под каждый холмик из листьев сухих заглядываем. Видим, где бугорок образовался, где покров травяной возвышается чуть, поклонимся ему, приподнимем аккуратно, чтобы не нарушить лесное покрывало, а там – насмешка: шишка сосновая или корешок какой. Опустить накидку лесную на место, дальше искать идёшь. Знаем мы, что лес бережного отношения к себе требует. Иначе не поможет. Если ты к нему с добром, он ещё большим добром отвечает. Что мы в тот раз сделали не так, не знаем, но не откликается лес на просьбу нашу. Мало грибов. Случайно наступишь, услышишь вдруг тонкий характерный хруст, а вот он, – под листочком прячется груздь благородный: белый или чёрный, неважно. Или наклонишься за сыроежкой

или козлёнком, за неимением лучшего, а горделивый шалунишка рядом сидит, шляпку модную приподнял, выглядывает: найдут – не найдут, в прятки с нами играет. Словно заколдовал кто место. Помучились мы, помучились, решили дальше удачу искать, пошли новые места изведывать.

Через некоторое время местность неровная началась, горки небольшие, но высокие, крутые, с таких хорошо зимой ребятишкам на санках скатываться. Поднялись на одну такую, а там... понатыкано разноцветья: груздь чёрный во фраке, благородный; груздь белый в бархатной юбочке; рыжик весёлый солнышком светится и радуется за всех; волнушка-скромняшка на его фоне совсем бледная стоит; сыроежек не счесть; семейство козлят хороводом пышным так и манит ножичком вокруг него сплясать. Чуть повыше моховики с маслятами спор ведут, кто лучше. Так на одной горке корзинки свои и набрали. В копилку кладовых мест ещё секрет добавили. Не сразу земля их открывает. Не всем довериться, видно, может. Поняли мы тогда, почему лес закрылся. Он нам новые места хотел показать! Доверяет, значит. Спасибо ему за это!

ЯБЛОНЬКА

В середине августа ветер обломил на старой садовой яблоньке две большие ветки. Может, и не ветер это был вовсе, а мы недоглядели, только не выдержала яблоня собственной тяжести, надломилась. Поутру с грустью смотрели мы на валяющиеся зелёные обрубыши с недозревшими яблочками. Некоторые плоды всё-таки успели порадоваться щедрому солнышку, начали наливаться спелостью животворящего сока и сквозь грубоватую их, шероховатую кожуру проглядывал едва проступающий тонким румянцем цвет зрелости. Эти веточки я срезала целиком и занесла в дом. Поставила огромным, необычным букетом в тяжёлое ведро с водой и залюбовалась. До того красиво! Таких букетов у нас еще не было. Вместо цветов – плоды.

Шли дни. К моему удивлению, листочки на веточках не вяли, а только становились суше, словно оторванные от матери, они не могли больше пить. Между тем резко похолодало. Уличные яблочки как были, так и оставались зелёными. А домашние (так мы их стали называть) вдруг повеселели. Щечки их с каждым днём становились всё розовее.

Между тем яблонька сбросила ещё одну ветку. Видимо, ей стало совсем неважно. Только к середине сентября созрели все её плоды. Те, что мы не сняли, треснули от спелости, но на землю не падали. Их раненые бока с рыхлыми трещинками грустно темнели на фоне редкой листвы.

Фруктовый букет перенесла я на окно, напротив которого росла яблонька. И теперь, зеркально отражаясь, глядели друг на друга сквозь непроницаемое стекло наливные веточки. Домашние яблочки гостили долго, радуясь неизменному комнатному лету. А потом и они начали сохнуть, стягиваясь округлыми боками к середине. Сморщенные, они были такими трогательными, что мы не могли их рвать. Так и стояли до зимних холодов. Потом почернели резко, испугались, видно, что мороз окна разрисует, и не увидят они больше матери-яблоньки и сестрёнок своих.

Вот такой грустный рассказ у меня получился. А почему, и сама не

знаю. На следующий год новые плоды нарастут и созреют. А яблоньке мы, конечно, все ранки залечили, замазали специальной садовой смолой, чтобы не болела. И следим за ней и помогаем. Подставляем подпорки специальные, лишние ветки обрезаем. А то ей и так тяжело. Старая уже, а всё плодоносит.

ДРУЖНОЕ СЕМЕЙСТВО

Когда наша кошка Мурашка загуляла и впервые не пришла ночевать, мы с детьми никак не могли её дождаться. А потом успокоились. Кошка есть кошка, погуляет и назад придёт. Смущало отчасти то, что лето шло на убыль, и одна из холодных ночей уже испугала кабачки, тонкие усики которых закрутились к утру чёрными спиральками вокруг погрустневших стебельков. Но у Мурашки-то шёрстка тёплая, не замёрзнет.

В тот год завели мы пчёл. Улей поставили недалеко от виргинской черёмухи. И теперь тяжёлые ветви со спелой красно-вишнёвой ягодой висели над деревянным домиком, красиво обрамляя его. Улей, раскрашенный весёлой оранжевой краской, сладко пах мёдом. Скоро мы соберём его в последний раз. Пчёлки отправятся спать на зиму в холодный сарайчик. А пока все обходили улей стороной, потому что самым любопытным доказано было сразу, кто тут главный. Не раз покусанные, осторожничали мы не напрасно. Крылатые сторожа оказались очень ответственными и никого из бестолковых людей близко к жилищу своему не подпускали.

Однажды, разбуженная в ранний час нашим громкоголосым петухом, я охвачена была неодолимым желанием выйти поскорее на улицу. Мурашки к тому времени не было уже дней пять. Пчёлы ещё не летали, только выглядывали в узкую прорезь улья, служившую им выходом в цветочный мир. Повсюду: на кустах, на деревьях, на скамеечке у открытой двери, на покатых перилах крыльца – холодными блёстками отражалась роса. Ещё недавно сияющая изумрудной чистотой зелень потускнела, а вслед за этим и неумолимое время начало наносить грубые мазки, затушёвывая летнюю красочную сочность, словно готовя холст земли для новой работы.

Всё для меня в наступающем дне было необычно. В Сибири лето настолько коротко, что каждый час его дорог. Поутру особенно остро чувствуются козни приближающейся осени, её холодные коготки жёстко царапают кожу. А прозрачная накидка рассветного тумана заставляет ёжиться и вглядываться во временную даль. Так и до снега недалеко. Господи, что это? Не изморозь ли ранняя на чёрной, рубероидной крыше улья? Да нет, иней лежал бы всюду и в первую очередь на земле. Что там такое? Я подошла поближе. Да это же Мурашка! Вернулась, гулёна! Наша великолепная кошечка с серебристой, отливающей нежной голубизной шёрсткой, в утреннем освежающем свете казалась серой и грязной. Ничего и никого не опасаясь, она мирно спала, свернувшись лёгким невесомым клубочком на пчелиной, пышущей жаром жизни печи. Ничего себе, нашла тёплое местечко! Греется...

Я было кинулась к ней, да вовремя остановилась. И в трёх шагах от улья слышно было грозное гудение могучей семьи. Сейчас печка откроет своё могучее жерло и огненное пламя в сотни пчелиных жал взмоет вверх. Бедная Мурашка! Что с ней будет?

Тут, как назло, Мурашка сладко потянулась, и мягкая незащищенная лапка её свесилась над малюсеньким круглым окошком, расположенным как раз над входом в улей... Не дожидаясь того, что будет, и не осознавая вполне возможной опасности для себя, кинулась я к любимице что есть мочи, схватила её спящую в охапку и помчалась к дому.

– Ай-ай-ай, – завопила я, невольно сгибаясь набок. Догнала-таки пчёлка. Укусила! И только дома поняла, что это бедная Мурашка с перепугу больно вцепилась мне в бок. Вот и спасай после этого неблагоприятную. Но в тот день я чувствовала себя настоящей героиней! Или, может быть, просто радовалась тому, что всё непоседливое семейство моё наконец-то в сборе.

СИЛА ЖИЗНИ

Человек всё больше отвоёвывает у леса пространства, всё дальше продвигается вглубь. Всё меньше остаётся заповедных родимых мест, которые знаешь и любишь с детства. Всё чаще неожиданно натыкаешься на разорённое техникой живое тело Земли, которая, как может, залечивает свои раны.

Была у меня в лесу полянка знакомая, богатства которой не пересть. Там вместе с маслятами и груздями уживалась даже брусника. Всегда мы угощались ею по яголке, потому что поспевает она не сразу. Я знала, что и эту полянку постигла печальная участь. Она была слишком близко расположена к новому лесотехническому хозяйству. Будучи рядом, решила-таки я заглянуть к ней в гости, хотя долго не хотела этого делать, чтобы не расстраиваться.

Полянка действительно была разорена. От трёх невысоких деревьев её остались пеньки, всюду валялись сучья и другой мелкий древесный мусор, покореженные банки, ветошь, оставленные рабочими. Но в той части поляны, которая соприкасалась с кромкой прореженного леса, меня ждал сюрприз. Вокруг старого, обветшалого пня, который один, казалось, сохранил первозданный дремучий вид, собрались все полянские жители.

Близко-близко, но так, чтобы не мешать друг другу радоваться вольнолюбивому солнышку, отдыхали маслята. Под сломанной, охваченной паутиной веткой, я обнаружила дорожку молочных груздей. Но самое удивительное – брусника. Она росла не только вокруг обветшалого, почти полностью покрытого мхом, пня, но и забралась на самую его макушку. Корона красных ягод гордо возвышалась над разорённой местностью. Снять эти окровавленные ягодки, съесть их не хотелось. Словно они стали настоящими символами непобедимости природы.

Это и называется силой жизни. И в силе этой содержится, быть может, не столько лесное, сколько наше спасение.

Владимир Ильиных

Два рассказа

ПРОЩАЛИСЬ ДВА БРАТА

Нравственность есть правда.

В.М. Шукшин

Письмо от Павла соседская Любка принесла к обеду. Как раз шла к себе домой, чтобы корову подоить. Благо обедешное коровье стойло рядом с Любкиной усадьбой на речном бходе разлеглось. Почтальонша Нюрка хорошо об этом знает. Самой-то неохота аж из центра по песку шлендать к Венке на край села. Вот и поручила Любке – школьной своей подружке – весточку отнести. Строить дом Любка со своим Егором задумала аккуратно напротив Венки. Место хорошее на берегу реки нашли. Выходит, соседи ближайшиные будут. А это все равно, что люди родные.

Венка обрадовался четырехугольнику – давно такой в руках не держал. От сестры маминой вроде из Шимолина прошлой зимой приходило. Ну да и на том конец. А тут почерк давно известный, но подзабытый напроць. Только по подписи понял, что от брата старшего – Павла, с самого Сахалина письмо. Этак лет уже десять брат ничего не писал.

Надумал Павел в отпуске на родине побывать, благо до пенсии всего год остался. Что да как, пишет, жива ли мама родная да дочка Таня от неудачного брака, второго или третьего, даже не упомнит. Дочка ведь у него, у Венки живет? О себе сообщает, что здесь тоже был женат. В следниках два сына имеются, оба Павлы, потому как от разных жен.

Вот и гостинцев для встречи на Алтае приготовил: балычок из красной рыбы, корюшку, что очень нашим огурцом пахнет. Ну да еще там чего, по мелочи. Очень по пресноводной рыбе соскучился. Дружок закадычный, Санька, так прямо и говорит: с материка без чемодана карасей или чебаков не приезжай. Осталась ли там эта живность или нет?

Венка маму Шуру с огорода позвал. Женщина в междурядьях среди всякой мелочи огородной на коленях корячилась – сор прорывала. А нагнуться уже не могла – спина перетруженная тормозит. Таньку, внучку ейную, как назло, нынче летом в Яровое на парикмахера учиться от быткомбината послали. Что ж возражать то? «По-чистому» трудиться будет. А там, глядишь, и на закройщицу выучится. Мечту сполнит. Баба Шура все бумаги нужные для этого подписала. Вроде и Венка в доме мужик, а – инвалид. Попивает к тому же, горе мое горькое.

Письмо Павла – старшего сына, Венкой на два раза прочтенное, не сразу поняла. «Он что, за дочкой, что ли сюда собрался?» – спросила, шамкая беззубым ртом. – «Порыбалить хочет, по карасям нашим соскучился», – неопределенно глядя вдаль, ответил Венка. Он вспомнил, как десять лет назад они со старшим братом гулеванили на берегу местной речки, гостеприимно угощая всех подходящих мужиков розовым

портвейном, два ящика которого, Пашка, как северянин, выставил на зеленую травку.

Гулялось тогда привольно, хорошо, думалось только о приятном. Люди все добрыми были, похлопывали их с братом по плечам: «Вот так и надо, по-семейному». Сенька, внук деда Донских, даже карасей жареных принес на газетке. Эх, вернуть бы то время, да не вернешь. Под шумок как-то само собой решилось, что Танька, тогда еще совсем маленькая девчонка, не с Павлом уедет, а здесь, у брата младшего, вместе с матерью останется. Ишь вон они еще крепкие какие!

Сегодня Венка – инвалид, половины легкого нет, что по пьяни, простудив, еще на целине потерял. Работал он тогда лихо на своем ГАЗ-51! Ох и были времена, были и подружки, что сейчас вспоминать? Кому нужен? Матери да вот еще братовой дочке, ставшей родной. Павел ни разу ведь не написал после того, десятилетней давности, свидания. Посылал, правда, два раза денежные переводы. Лежат где-то в горнице под божницей квитанции.

Венка нащупал под подушкой «зачащенный» от матери трояк и позвал подоившую корову соседку Любку. «Радость у нас – брат приедет, принеси красненькую». «Я ж тебе вчера приносила», – огрызнулась соседка. «А ты еще принеси. Тебе стакан налью», – пообещал Венка. Любка, оглянувшись по сторонам, спрятала трояк. Она любила, таась от мужа, подбодрить себя хмельным. Уж в такой семье выросла! Да и строились молодые соседи второй год. Поэтому фляга браги всегда в подполе стояла на этот случай.

Баба Шура тоже сходила к дальней на улице соседке груздочков попросить, яичек куриных с десятков, а может, и петуха в долг. Вон у нее сколько молоденьких кукаречут! Старого жаль, конечно, просить. Даже не стоит и думать. А было время, уток домашних пекинских сколько той переносила в гостинец, пока соседка детей своих в городе учила. Венке под трудодни много на целине зерна давали. Да и по груздочкам баба Шура мастерством славилась. В любом застолье ее продукту рады. Но это ж когда было! Быльем поросло. Стеснялась баба Шура просить.

Вечером захмеленный Венка пошел к Егору переговоры переговаривать. Жили они между собой не то чтобы дружно, а Венка вроде как сторожем на стройке у Егора был. За уличными пареньками догляд нужен. Глядишь, доску «пятидесятку» под трамплин на берег речки утащат, чтобы подальше унырнуть. А там и приспособят, засунув под зилловское колесо. Разве не бывало? Не сосчитать сколь уж раз! Оттого Егор иногда ставил Венке стакан браги за охрану имущества. Но сегодня речь должна пойти о другом.

Венка перелил в пустой четок остатки красненького, хлопнул им об стол, войдя вечером на кухню к Егору. Так оно вроде солидней выходило. Начал серьезный разговор:

– Егор! У тебя бредень есть?

– Ну есть, а что? – крикнув для понта после выпитого, ответил сосед.

– Дык, Пашка, брат, в гости едет. Порыбалить бы?

– Ну и порыбалим, а что? – ответил сговорчивый Егор. «Он никак,

к бражке уже приложился?» – смекнул Венка. Подфартило с соседом на переговорах. Ушел Венка домой хмельной, но уверенный в мероприятии. Стали всем гамузом Пашку ждать.

Через месяц появился на дворе старшой. С мамой седенькой, с Венкой, младшим братом, обнялись, всплакнули, как положено. Но не тот стал старшой, далеко не тот. Огрузнел, осадку дал в животе, переваливается на ногах, как гусь лапчатый. А плащишко кожаный тот же на нем одет, в котором десять лет назад приезжал. Таньке, дочке, кинувшейся, было, на шею, куклу в подарок подарил. Покраснела пятнадцатилетняя девица, к самостоятельности приученная. С куклой со двора в дом быстро убежала. Это чтобы соседские девчонки не видели. Долго не выходила, неизвестно почему.

Бабушке – матери своей значит – Шуре – совок пластмассовый подарил, чтоб сподручней было мусор у припечка подбирать. Венке – известно, большую бутылку портвейна посреди, не хуже чем у других людей собранного для встречи, стола поставил. Горку рыбы красной да корюшки сахалинской на тарелку демонстративно навалом выложил. Огурцами свежими будто запахло, правда. Показалось Венке, что он только что в свой огородчик за ними сходил. Да сейчас-то уж давно малосольные пошли!

Крякнул отчего-то сосед Егор, принимая на грудь граненый стакан портвешка. Он да Люба евонная были у Венки в гостях по поводу приезда старшего брата. Сразу же к делу с Павлом перешли. Броды старые на речке, заливы пересохшие вспоминали, где можно было еще карася «пошерстить». Выходило, что мало таких мест осталось. Но еще можно побаловаться, если Павел «обеспечит» сугрев. «Это вы даже не сомневайтесь», – заверил всех Павел под вечер приятного дня.

Кротко любовалась братьями мама Шура. Радовалась: когда еще вот так, чтоб вместе сидели, удастся на сыночков посмотреть. А Танька волчком с края скамейки «зырит» на отца. Потом как заплачет, и в кусты приречные убежала, на заветные свои места. Где ее там ловить? Не хорошо немножко под конец получилось. Ну, да ладно, решили на сегодня посиделки кончать, чтобы завтра пораньше на рыбалку выйти.

Люба, когда утром корову в стадо проводила, мужиков растолкала. «Ну что, рыбачки, чай проспались? Аль забыли, что решали вчерась рыбки поудить?» «Лезь в подпол покудова», – Егор Любе приказал. Это, значит, гущи немного зачерпнуть. Сам не спеша мотоцикл Иж-Юк, свой помощник в хозяйстве, на улицу выводит. Пашка с авоськой в коляску громоздится. Привезли через час из центра полную авоську «огнетушителей» – бутылок вина красного по 0,8 литра объемом. Чтобы баба Шура руками не всплеснула от справедливого негодования, в родничок за Егоровым домом опустили.

Красота! У мужиков впереди целый день благодати! Жарким выдался он в конце июля. Егор с Павлом основными в заброд пошли – чтобы крылья невода тянуть. Любашу мотню заносить поставили, Венка – чтобы ведро с рыбой таскал. Таньку с собой не взяли. Не для детей эти игры взрослых с выпивкой. Восемь бутылочек «для сугреву» на рыбалке в Егоров мотоцикл спрятали, тряпками прикрыв. Так, степенно, к недалекой речке и потарахтели.

А речка Курла – невелика речонка. В конце лета ее и воробьи вброд, случалось, переходили. Но есть у береговых обрывов глубокие омуты, есть! Правда, там купается отсидевший день в душных кабинетах, кветлый от жары начальственный сельский люд. Пришлось объезжать и обходить неудобьями приметные места. Рыба тоже шума не любит! На то и упирали рыбаки.

За селом, в тине заводей, стали попадаться караси. Но это были, в основном, «пятакчи»! К тому же невод приходилось выворачивать и с трудом выволоченные на берег водоросли руками перебирать. Очень кстати пришились «огнетушители», которые энергии и бодрости добавляли. К обеду Люба ушла корову доить, а мужикам повезло на болотце, о котором и не подумаешь, что оно такое удачливое.

Забрели они в старицу, отрезанную сушей от реки, и почти ведро карасей, щучек да чебачков в вытащенной и тщательно осмотренной тине обнаружили. То-то радости сколько! Удачу «обмыли» хорошо, основательно. Место в «люльке», опустевшей от «огнетушителей», Венкой с ведром карасей заняли. Да и бредень, небрежно брошенный на заводящие крылья, накрепко мужику держать между ног поручили. Короче, редко кто на улице не видел возвращения «трех богатырей» с добычей домой.

Наутро Павел чистил карасей на большой некрашеной скамейке, не доверив этого дела никому. У нас как обычно чистят? Чешую с рыбы соскребут, пузо добыче вскроют, чик ножиком в бок! – внутренности отбросят, и пожалуйста – на сковородку. Павел священнодействовал, лишь позволив себе «зарядиться» портвешком слегка. Тут, видать, у него свой расчет был. Мужики с интересом следили за его действиями.

Павел ещё с вечера соли две пачки в ведро с рыбой натолкал, да придавил булыжником накрепко. Разделывал тушки аккуратно. Не дай Бог рыбий пузырь во внутренностях остался – все вычищал. Да и чешуинку каждую с карася, как с драгоценного доспеха, снимал. Развесил посреди двора веревку бельевую. Возьмет очищенную рыбку, сунет внутрь спичку серную без головки да для надежности рыбку прищепкой к веревке и прикрепит.

Дивились Венка с Егором, сидя на ветерке, да «поправляя» головы. А ларчик просто открывался: Пашка через два дня назад улетал. Ждал его друган Сашка на Сахалине с невероятной силой. Немного удивились и обиделись мужики. У нас, говорят, прежде чем рыбу вялить, нужно её несколько дней в растворе-култуке подержать. Иначе мушиный червяк съест. Тормозили расставание, выходит, предложенной технологией. Вроде как Пашку намеревались подольше задержать.

Да оно бы, и правда, лучше вышло. Потому как узнали по дошедшей случайно весточке соседи, что все дело спешное сахалинского брата напрасным получилось. Сгнила новаторски почищенная рыба в чемодане, когда Павел пятеро суток в Хабаровске самолетный рейс при тридцатиградусной жаре ожидал. Пришлось нанимать таксиста и везти, недобро чертыхаясь, приготовленное добро вместе с чемоданом на городскую свалку. Читать об этом в Венкиной семье через год некому было. Танька на Яровое замуж «завихрилась», похоронив родню.

Сегодня же добились, что мама Шура марлю последнюю в доме изо-

рвала, чтобы хоть как-то затраченный труд сохранить, карасей ею укутала. Подсохла по новому способу на ясном солнышке рыбешка быстро. На третий день Пашка изловленным и приготовленным по его методу карасем привезенный с собой чемоданчик-балетку, набил. Словно кто его подуживал: в местный аэропорт, что на краю села расположен, сбежал, билет на Сахалин выправил.

Времени мало братьям осталось за жизнь поговорить. Будто две шестеренки стершиеся в моторе зацепились, как бы случайно посередь двора, заскрежетали. У Венки резон, что мать стара. Видать, остатние деньки доживает. Сам он тоже на нищенскую пенсию не очень разгонится, а Танюху самое время «поднимать» надо. Взял бы Пашка ее к себе? Итак, считай, ребенком малым у них оставил. Сколько принять пришлось мук на себя... Вон девка какая красивая да рослая вымахала.

Хоть и говорил младший брат почтительно, глядя как бы в сторону, но выходило, что обращался к старшему. Чувствовалось, «до ручки» Венка дошел. Желваки на худых щеках играют. Стоят посреди двора, ни туда, ни сюда. Хоть бы присели, что ли. Мама Шура, уцепившись руками в проем двери старенького домишка, переводит взгляд с одного на другого. Слышит она плохо, но, видать, читает по губам. Глаза блестят, направленные на Павла. Танька вообще убежала в дальнюю комнату и притихла как мышь.

Егор, сосед, отчего-то протрезвел, сидя на лавке, сам – лишь бессловесный участник разговора. То есть он, конечно, мог бы добавить кое-что к тому, что говорил Венка. Но не считал нужным. Они же братья – разберутся. Однако у Павла было свое мнение на этот счет. Мысль, далекая от находящихся рядом с ним мужиков, один из которых приходился ему родным братом (Павел помнил это по войне, по детству), безотчетно владела им.

Вот сейчас он, Павел, уедет от них и забудет об этой встрече. Кто знает, может, навсегда. Там у него свой мир, родная автобаза. С коллегами накручено-наверчено по сахалинским дорогам не одна тыща километров. И в пропасть немереную с трассы слетали, и в бураны недельные в распадках сидели. Всё выдюжили, всё! Нет важнее этого братства! Рыбешек подсолненных с Большой земли Пашка привезет – вообще кум королю будет! Грела эта мысль, заставляла держаться с недавними здешними компаньонами уверенно, несколько свысока. Деревня!

Ничего не ответил Пашка на риторический вопрос брата. Подошел, молча обнял мать, уже одетый. Не выдержала Танька, смешавшись в общей куче при прощании. Взревела белугой. Что-то, однако, дернуло Павла внутри, под грудной клеткой, осадило непривычной болью. Какая-то заноза будто! Но быстро и отпустило. Эх, в последний раз вот так вот видимся! Ну, что ж, в последний так в последний! Быстро, подхватив чемодан, заспешил на аэродром со двора, как бы смахнув с лица непрошенные слезы.

Получилось прощание похожим на репетицию прощания. Любка с Егором слегка всплеснули руками вслед Павлу. Кому, как не им, заботиться о брошенных соседях оставалось. Егор пошел за Павлом на самую околицу. По-братски полуобнял: «Ну, а если что, тебя вызывать?»

«Лучше телеграмму дай, – ответил Павел. – С деньгами помогу». – «Поянл», – сказал Егор и убрал от затылка Павла зудящую, перевитую узлами тяжелых жил правую руку. Так хотелось ее сжать на дебелий и рыхлой вые этого незнакомого проезжего мужика!

Вернулся Егор скоро, когда ни Венка, ни мама Шура, ни Танька да и сама Любашка все еще не ушли со двора – подъедали вкусности со стола: к чему ж добру пропадать. Егор, как последний, видевший Павла, уселся в центре. Стакан портвейна выпил не спеша, как бы имея за труды законное право. Все молчали, глядя на этого крупного и надежного мужчину, соседа.

«Сказал, что через год вернется, построит новый дом. И чтобы никто из вас не сомневался. Он любит вас. Доволен оказанным приемом. Обязательно пошлет с борта самолета телеграмму», – промолвил, не глядя ни на кого, Егор. Венка смотрел на скрывающуюся за горизонтом искусственную птицу долго и напряженно. Показалось, что налетевший внезапно ветерок своим порывом выдавил на морщинистую щеку мужчины скупую слезу.

Мама Шура, удовлетворенная тем, что все прошло так удачно со встречей старшего сына, убирала со стола остатки небогатой трапезы. Танька куда-то делась. Любаша пошла доить корову, только что вернувшуюся из стада. Хлопнула калитка. В стойле, куда зашла кормилица, пахло линничком и донником. Витал в воздухе легкий, проникающий повсюду, неистребимый запах степной полыни. Люба слила из вымени первые струйки молока только что окотившейся кошке Майке. Потом из полного ведра по привычке налила через марлю, подстелив ее на горлышко, двухлитровую баночку молока для соседей.

РОДЬКА

Там, где Бия сливается с Катунью в одну реку и окончательно перемешиваются синие струи водоворотов правого берега с зелеными завихрениями левого, Обь течет сплошным серо-зеленым потоком дальше на север. Великая река успокаивается, островов в русле намывает меньше, чем при слиянии. В свое время речных судов да и рыбы скапливалось здесь немало. На левом берегу, не так далеко от большого села, из ровного, приносимого водой плавника – ободранных о щепень и речную гальку сосновых бревен, Родька поставил свою избушку. Этому предшествовало много различных событий.

Война закончилась для капитана Родиона Острового в августе 1944 года, когда на батарее счетверенных зенитных пулеметов, которыми он командовал, прикрывая наведенную переправу для наших наступающих войск, обрушился бомбовый удар тяжелых фашистских «юнкеров», перепавших всю позицию батареи. Легкий блиндаж, что бойцы успели для него с радистом и ординарцем изладить накануне, взлетел в воздух одним из первых.

Родион был в это время на позициях и самолично вцепил в брюхо удирающему «юнкерсу» очередь жалящих насмерть крупнокалиберных

пулеметных пуль. Тот задымился и взорвался, упав на вражеском берегу. Тут-то Родион и почувствовал боль в развороченном осколком лице и правой, напряженной в азарте, руке. «Потерпи, потерпи, миленький,» – слышал лихорадочный шепот медицинской сестры, проваливаясь в бессознательное состояние.

Очнулся уже в госпитале, после операции, среди таких, как он, неудачников. Попросил осколок зеркала у лежащего на соседней койке лейтенанта. Тот молча подал неампутированной рукой этот предмет мужского туалета. На Родиона смотрело чужое лицо, страшное своей непохожестью на прежнее. Закаменел от вида нового своего покалеченного облика. Даже не попросил медицинскую сестру полностью освободить голову от бинтов. Ясно стало и так, что судьба его изменилась. Да и разве можно жить после такого ранения полноценной жизнью?

Руки, ноги, между тем, оказались целыми. Мучающие головные боли постепенно отпускали. На прикроватной тумбочке лежал в коробочке орден Красной Звезды. За личное мужество. Уже третий за всю войну. В палате многие могли похвастаться разными наградами. Шел декабрь 1944 года. Все понимали, чем должна закончиться война и думали о возвращении на родину. Думал и Родион.

В мыслях представала, прежде всего, Настасья, его жена. А потом уже – остальные в селе. Как-то она примет его, и примет ли вообще с таким ранением? Ведь всю последующую жизнь нужно друг перед другом провести. А там, глядишь, дети пойдут. Не станут ли они стыдиться папаша? Родители у Родиона один за другим умерли в 1942-м. Они не увидят. Хотя, конечно, не отказались бы от сына. Больше из родных никого в селе нет.

Родион думал бессонными ночами, что вот и Настасья из города. Уехать с ней туда, где много людей, ещё страшнее. Там живет её многочисленная родня. Придется ли ко двору такой зятек? Начитавшись романов Дюма, особенно про «Железную маску», стал мечтать: «а не выковать ли себе такую же? А что? Днем ходи в маске, а ночью снимай». «Загорелся» было придумкой, но быстро «потух». То на то и выходит. Был еще вариант завербоваться на морскую пугину куда-нибудь на Дальний Восток. И вызвать к себе Настасью. Пока не понял, что главное – встреча с ней. Она-то и решит все.

Увольнение подчистую пришлось на январь 1945-го – самый холодный месяц в Сибири. В вагоне-теплушке доехал с такими же горемыками до уездного города, откуда уходил на фронт. Нерешительность характера не позволила заранее описать в письме свое ранение молодой жене. Что-то заставляло появиться перед ней неожиданно, таким, как есть. Вот, мол, посмотри, что проклятая война наделала. Из русокудрого красавца с голубыми глазами слепила какого-то Квазимоду, как в «Соборе Парижской Богоматери» у Гюго. Читал и такую книжку, валяясь по госпиталям.

В глубине души, на самом её доньшке, притаились видения жарких ночей, проведенных с любимой женушкой за все, отведенные им судьбою, полгода до начала войны. Её горячие, волнующие кровь слова о том, что он для нее самый желанный мужчина, каким бы ни вернулся

с победой домой, будоражили его кровь, оставляли надежду на будущее. Становилось смурно на душе от нахлынувшей решительности. Оставалось себя и ее испытать.

От станции пошли с двумя фронтовиками-попутчиками пешком. Не удалось даже подводы нанять. Вскинули по привычке рюкзаки на плечи – и вперед. Госпитальным трофеев не полагалось. Тронулись налегке, а ему сорок верст до родного села походным маршем идти... Мужики пораньше должны добраться. Их деревня – как раз на полпути до Родькиного села. Дойти бы по такому морозу. Ночлег обещан попутчиком, а без отдыха в тепле никак не обойтись.

В куржаке по самый пояс ввалились в дом к знакомому мужику. Обогрел, накормил фронтовиков. Когда товарищи разошлись по своим домам, обнявшись с Родионом перед прощанием, прилег солдат на топчан, а в голове всякие мысли шевелятся... Но ничего, недолго уже осталось. Утром встал затемно. Попил настоящего в русской печи морковного чаю и тронулся в дорогу. Хозяин вышел проститься. Вроде даже перекрестил его. Но то Родиону неведомо.

Ходили зимой посередине реки. Даже скользили ногами по открытому ветрам кое-где льду. Мысль о встрече тоже подгоняла. В общем, к вечеру прибыл в село. Но зашел первым делом к соседу Федьке, 70-летнему мужику. Почему так получилось – сам не понял. Сосед его признал. Сразу послал за Настасьей. Мол, замерз, муженек до дому дойти не может. Вбежала расхристанная Настасья, пальцецо даже не застегнула. Оглядела горницу горячечными глазами. По Родиону взглядом скользнула. Недоуменно уставилась на хозяина.

– Что, муженька не узнаешь? – попытал ее Фёдор. Настасья пристально посмотрела на человека, сидящего перед ней. Что-то в ней надломилось, в груди всхлипнуло. Она прошла и села рядом с Родионом на скамью. Этого знаменательного момента ждали оба. Но каждый – по-разному. Вот, думалось Настасье, наступит тот решительный миг, когда они сольются в едином порыве, бросившись друг к другу в объятия после окончания войны. Родион будет весь в наградах, красивый. Она допускала даже седой вихор в его волосах. Он бы его так украсил, когда они вместе пойдут по деревенской улице. А соседи станут смотреть на счастливую парочку.

Перед ней сидел уродливый, страшный на лицо мужчина, хоть и напоминавший отдаленно её мужа. Они встали с лавки и пошли на выход, даже не обнявшись. Дома Родион поставил на стол вещмешок, выгрузив две банки тушенки, буханку госпитального хлеба и кусок комкового, с налипшими соринками сахара. Детей у них не было. Гостинцы предназначались для Настасьи. Спать лег на теплую скамью у печи, сославшись на то, что простудился до этого. Настасья не возражала, зарывшись на кровати в гору супружеских подушек, рыдая про себя. Родион всю ночь пролежал на скамье, глядя в потолок сухими глазами.

Утром встал и пошел умываться в сени. Позавтракал картошками, вынутыми из русской печи. Неопределенность поселилась с ними в доме. Жили как чужие. Настасья, правда, исподнее фронтовика перестирала, есть готовила. А потом убегала до глубокой ночи к своей подружке. Роди-

он ограду починил, покосившуюся баню перебрал. Весной пошел в Дистанцию пути и нанялся бакенщиком на тот участок Оби, который считался самым трудным. Он располагался километрах в восемнадцати от села. Горечь на сердце никак не проходила.

И это на фоне той радости, которую принесла с собой победная весна! Праздновалась Победа широко и искренне. Раненые, но оставшиеся в живых мужики из села, приехали как-то на подводе к Родиону. Посмотреть его новое хозяйство. Да заодно и погулять на приволье. Родион к тому времени наловил багром бревен, топором ошкурил их. Раскряжевал ножовкой. Мха наготовил. Оставалось только собрать сруб. Что и сделали сообща, впятером, покрякивая и подставляя плечо друг другу. Полюбовались своим творением. Уехали, угостившись самогоном. Родион понял, что вот и у него появился свой угол.

Отремонтировал выданные на подотчет бакены, покрасил их, просушил. Лодку проконопатил, варом обмазал, принеся целое ведро с колхозной конюшни да разогрев на костре. По всплескам на воде понял, что рыбы на перекатах скапливается немало. Запуски, переметы были обычным делом у опытных рыбаков. А Родион чем хуже прочих? У него и прибытка другого нет. Под откосами, в ямах, зимовала стерлядь. Появились заветные места. Снасти готовить он и сам оказался горазд. В сети шел лещ, судак, щука. Добытое стал менять на деревенские продукты.

Узнали об этом сельчане. Кто на велосипеде, еще конструкции Горьковского велозавода, приезжал, затарив в мешок для обмена хлеб, соль, сахар, а то и бутылку «беленькой». К осени, когда кололи свиней, договаривались по-серьезному. К этому времени вялил Родион в укромном месте тайменей, кострюков да и осетров, если повезет. Менял на мясо заимообразно. А презенты зачастую «уходили вверх», создавая хлебосольный образ района для вышестоящих товарищей. Еще и поэтому Родьку никто из начальства, да и рыбной инспекции, не трогал.

Настасья из села к тому времени давно в город переехала. Говорят, даже замуж вскоре вышла. Не простила ее сельская общественность из баб-одинок да девок-вековух. Некоторых из них видели выходящими из домика бакенщика на рассвете. Но совсем не зловредно обсуждали эти факты. Время было такое, что каждый мужик, даже калеченый, был у женского населения на счету. А годах в шестидесятых, когда уже и побаловаться самогончой Родион любил, да и цену свою мужскую познал, пришла к домику бакенщика Надюха, из ближайшего поселка.

Громко позвала мужчину, бродя у дома. Родион снимал вентера. Выплыл из зарослей: «Чего желаете, барышня?». Посмотрел на ее ноги в цыпках, которые девушка пыталась спрятать в нанесенном ветром речном песке.

– Пройдемте к дому, – сказал этой дылде, не по годам повзрослевшей. К вечеру сварил на таганке уху. Долго смотрел, как личинки вылетевшего на брачные игры мотыля танцевали хаотичный танец, сгорая в пламени костра. Потом вошел в дом. Худые, но теплые руки девушки вдруг обвили его за шею, повлекли на топчан.

Услышал страстный шепот: «Дядя Родион! Я вас давно люблю! И совсем не страшно, что вы – калечный. Вон папка без ноги пришел. Это

все война проклятая виновата. Что ж теперь. Надо дальше жить. Я вам ребеночка рожу, чтоб продолжение рода было. Только не гоните меня от себя». А сама так и норовит прижаться тощим девичьим телом к мужику. Ну что тут делать? Опешил Родион. Желание само за себя решило. Привлек девчущку, точнее двадцатилетнюю девицу к себе. И забылись они в сладостном угаре.

Осталась Надюха на кордоне. Свадьбу не играли. У отца с матерью детей было шестеро. Привез в избушку одноногий Никифор одеяло, две подушки, перинку тощенькую. Вот и все приданое. Да из посуды – по мелочи. Выпили четверть самогона. Рыбы свежей мешок домой забрал. Напутствовал: «Живите, как сможете». С тем и хлестнул лошаденку по тощим бокам, чтобы расшевелить понурую. В колхоз после войны его не взяли, а вот от сельсовета вырешили, как инвалиду войны, серого конька.

Вскопала Надюха огородик маленький за избушкой на припеке. Лук, чеснок, немного картошки, десяток вилок капусты посадила. Все прижилось. А вот помидоры у реки не вызревали. Мешали частые туманы. Многие из продуктов и вещей обменивали на рыбу. Так, в заботах и хлопотах, лето прошло. А хлопоты какие у бакенщика? Чтобы все обстановочное хозяйство, которым на твоём участке фарватер обгорожен, в исправности было. И работало как часы.

Моторных лодок на всей дистанции две-три. Загребали на простой, весельной. Мозоли с ладоней рук Родиона никогда не сходили. Но и створ был обставлен, и бакены на положенных местах стояли и зажигались вовремя. Судходство набирало силу. С верховьев на баржах строительный щебень везли. Вниз, к элеваторам, урожай зерновых отправляли. Музыка, огни, веселье пассажиров с палуб проходящих теплоходов звучали, душу веселили, внушали надежду на лучшую жизнь.

Сама Надюха похорошела, улыбаться стала чаще. Все спорится у нее в руках. Призналась Родиону уже по осени, что «понесла» от него. Дрожащими руками солдат свернул самокрутку деревенского табака, притушил полыхнувшие радостью глаза. Крепко обнял женушку. Засобирился в село, за подарками. Да задержался там из-за «злодейки с наклейкою» на целых трое суток. Победу свою над судьбой перед друзьями-фронтовиками не скрывал. Страшной ценой победа обернулась.

Когда привезли его, пьяненького, на подводе, домой, то первым делом он Надюху покликнул. Не отозвалось свитое ими гнездо теплым голосом жены. Заметив, что не видно привязанной к причалу лодки, решил, что Надежда бакены на участке проверяет. Накануне ветер сильный был, штормило. Вмиг у Родиона хмель выветрился. Давай по берегу бегать, плоскодонку искать. С женой, конечно. Ведь и ранее она, бывало, в его отсутствие обстановку сама проверяла, выходя в реку на надежной плоскодонке.

Носился по берегу, в каждую заводь заглядывая, взмывая, как молодой теленок без матери. Голос сразу осел. Ночью махал фонарем «летучая мышь», втайне надеясь, что заблудилась Надежда. К утру на подкашивающихся ногах вернулся в сторожку. По радию с Дистанции пути вызвал катер. Пока ожидал технику, многое из прошлого вспомни-

лось. Может и зря тогда, в госпитале, не рванул по венам, едва качающим кровь, осколком зеркала, поданным лейтенантом. А ведь была такая мысль, была...

Катер пришел с наметками, баграми и спасательной командой. Водяной бурун погнали перед собой вниз по фарватеру, осматривая каждый подозрительный предмет. На лодку наткнулись километрах в пяти ниже границы участка. Задержал маломерное судно песчаный откос, на который струя воды выбросила полузатопленную лодку. Она даже не перевернулась. Но в лодке никого не было. Вот тут-то и понял Родион, что смыслу его жизни пришел конец. Словно тот же фонарь «летучая мышь» задули.

Заорал страшно от безнадёги на речку, на прибрежные кусты ивняка, на товарищей своих, ни в чем не повинных. Истерика, ясное дело, случилась. Связали его обеспокоенные мужики туго-натуго пеньковой веревкой. Это чтобы за борт не выбросился. До вечера еще подплывали к каждому островку, проточине самой маленькой. Искали Надежду. И на-завтра так делали, сдав Родиона в сельскую больницу. И на послезавтра. Не отпускала река свою жертву.

Уже поздней осенью вернулся Родион из городской больницы. При-тихший, рассеянный, вроде даже меньше ростом стал. Ненужный, ничемный человек. Такую жену не уберег! Родионов участок Дистанция пути отдала другому, жившему на правом берегу Оби. Надежному хозяину, имевшему свою моторную лодку. Родька, так его теперь местные стали звать, вернулся в избушку на берегу. Питался тем, что ловил рыбу.

Одноногий Никифор – несостоявшийся сват, привозил время от времени хлеба, соли, сахару, забирая улов. А когда Никифор умер, уже в конце семидесятых, своими припасами стали делиться приезжающие на уловистые места рыбаки-любители. Не бескорыстно, конечно. Хотя Родька пойманную рыбу часто отдавал просто так. Рыбак он был удачливый. Ну, а если еще «шкалик» поднесешь...

Выпив, долго сидел на берегу, бездумно глядя на текучую воду. В реке солнце кувырчалось на волнах, окатывало раскаленным жаром мужика, смолило многодневную щетину на лице. Мнилось, вроде, что вот оно – фашистская бомба только разорвалась, и можно еще спрятать голову за броневым щитком или, на худой конец, упасть на землю. Но он уже никуда не успевал.

Сергей Потехин

Рос я колосом в поле...

* * *

Выстрелил гром за тучею.
Эхо за лесом стихло.
Счастье мое летучее,
Где я тебя настигну?
Рожь по полям колышется.
В озере плещут волны.
Чей-то мне голос слышится –
Грусти и ласки полный.
Там у крутого берега
Машет платочком алым
Девушка в платье беленьком.
Только не мне, пожалуй.
Я не желал бы лучшую,
Но и теперь не скрою:
Счастье мое летучее
Вновь разошлось со мною.

* * *

Сердце мое, ты – галчонок покинутый
Возле большого, чужого гнезда.
Близится ночь, и на мир опрокинутый
Падает черная, злая звезда.
Слезы мои, не проклюнувшись, высохли.
Испепелен зацветающий сад.
Песня и стон божьей искры не высекли,
Траурный ветер когтист и космат.
А впереди цель маячила ясная,
Грудь распирало, и крепло крыло.
Ради чего эта жертва напрасная?
Нить обрывается ради кого?
Смелый вираж завершился аварией,
И ничего не поделаешь тут.
Светлую звездочку звали Наталией,
Эту падучую Смертью зовут.

* * *

Рос я колосом в поле,
В небе птицей парил,
На высоком глаголе
О Любви говорил.
Есть ли в мире наречья,
Чтоб сдружить племена?
Речь моя человечья
Безнадёжно бледна.
Все воротимся снова
В край, откуда пришли.
Вспыхни радугой, Слово, –
Горемык окрыли!..

Леонид Попов

Одуванчиков сор золотой...

* * *

Чем порадую милую ранней весною?
Небогат обиход мой простой.
Не сочтет же она золотою казною
Одуванчиков сор золотой...
Чем утешу хорошую осенью поздней,
Когда мучит безверия бес,
Когда заткана зябкою роздымью звездной
Неприятная бездна небес?
Знать бы слово заветное – летнее, светлое,
Чтоб дарило теплом в холода,
Чтобы солнышком время встречало рассветное,
А постылым дождем – никогда...

* * *

Молоко твоих рек, гражданин коростель,
Когда ночь подбирает крыла,
Розовеет с того, что брусничный кисель
По угорам заря разлила,
По приречным лугам в государстве твоём
Изумрудные травы в росе,
И такой тишиной опоён окоём,
Что не помнятся горести все.
Так зовуще высок небосвод голубой,
Что примолкла тревоги труба,
И завидною кажется наша с тобой
В это раннее утро судьба...

* * *

Холода... Даже звезды повымерзли.
Ни огня в деревушке пустой,
И собаки последние вымерли
Здесь, за этой забытой верстой.
За оградой – береза продрогшая
Да журавль ледяной на ветру, –
Вот и все. Только лошадь ознобшая
Все равно норовит – ко двору...

Олег Лапшин

БОЖЕСТВО

В одном небольшом сибирском поселке, где земля и вода образовали мечту... или, лучше сказать, там было так спокойно, что городские жители мечтали приехать туда в отпуск и, стоя на земле, желали в воду удочку закидывать, чтобы через леску слиться с чем-то большим, с каким-то непостижимым существом, которое, как казалось, повелевало тем краем и жило, словно лохнесское чудовище, в воде на глубине реки Оби.

И тот, кто приезжал в этот поселок развеяться и вытянуть из себя через удочку черную рыбу городских забот, иногда встречал идущую в местный магазин маленькую сторбленную старушку, которая держала в руках давнишнюю потрескавшуюся хозяйственную сумку, черную и тощую.

Старушка заходила в деревянный магазин, и там, среди простоты и аскетизма дощатых полок, она просила у продавца дешёвую бутылочку портвейна и, заплатив за нее, уходила домой.

Бутылку бабушка брала не для себя, а для своих родных, мужа и сына, которые утонули прошлым летом. Вернее, утонул по пьяному делу сын, а его отец умер через некоторое время, утонул, потому что тоже очень сильно пил и не смог выплыть из очередного своего запоя, отдав душу тому страшному, похожему на лохнесское чудовище, божеству, наполнявшему этот край тем суровым спокойствием, которое так нравилось ощущать приехавшим сюда городским чудакам.

Старушка покупала бутылку вина примерно два или три раза в неделю и, пряча ее в хозяйственную сумку, говорила продавщице Ирине: «Сегодня ночью муж с сыном должны ко мне прийти, вот им приготовила – они любят». С этими словами помешавшаяся старушка направлялась к выходу из магазина, а продавщица грустно смотрела ей вслед, вспоминая слова своей бывшей учительницы физики Маргариты Васильевны, как-то на уроке сказавшей ученикам: «Я не верю в Бога и загробную жизнь, но что-то есть... что-то есть».

«Но что-то есть», – как заклинание, повторяла про себя продавщица, пока бабушка не скрылась за покрытой светлым лаком дверью небогатого сельмага.

Все знали, что бабушка не пьет, и понимали: раз она покупает новую бутылку портвейна – значит, старую кто-то выпил. Тогда возникает вопрос: куда девается старое вино, и кто его выпивает? Понятно, что плоские души отца и сына не могут выпить объемный стакан вина – им хватило бы лежащей на столе такой же плоской от него тени.

И люди не могли понять, как же синяя тень покойника может выпить красное вино, символизирующее жизнь и здоровье, от земных плодов взявшее комья радости и трехмерную спелую соль; или, лучше сказать, взявшее землю, и от земли той отрезавшее для себя зерна и пло-

ды, и отрезавшее для себя от земли той кровь, которая ранено наполняла людские сердца свежим благоденствием.

И люди не знали, что синие тени брали от вина не волнующуюся кровь, а брали они от вина только его суть, его душу – и хоть стакан с вином, как казалось, полным оставался, но не было в нем уже души. И как только покойники из всей бутылки винную ее суть вынимали, то заклинали бабушку новую купить, а это, превратившееся в воду, бездушное вино просили на цветы вылить.

И вытягивали синие тени из вина его красную душу и ею напивались, когда они душу ту брали и, боясь выходить к тому местному суровому божеству, вокруг бутылки сидели и просили то вино стать их добрым богом. Но винная красная душа не могла долго их оберегать, и через некоторое время, словно огонь в темном царстве Аида, гасла, после чего тени мужа и сына вновь просили принести им другую бутылочку красного вина.

И старушка шла за новой бутылочкой, – и снова ночью она, ее муж и сын собирались все вместе за одним столом и на некоторое время прятались и закрывались от страшного божества и от такой же страшной реальности материального мира за маской праздника и веселья или, лучше сказать, за неброской лампой тихих посиделок, тайно полуночная тройцей в доме под опущенными веками штор...

Божество не любило мужа и сына старушки: они были алкоголиками, и их души, все время терзаемые желанием выпить, не знали покоя и не интересовали его. Божество, являясь само покоем, любило городских жителей, которые, сами не подозревая об этом, приезжали сюда в отпуск именно на поклонение к нему, ища здесь спокойствия и отдых. Городские отпускники помимо своей воли служили тому божеству, местному лохнесскому чудовищу, когда, подражая поэтам, неумело пытались сочинить небольшой стишок о том, как этот край похож на что-то грандиозное и вечное.

КОРОВА

Блестела река. Солнце душою светило в теле небесного свода, и все было хорошо. Только одинокие облака, словно небесные лодки, медленно плыли, а в такт им по реке бежали моторки, и к каждой был прикреплен мотор, блестящий и похожий на угловатого маленького рикшу, толкавшего впереди себя плавучий короб с господами. Сидевшие в лодке так называемые господа собрались по ягоды на другой берег; и они уже практически отплыли от берега, на котором стоял поселок, когда увидели, как возле обрыва в воде билась черно-белая корова, и она никак не могла выплыть. Видимо, корова гуляла по берегу и неосторожно сорвалась вниз, с пронзительным шумом нарушив мирный и спокойный хор берега.

Корова билась под крутым аккордеоном берега и походила на тонущего средневекового рыцаря с наглухо надетым на голову шлемом, на

котором красовались кривые рога. Лошадь тела коровы или, лучше сказать, рыцаря, не была видна, и только его рогатая голова со щепотью ума в ней еще возвышалась над полировкой воды. Рыцарь тонул, и сидевшие в лодке люди повернули к берегу, чтобы пристать рядом с ним и попробовать ему помочь.

В конце концов, на корову была накинута веревка, крепко обхватившая верхнюю часть животного с его рыцарской головой. Иван, Сергей и подоспевший с рядом стоящего на берегу катера Петр с силой потянули веревку, но корова, чуть подавшись вперед, снова соскользнула вниз в воду и тяжело задышала, полуквадратной октавой своего черного носа дополняя суровую музыку реки. Щепоть ее ума поняла, что в людях спасение и даже, как казалось последним, хотела помочь им, высоко сидящим наездником в отчаянии хлеща лошадь своего тела.

Было видно, что лошадь теряет силы – и корова уже начала задыхаться. Она запрокинула голову, и ее черные ноздри с каждым вздохом, словно тлеющие угли, наливались красным цветом. Жизнь в животном еще тлела, но с каждым разом при вдохе краснота его ноздрей становилась все сильнее и сильнее. В этот момент Иван поскользнулся на склоне берега и, не отпуская веревки, упал и чуть прокатился вниз к воде. Тут же его подхватили товарищи и вновь поставили к веревке – и они снова все вместе за веревку потянули корову, словно репку, из земли-воды.

Вдруг каким-то невероятным усилием корова дернулась и, на секунду опершись на воду как на лед, лошадью своего тела выскочила на грязный берег. Корова оказалась большой, и ее рыцарские рога грозно чертились в прозрачном поединке воздуха. Люди сбросили с нее спасительную веревку – и корова пошла прочь на своих драгоценных каблучках-копытцах, делавших ее чуть выше, чем она была на самом деле. В этот момент ей и вправду не хватало дамской сумочки, которая могла бы висеть на свежести плечевого сустава или, лучше сказать, на небольшом выступе-крыле, торчащем из ее бока. А можно сказать, что та сумочка она бы и была крылом коровы и висела бы на себе самой, как чудо.

Валентина Чубковец

БОТИНОЧКИ

Рассказ

До сих пор я невольно останавливаюсь возле каждого обгоревшего дома. Как же ты пострадал! Чья рука посмела нарушить твой покой? А быть может, это было короткое замыкание? Бедные люди, твои хозяева, что они испытали, что пережили...

И перед моими глазами всплывает другая картина – домик на берегу реки, на окраине деревни. Мой милый бревенчатый домик со сказочными резными узорами, с окнами, выходящими в лес, в наше чудное богатство.

Прошло добрых сорок лет. И не хочется вспоминать ту майскую холодную ночь. Но нет же, при виде обгорелого дома, пожара по телевизору, при очередном моём дне рождения оживает в памяти трагедия нашей семьи.

Сказать, что мы жили в достатке, я, пожалуй, не смогу. Да и в то время сильно-то никто и не жировал. Помню, наварит мама в чугушке картошку «в мундирах», поставит на стол крынку с коровьим молоком. Мы её все вмиг оприходуем, еще и соседские дети помогут. Часто тетя Паша Киржакова говорила маме: «Шура, ну что моих детей к вам поесть тянет? Ведь приготовлю дома – нет, мы у Соловьевых картошки в «мундирах» наелись, она вкуснее». Так вот и жили весело и дружно большой семьей. Держали свое хозяйство: корова, куры, свиньи и лошадь.

И вот шестое мая – мамин день рождения. Мама словно заново учится ходить, делает свои первые шаги при помощи больших неуклюжих костылей. До этого полгода лежала в больнице. Очередная поездка к старшим детям в Томск обернулась бедой – она попала под трамвай, и он её ещё протачил метров пятнадцать. Но мама выжила, врачи сохранили ей ноги. «Чудеса, – говорила мама, – ноженьки мои целы. Есть Бог, доченька, верь».

Дорога, по которой нам пришлось пройти, показалась мне длинной. Шли неспешно, каждый шаг маме давался с трудом. И вот мы в магазине, в «уценённом» магазине. Мама достаёт из кармана платочек, в котором лежит свернутый в несколько раз бумажный рубль и покупает мне ботиночки.

Это первые мои новые ботиночки, до того доставались ношенные, после старших сестёр. «Мне? Мои?» – шептала я, прижимая их к груди. Помню, продавщица посоветовала сразу же их надеть, а старые в мусорку выкинуть, чего я себе не позволила. Да и как по такой грязной дороге можно идти в новых ботиночках? Радости не было предела. «Мама, день рождения же сегодня твой, тебе подарок надо». – «А мне, доченька, Бог подарочек подарил – я пошла своими ножками. Завтра твой день рождения, вот ты и побежишь в школу в новеньких ботиночках». Я тогда заканчивала первый класс.

Папа с работы пришел поздно, работал машинистом на тепловозе. В доме не было света.

Видимо, что-то замкнуло в проводке. Искать неисправность в темноте не рискнул. Все легли спать. Позже он жалел об этом всю оставшуюся жизнь. Хотя понять на тот момент его было можно: он был очень тучный,

глуховат после контузии на войне, его мучила гипертония и беспокоил сахарный диабет. И если бы он – единственный кормилец в семье – упал в темноте...

В три часа ночи мы проснулись. Вернее, проснулась мама, она успела разбудить отца, прежде чем потеряла сознание. Папа унёс её подальше к лесу, а сам побежал будить меня и старшего брата. Брат, который был старше меня на три года, умудрился выпрыгнуть в окно, что позволило вольному огню разгуляться по всем комнатам. Я искала выход, но, когда открыла двери в сени, меня волной откинуло назад.

Дальше... дальше ничего не помню. Но я осталась цела и невредима, лишь опалились брови с ресничками да чёлка. Говорят, меня сосед в одежде вынес. Чудом не сгорели. Никогда не забуду коня Белоножку, он метался по огороду, вставал на дыбы и при этом громко и тревожно ржал.

Помню и Муську. Спасая своих котят, она вся обгорела. На ней не было ни клочка шерсти, кожа кошечки была покрыта единой коростой. Моя Мусенька ослепла.

Сгорело всё, ничего не смогли спасти. Две пожарные машины, которые хотели нам помочь, как ни старались, не смогли проехать до нашего дома, они просто увязли в грязи. А когда приехал трактор, чтобы как-то их дотянуть, то тушить было нечего.

Помню, как я рылась в пепелище в день моего рождения, ища так и ненадеванные мои новенькие ботиночки. Вчера, придя домой из магазина, я завернула их в тряпочку и спрятала в шифоньер с вещами. И я их всё же нашла. Они лежали, съёжившись в комочек, вовсе не похожие на себя.

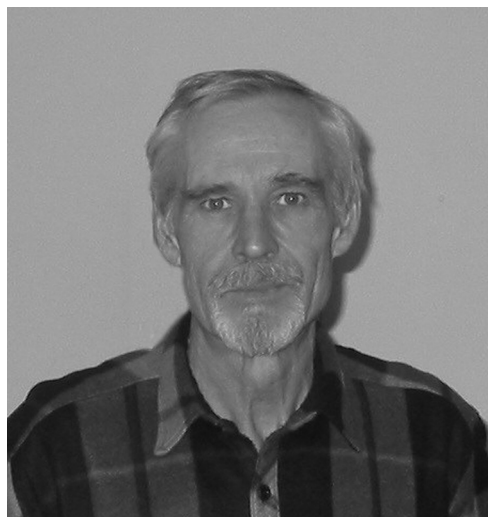
Наш уютный домик сгорел дотла. Не раз после этого меняла я место жительства. Но всё не моё, ни к чему не лежит душа. Тоска глохнет по тому бревенчатому дому, в котором я родилась и который так скоро потеряла.

Виктор Покровский

Всё, что людям оставлю...

*Всё, что людям оставлю
В печальной стране –
Время спрячет в песок...*

Борис Овценов,
«Ностальгия», 1983



ОДНОПАРТИЙНОЕ «ТВОРЧЕСТВО»

Газетчиком он стал еще в конце 60-х в Стрежевом, на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Перед этим бывший студент, отчисленный из политеха по недоразумению, побатрачил на строительных объектах. К этому времени Борис уже сочинял и исполнял свои песни – «Таёжный билет», «Студенческая», «Вокзал Томск-1» и др. Это было время таежной романтики, а потому с такими данными попасть в многотиражку на Всесоюзной ударной было несложно. К тому же подвигали и фактурные данные автора: высокий, стройный, с бархатистым голосом...

О чем он писал в многотиражке в те годы, дословно не помнит. Конечно же, о трудовых достижениях, прорубленных просеках, о первостроителях Стрежевого... Позднее он еще вернется в этот город, но уже в качестве командира одного из строительных отрядов. К этому времени он станет студентом Томского университета, будет изучать филологию. Все было как бы в масть, даже студенческая женитьба: Нина оказалась не просто желанной и красивой невестой, но заботливой и надежной подругой – к тому времени она уже окончила техникум, а в стройотряде подрабатывала поваром.

Но вот и для Бориса студенческие годы оказались позади. Филолог и преподаватель русского языка и литературы (так в дипломе!) распределился в сельскую районную газету. Тогда она называлась «Правда Ильича», и вряд ли бывший студент Овценов задумывался над тем, что до 1956 г. это издание носило имя «Сталинской правды». К тому же участок он получил, как тогда говорили, конкретный: освещение сельхозпроблем района.

Тридцать лет спустя он расскажет о том периоде своей жизни буквально следующее: «Я пришел в эту газету в июле 1974 года ... Увлекался туризмом, самодельной авторской песней, пытался найти себя в поэзии. В редакции же объяснили: район сельскохозяйственный, будешь освещать сельхозтематику. Хорошо, что я сельский, из-под Тюмени, в

одиннадцатом классе школы мы изучали и трактора, и животноводство, даже две практики было на ферме и на молокозаводе. Писать о делах сельчан мне, наверное, было легче, чем журналисту-горожанину».

ПРАВО НА ПЕЧАЛОВАНИЕ

Печаль и печалование – слова одного корня, а вот применение их различно. Если в первом случае выражается действие пассивное (слезу пустил – и баста!), то во втором – действие активное, иначе обиженных не защитит. Обидеть, конечно, может каждый, особенно слабых и немощных, а вот защитит, пожалуй, нет. Здесь нужны характер и воля, а то и крепкие кулаки. Вон у писателей или поэтов последнего атрибута может и не быть, зато есть слово, которое, как известно, иногда бывает мощнее крутых кулаков. Только вот всегда есть опасность – а послушают ли? Тогда это слово надо опубликовать... И здесь печаль уже становится с кулаками.

80-е годы дали нам примеры такого печалования, особенно в отношении природы. Вспомните Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, Сергея Залыгина. Во многом благодаря им были остановлены многие залихватские гиперпроекты типа переброски северных рек. Томичи тогда тоже не остались внакладе, достаточно вспомнить Виктора Колупаева. Всемирно известный писатель-фантаст, он стоял у истоков томского экологического движения. Не блещущий физическим здоровьем, он в любую непогоду выходил к микрофону на митингах протеста и своим резким неприятием бездушных планов тогдашних властей подвигал нас к гражданскому неповиновению. Так было, например, с печально известным проектом строительства завода по производству белково-витаминных концентратов (БВК). Проект тогда рассыпался, строительство так и не начали, а Томск и его окрестности избавились от очередной экологической мины. Хорошо бы мы сегодня выглядели: руины животноводческих комплексов (для которых, собственно, и планировалось выпускать эту квазипродукцию!), поля бывших совхозов, поросшие молодым березовым подростом, и бывшие колхозники, которые откармливают скотину концентратами на основе углеводов, причем на собственном подворье! Вот уж действительно картинка из фантастического блокбастера «Чужие»... Похоже, что именно подобный абсурд и предчувствовал Виктор Колупаев, потому и называл открыто вещи своими именами, и не только называл, но и писал об этом...

Борис Овценов, как мне помнится, на эти экологические тусовки не ходил, но стихи писал. О том же. Еще раньше, в самом начале своего журналистского пути он написал стихотворение «Судьба реки» (1976 г.). Здесь было все: и гордость за родной край:

Давно ль в ней жили ширь закатов
И шум лесов, и те года,
Когда не знала перекатов
Большая светлая вода.

И печаль о бездушной деятельности человека:

Но вот пришли однажды люди
И распахали берега.
И осушили мелководье,
Вблизи повывели леса...

И обреченность первозданной природы:

И этот миг однажды канет:
Река почувствует, спеша,
Как разбивается о камни
Её глубокая душа.

А ведь раньше, ещё в студенческие годы, в его стихах было совершенно безмятежное восприятие природы – «Весна в тайге» (1968 г.), «Сегодня праздник – ледоход» (1969):

В тени вовсю сквозит ознобом.
Но там, где солнце горячей,
Вдруг шевельнется под сугробом
Ещё невидимый ручей.

А в это время «Косяк гусей над гулкой Обью «призывно радостно кричит».

Однако двадцать лет спустя он напишет стихотворение-гротеск «Жажда», где уже, по сути, открыто говорит: «Апокалипсис близок!». Судите сами:

У гибнущей реки
Не заживают раны,
И грязь в водозабор
Сочится тяжело.

Турпоходы в молодости, а в зрелые годы – по грибы! Эта непосредственная причастность к состоянию и судьбам природы, так же как и причастность к жизни своего народа, красной нитью проходят через все творчество Бориса Овценова. И как проходят! Если в 1976 г. в стихотворении «Судьба реки» он говорит только о страданиях реки, имеющей «прекрасные глаза», и которая «с глухой болью ...теряет глубину», то в 1989 г. в «Жажде» уже от варварского отношения к природе страдают и сами люди:

Как жажду утолить?
Торопят жизнь к закату
Убийственной воды
Тяжелые глотки.

В 1991 г. он напишет стихотворение «Город и лес», где есть строка «Этот печальный праздник», которая и дала название первому и пока единственному поэтическому сборнику Бориса Овценова. И здесь мы находим следующие строки:

Там, где шумела гордо
Пышных берёз краса,
Пашня берёт за горло
Пригородные леса.

Каково приходится человеку, которого берут за горло, думается, знает каждый: мягко говоря, не сладко... А каково приходится природе, которую обрубали, обкорнали и засыпали разными там пеплами? То-то и оно. Но ведь есть в этом, как считают разные радетели о благе народа, осознанная необходимость. Ведь разве прокормишь народ без пашни, а свиней без БВК? В это же время Борис, описывая разного рода трудовые подвиги в газетных публикациях, пишет следующие стихотворные строки:

Рвемся лишь взять бесплатно,
Тащим большой мешок...
Что-то у нас не ладно
С Родиной и душой.

Это он, в первую очередь, о тех, кто на месте «пышных берез» оставил «вырубки и пеньки». Но не только. Тем же годом датировано сатирическое стихотворение «Консенсус. Или письмо двух нашенских колхозников американскому президенту». Это короткая поэтико-ироническая зарисовка о событиях в российской деревне в начале 90-х гг. Здесь есть все – и «Мочи нет околачивать груши», и «Перестройка застряла в зените», и «Федька сроду не видел сосиски», и т.д., и т.п. Но нас больше интересуют следующие строки:

Председатель сделал, как надо:
«Ах, вы фермеры? Я и не знал!»
Трактористов второго разряда,
Он нас с Федькой на ферму загнал...

И здесь синонимом действий, которые приводят к «вырубкам и пенькам», становятся поступки председателя колхоза «Большевик», который, пытаясь переломить колхозников, возмечтавших стать фермерами, загоняет трактористов на ферму. И что же? Колхозники, так же как и мы, вопрошают:

Что тут делать? Утерли мы сопли,
И теперь по утрам из дворов,
В руки взяв черенок да оглоблю,
На прогулки выводим коров.

Этот стих, как мы и говорили выше, ироническая зарисовка. Но кто знает, сколько в нем сермяжной правды? А вот Овценов знал. И писал об этом, правда, по-разному. В газетных публикациях – профессионально деловито, в стихах – едко и непритворно. В этом, может, и заключается трагедия всего послевоенного поколения, к которому принадлежит и Овценов. Они успели пожить и в эпоху Вождя (только чуточку!), и во вре-

мена Кукурузника, и в тягостной атмосфере «Малой земли» и «Возрождения». Пережили они и апогей социализма, и начало реставрации капитализма. И на их же глазах корчилась и стонала природа, так же, как корчились и стонали миллионы россиян, невесть за что попавшие в эти жернова истории. Те, кто был посмелей, «выходили на площадь», те, кто чуть поужимистей, – обращались к «Литературным грыжам», основная же масса молча «утирала сопли» и «на прогулки выводила коров». Так вот те, кто был в это время «вне массы» и получал право на печалование... И не важно, какого рода было это право: политическое, диссидентское или творческое – прозаическое или поэтическое. Главное – оно было, это право...

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА

Своё признание как поэт-песенник Борис Овценов получил еще в конце 60-х – начале 70-х годов. Признательность это была, конечно, местная, но впечатляющая: ведь это было время Владимира Высоцкого, Александра Галича, Булата Окуджавы, Юрия Кукина. И вот томские студенты (и не только томские!) распевают и «Студенческую», и «Песню о вокзале» и, конечно же, «Черную лестницу». Кто из нашего поколения, прошедший через «универ» или «политех», не помнит этих строк:

Каблучки простучали точеные,
Как по сердцу прошлись моему!
Все зовут эту лестницу «черная»,
Вот сейчас я узнал почему.

Потом студенческая «халява» закончилась, и все разлетелись кто куда. Вот что позднее напишет по этому поводу преподаватель тех лет Римма Ивановна Колесникова: «... для двух-трех поколений студентов песенный портрет их юности связан с этим именем (*Б. Овценов – авт.*)... С течением лет все атомизировалось, растворилось, разошлось в памяти вышедших из студенческого братства и разлетевшихся по стране молодых специалистов». Как это ни печально, но факт. Однако Борис уже публикует свои стихи в томских и кузнецких газетах, в юбилейном сборнике-антологии «Над Томью серебряный город» (1981 г.). И конечно же, в своей газете. Однако только в 1993 г. ему удастся издать свой первый (и пока – последний!) поэтический сборник – «Этот печальный праздник». Причем издан он был в Тюмени и при материальной поддержке друзей детства поэта... Как бы там ни было, а перо ещё потихонечку, но скрипит... И так будет до тех пор «Пока не гаснет свет, пока горит свеча...».

В те годы Борис Овценов, помимо прочего, ведет в «Томском предместье» рубрику «Творчество земляков». Это, по сути, поэтическая страничка для тех «колхозников», о жизни которых он в каждый номер газеты выдает по энному количеству строк районной публицистики. Свидетельствую: стих там добротный, сочный и, что называется, «от земли». Имена Николая Жирова, Владимира Жолнеровского, Ивана Ковалева начинают звучать и на различных социально-культурных мероприятиях рай-

она. До определенного периода публикуются и стихи самого Овценова. Попытка же вырваться из круга периодики, и мы уже об этом говорили, закончилась успешно только один раз – в 1993 г. В послесловии к «Этому печальному празднику» Р.И. Колесникова по этому поводу напишет следующее: «Периодические публикации здесь не спасают. Автор оказался по-старинному нравственно здоровым: никакие экстремальные перипетии и рыночные условия не загубили его, не «опрагматили». Он – из тех, кто сам себя утверждать не умеет, кому нужна литературно-критическая издательская забота – увы! – извечно и до сих пор дефицитная в Сибири, давно и молча наблюдающей, как её «непробивные» таланты «уходят в песок». Прошу простить за столь длинную цитату, но в ней вся суть поэтической судьбы Бориса Овценова.

Надо сказать, что упомянутое послесловие Р.И. Колесниковой есть не что иное, как высокопрофессиональная рецензия первой книжки поэта Овценова. Известно, что не все коллеги из поэтического круга восприняли её однозначно. Некоторые и вовсе утверждали, что творчество Б.О. просто недостойно того количества поклонов, которые ему отвесила уважаемая Римма Ивановна. Да Бог с ними! Мы же ненадолго заглянем в эту рецензию.

Первое, что отметила доцент Р.И. Колесникова, – это напевность стихов Овценова, их лиричность и наличие в них жизни, любви и четких впечатлений от окружающего. Не это ли признание в нем поэта «от земли»? А дальше идут – «графическая ясность и композиционная завершенность». Но самая, на мой взгляд, высокая оценка творчества современного поэта кроется в том, что его стихи «далеки от агрессивной оригинальности «авангарда», в них есть что-то от классичности, старомодное». И в то же время они «благородно сдержанны по тону и традиционно книжны по форме». Пожалуй, такой оценкой загордились бы и «многоотомные» поэты...

Отметила автор рецензии и то обстоятельство, что в стихах Овценова присутствует «многоцветная палитра впечатлений – переживаний свидетеля, участника, в чем-то даже жертвы хронически перестроенной российской истории», этакого живого «многозеркалья», которое «звучит, тревожа, просветляя, усмиряя слух и душу».

Отметим только ещё одну особенность его стихов, так тонко подмеченную рецензентом: их музыкальность, более того – мелодичность. «И думается, – пишет Римма Ивановна, – что надо бы с каждым стихотворением печатать и ноты». И еще: «что мягкость, человечность характера лирического героя естественно отрешают его от конкретной остроугольности, от резкости звуков и раздраженной реакции». Как тут не вспомнить, что и начинал-то Овценов свое вхождение в поэзию как поэт-песенник. Отсюда, вероятно, и мелодичность последующего ряда стихов, даже таких публицистических по теме, как «Памяти Достоевского», «Птицы и люди» и т.д.

На этой высокой ноте и можно было завершить наше небольшое эссе, если бы не одна существенная деталь – написана рецензия и опубликована вместе с поэтическим сборником «Этот печальный праздник» в 1993 г. Казалось бы, дорога в поэтический мир тогда была открыта широко: твори, публикуй да составляй томики на полку. Как бы не так! Все

помнят, какие это были годы: «доценты с кандидатами» уходили в российский «бизнес», певицы всюду трудились «челноками», а простые сельчане и вовсе потерялись в череде модернизаций и изменений форм собственности. «Монетизация» коснулась и самого литературного дела и сопутствующих организаций: издательств, типографий и книжной торговли. Все рассыпалось, как карточный домик... С горечью вспоминает Борис, как в те годы ему отказали во вступлении в Союз писателей: мол, нужно, как минимум, две изданные книги... Так, незаметно, и подступил XXI век, а затем и немощи для Бориса... И пришел для него печальный праздник... осени и души !..

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В одном из лучших стихотворений Бориса Овценова «Ностальгия» можно прочесть такие строки:

Лишь ценою потерь
Платим мы откровению
Постигая, чем жил,
Чем живет человек...

Думается, что не будет большой потерей то количество времени и неких материальных средств, необходимых для издания второй книги поэта Бориса Овценова. Естественно, для тех, кто захочет познать и внутренний мир этого «старомодного» поэта, и мир его стихов и образов, в них запечатленных. Ведь остались ещё рукописи, а также разбросанные по различным «периодичкам» отдельные стихи, жив и поэт с его замыслами и некими эфирными образами. Может, тогда и примут его в Союз писателей. Конечно, если он сам этого захочет...

P.S. Когда этот материал уже был подготовлен к печати, пришло печальное известие – Борис Овценов скончался. Случилось это 11 февраля 2010 г. По странному стечению обстоятельств именно в этот день на областном конкурсе художественного чтения, организованном в системе начального профессионального образования, прозвучало его стихотворение «Непришедшие» – о судьбе не захороненных останков солдат Второй мировой... Есть там и такие строки:

***Тропа беды не мною пройдена,
Но, когда гремит парад,
Забывшие осколки Родины
Кроваво душу бережат...***

ИЗ СТИХОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИК
«ЭТОТ ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»

ЗАКОН МЕРФИ

«Все плохое, что может случиться
На свете, – случается.
Бутерброд обязательно падает
Маслицем вниз!»
Если верить закону,
То в жизни нетрудно отчаяться.
И на крышу залезть,
И шагнуть сгоряча на карниз.
Но важнее, дружок, поразмыслив
На свежую голову,
Философски принять от судьбы
Невезенье и фарт.
Может, то и другое –
Лишь случая прихоть веселая.
Смех сквозь слезы пройдет.
Превратится трагедия в фарс.
Ограждая себя от беды
И решенья поспешного,
Ты в плохое не верь,
Хитрецам не заглядывай в рот.
Тот, кто этот закон
Для других сочинил, –
Был насмешником.
Он себе приготовил на завтрак
Другой бутерброд.

ПЕЙЗАЖ

Квадрат окна. А за окном –
Привычный, томский, наш,
Так узнаваемый во всем,
Обыденный пейзаж.

Многоэтажек новый ряд
На фоне тополей.
И пухом тополя пылят
По улице моей.

Хоть обновленность и в цене,
Но старину щадит.
От старых дворигов в окне
Вдруг сердце защежит.

Меняет Томск свой прежний вид,
И облик, и уклад.
Но все о том же – о любви –
Пейзажи говорят.

ОСЕННЯЯ СУББОТА

Суббота – отличный денек!
Осенний, сентябрьский – тем паче.

Он золото сыплет у ног.
Он пахнет вареньем на даче.

Он пашню лопатит, пыля,
Навоз добавляя на грядки.

Пусть будут в ладу и в порядке
Весною душа и земля.

Все то, что в жару совершить
Мы здесь не успели порою,

Суббота наладит, достроит,
Сработает и завершит.

Вот жёлтые стружки летят,
Кудрявясь, из-под рубанка.

И к вечеру топится банька,
И косточки греться хотят!

И воздух горчит от дымка
В костре догорающих листьев.
И жизнь, что как день коротка,
Намерена дальше продлиться!

ПЕСНЯ О СТРОЙОТРАДЕ

Это время пройдет.
И порой не ответишь
На известный вопрос
Сквозь словесный сумбур:
Что мы строили там,
На целинной планете?
Может, нашу надежду.
Может, нашу судьбу.

*Там наполнены дни
Сумасшедшею встряской:
Напряжением сил,
Ожиданием любви!...
Там остались дома
И бетонная трасса.
Там вечерней хвоей
Пахнут губы твои.*

Это лето прошло
По судьбе не напрасно.
На ладонях и в сердце
Остались следы, –
Чтоб хранила душа
Дни веселого братства,
Чтоб запомнился нам
Стройотряд молодым.

Грусть в глазах у ребят
На прощальной линейке.
Отшумел Стрежевой.
Флаг опущен – и вот...
Гаснут угли костра.
Нет тебя на скамейке.
И призывным гудком
В Томск зовет теплоход.

ОБЩАГА

В. Исаеву, А. Собанину

I
Ах, молодость, отстань!
Мне душу не тревожь.
Опять в коммуны «Рвань»
К друзьям меня зовешь –
Согреть нутро чайком,
И броситься в игру:
Гонять тряпичный ком
По снежному двору.
Вспомни, город мой узорчатый,
Вспомни, жажду утоли, –
Наши встречи, разговорчики,
Песни наших Натали!
Были мы тогда охальники,
Молодые, ё-моё!
Где ж вы, физики-механики,
Золотое мехамьё!

II
Ах, молодость, спроси:
Куда нас занесло?
Там пять счастливых зим
Студенческих прошло!
В общежитии, посмотри,
Горит, как прежде, свет.
Там песенки свои,
А наших песен нет.
Столько дней в общежитии прожито,
И ночей в сплошном чаду!
Сколько тропок нами хожено
В летнем Лагерном саду!
Жаль, сегодня неразборчивы,
И у памяти – вдали,
Наши встречи, разговорчики,
Песни наших Натали!..

III

Ах, молодость, прикинь:
Куда ты позвала?
Там горы, неба синь,
Там оттепель была.
С тех горочек-руин
Нам не раскатывать.
Остались там мои
Шестидесятые...
Всем, кто жил в коммуне вузовской,
Не заказан путь сюда.
Жаль, звучит другая музыка,
И не та горит звезда!..
Стали мы теперь печальники,
Пожилые, ё-моё!
Где же вы, друзья, причалили?
Что же мы теперь поем?

IV

Ах, молодость, прости!
О чем тут говорить?
В коммуну «Рвань» прийти,
Чтоб встречи повторить!
Как будто у костра
Над заводью речной,
Петь песни до утра
На лестнице ночной!..
Мне бы с Сашей и с Володею,
Да под семь гитарных струн,
Вспомнить старую мелодию
Про Наташку на ветру,
Чтобы, памятью влекомые,
Мы решили: по пути
В общежитие знакомое
На полчасаика зайти!

Сергей Данилов

Уничтоженная родина

В двадцатом веке с карты Томской области исчезло великое множество поселений. Судьбы их различны: некоторые сократили в хрущевские времена плановым порядком, некоторые вымерли сами, испытав полный отток молодежи в города. В данном случае речь пойдет о деревне даже не исчезнувшей, а уничтоженной в результате коллективизации.

Деревня Поперечная (Поперечное) Кожевниковского района Томской области располагалась в нескольких верстах от села Елгай, на речке Чубарке. Переименование произошло в 1930-х годах,

в эпоху коллективизации: тогда окончание всех здешних русских деревень с «а» заменили на «о», деревня Асина стало Асино, заимка Ворони-на превратилось в Воронино. Трудно сказать, с чем связана такая «украинизация» Сибири, возможно, чтобы какому-нибудь партийному начальнику, имевшему происхождение с Украины, было легче произносить непривычные названия.

Основал деревню в 50-х годах XIX века Сергей Мячин, которого моя мама, урождённая Мячина Вера Михайловна (1919 г.р.), называла «дедом Сергием», хотя он доводился ей со стороны отца прадедом.

Дед Сергей был сослан в Сибирь из Белоруссии на «вечное поселе-



ние» за то, что, будучи холопом – крепостным польского пана, подрался с ним из-за девушки и притом «сильно набил ему сопатку».

Историю семьи и деревни Поперечной мне рассказывали неоднократно, и каждый раз определенные выражения повторялись в точности, из чего можно сделать вывод, что при этом передавалось дословно, как говорил в том или ином случае сам дед Сергей, проживший длинную жизнь в 103 года. «Набил сопатку» – как раз одно из таких выражений.

В Сибири поселенец Сергей Мячин обрел желанную свободу, получил земельный надел, обзавёлся хозяйством. Когда женился и на ком – не знаю, однако хорошо известен факт, что после освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 году он совершил поездку на родину в Белоруссию и перевёз оттуда в Сибирь всех своих братьев с семьями.

Любимой песней его была «По Сибири я гуляю, поселенчик молодой!».

В зимнее время, свободное от основных крестьянских работ, дед Сергей занимался изготовлением телег, саней, дуг для лошадей. В березовых околках молодые березки сгибались нужным образом и росли так до определенного возраста, чтобы потом их не нужно было специально гнуть, делая полозья для саней и кошёвок.

Ежегодно, на Крещение, дед Сергей устраивал на речке Чубарке Иордань. То есть прорубал во льду большую «купель», рядом из снега строилась и замораживалась в лёд часовенка. И какой бы на улице ни стоял крещенский мороз, обязательно окунался на праздник в «купели» троекратно.

Гордился тем, что «никакая хворь не брала ни разу в жизни». Водки не пил, но брагу из проросшего зерна на зимние праздники потреблял ковшами. В обычные дни обходился колодезной водой. Работая на полях, пили родниковую, в окружающих берёзовых околках имелись небольшие роднички.

Чай дед Сергей отвергал, хотя для других членов семьи самовар кипятился. Был «мясоедом», как и все его потомки, без огромной чаши варёного мяса на столе семья обедать не садилась. Вспоминая это, мать всегда удивлялась, как это дед Сергей, потребляя большое количество жирного мяса (обычно баранины), запивал его в конце трапезы ковшом холодной воды и не имел при том никаких проблем с желудком.

Детей у него было много, один из них сын Пётр – дед моей матери, его она звала дедом Петрованом.

Петрован участвовал с русской армией в войне против Турции в 1877–78 годах на Балканах. Женился там на православной сербке, привёз её на родину в Сибирь, для всех своих потомков она стала бабкой Татьяной.

Деревенская кличка у Петрована была Бодай – он ходил слегка наклонив вперед голову, набычившись. И его потомков в деревне звали Бодаёвы, а детей многочисленного семейства Петрована – бодаятами. С дедом Петрованом моя мать, будучи маленькой, любила рыбачить на Чубарке. Возле деревни на речке была устроена запруда, в результате получилось озеро, в котором водились караси. На них ставили плетеные из ивы мордушки.

С вечера заплывем на плоту с дедом далеко, поставим мордушки у кустов, на другой вечер достанем их, а они полны карасей. Здоровенные такие рыбины, как слитки золота. А вода в Чубарке на закате малиновая-малиновая, чистая-пречистая.

Из сельскохозяйственных культур в Поперечном сеяли рожь, овёс, просо, лён, коноплю, горох. Огородные культуры: репа, морковь, свекла, картофель, лук, чеснок, мак.

Мать рассказывала, как увидела помидоры первый раз. Однажды её отец привез их из города Томска угостить семью в качестве заморского фрукта. Нарезал в чашку, посыпал сахаром. Дети пробовали, фыркали – никому не понравилось. Отец ел и нахваливал, но никто есть с ним те помидоры не стал.

Держали по много коров, лошадей и овец, домашней птицы. У отца, Мячина Михаила Петровича, к примеру, были три рабочие лошади и один конь выездной – Карька, который ходил только в дрожках. На нем ездили по гостям, на воскресные службы в церковь, находившуюся в деревне Елгай, там же проводились крещения, венчания и отпевания. (В начале двадцатых годов елгайская церковь была сожжена приезжими коммунарами. В огне сгорели все метрические записи вплоть до 1919 года. С 1920-го свидетельства о рождении стали выдавать в сельсовете).

Собак во дворах деревенских не было: «у нас брехать не на кого – все свои». Двери на замки не закрывались, даже когда семья в страду выезжала работать на дальние поля, где были построены для жизни «временки» с полатами.

Слово «собака» в языке отсутствовало, в ходу было «пёс», причем употреблялось исключительно в негативном смысле: «Ох, пёс, ох, пёс!» или «Брешешь, как пёс».

Пёс – слово славянское, привезено белорусскими переселенцами вместе с неприятной для бывших крепостных крестьян памятью о господских псарнях, шляхетской псовой охотой на лошадях, сопровождавшихся обычной потравой крестьянских посевов да польским любимым ругательством «Пся крев!».

В семье имелась маслобойка не только для коровьего молока, но и для производства масла из кедрового ореха. Зимой на базар в город из деревни уходили обозы с сельхозпродуктами, собиралось по двадцать-тридцать подвод зараз. Везли зерно, масло, мясо, орех, шерсть и молоко, замороженное кругами.

Мама моя, Аксинья Мячина (в девичестве Четверухина), умерла в 1921 году, когда мне двух лет не было, впоследствии отец женился на другой женщине, но в детстве я в основном жила у бабки Татьяны и деда Петрована. С нами жил и дед Сергей.

Под конец жизни он сделался белым как лунь, ссохся до небольшого ростика, но по-прежнему оставался очень подвижным. Работы никакой, естественно, уже не делал, ежедневно ходил по гостям, навещая многочисленную родню, жившую в окрестных деревнях и сёлах.

Встанет утром, умоется, молитву прочитает, позавтракает. Скажет – сегодня Миньку, пожалуй, навещу – и пешком идет километров за десять-пятнадцать. Туда придет, пообедает у Миньки, все новости об-

судит, со всеми переговорит, и назад. Ужинает дома. Назавтра к Ваньке собирается или Матрёне.

Умер, когда мама еще не ходила в сельскую школу, то есть приблизительно году в 1925-м. Учитывая возраст, получается, что родился дед Сергей где-то в 1822 году.

Ощутил жар, слёг и попросил вынести его лежанку в холодные сенцы, а на дворе октябрь. Однако его послушались и вынесли, но ему и там было жарко – наступила предсмертная горячка. Просил меня дать холодной воды из бочки, стоявшей там же, в сенцах: «Дай-ка, Верка, водицы похолодней». Я подносила.

Лет через пять после ухода основателя Поперечного из жизни новая власть приступила к разорению деревни. Уничтожение проводилось планомерно и всеохватно.

Задолго до этого в деревне на постой стали войска ЧОН (части особого назначения), не русские, а китайцы. Вооружённые и очень злые. Требовали своевременной и полной сдачи сельхозналога, введенного властями. Деревня была невеликая, менее ста дворов, а отряд большой, хорошо вооружённый.

Оккупированная деревня была обязана, кроме исполнения налога, также кормить и самих чоновцев.

Брат отца, дядя Иван, первым почувствовал беду, решил уехать из деревни в город. Он приходил к отцу несколько раз, долго его уговаривал, что в газетах пишут плохое, новости, которые рассказывают городские знакомые, тоже дурные – для деревни коммунисты в Москве прочат поголовную коммуну: отберут в общее пользование и коров, и лошадей, и землю, а это значит, что снова их сделают крепостными.

Но Михаил Мячин не поверил и, как многие другие его родственники, решил остаться на родной земле.

Дядя Иван за неделю всё распродал, уехал в Томск, его семья не была сослана в Нарым.

Взрослые старались с китайцами не контактировать, но детей же не остановишь, ребяташки дразнили тех: «Ходя, соли хочешь?». Это было какое-то китайское ругательство, и солдаты бегали за детьми по деревне. Один длинный особенно злой был, через всю деревню бежит, аж за околицей догонит и ухо оторвёт. У многих детей мочки ушные китайцы поотрывали. Не зря поговорка появилась в то время: «я тебе уши наде-ру». Никогда прежде русские люди не видели такой жестокой азиатчины, чтобы детей уродовать – уши им рвать, красные чоновцы-китайцы показали».

Однажды к нам в Поперечное приехала «тройка» – коммуну организовывать. Не колхоз, а именно коммуну. Это был год 1929–30 приблизительно, до колхозов недолго оставалось. Три комиссара с продотрядом прибыли. Они и очередной налог повышенный привезли заодно. Коммунаров обещали от всех налогов освободить. Главной среди тех комиссаров оказалась женщина, она командовала и отрядом, и другими двумя комиссарами.

В деревне в то время жил один-единственный, выделенный властью «бедняк-активист» Пашка Мишин. Жил он с женой Марфой в сво-

ем доме, имел, как и все прочие надел земли, но пашню не пахал: то ли не имел склонности к крестьянскому труду, то ли из-за непомерной лени. Говорил, что живёт как Иисус Христос, наперёд не загадывая: будет день – будет пища.

Мужики ему объясняли, что Иисус Христос в Палестинах жил, а в Сибири человек, как птичка, не проживёт: от мороза замерзнет. Что у нас только в поте своем человек может выжить и семью свою накормить, но тому как об стенку горох.

Про бесхозяйственность Пашкину в деревне даже прибаутки были:

«Лежит Пашка на печи и говорит:

– Пойти, что ли, поработать, от крыльца снег откинуть?

– Это как люди пустят, – отвечает Марфа.

– Какие такие люди?

– Так мороз на дворе, Паша, надо идти сначала шубейку у кого испросить. А не дадут соседи шубейки, значит, и не пустят тебя снег кидать».

Но имелось у Пашки занятие, за счет которого выживал зимой: вечерки устраивал у себя дома для молодежи деревенской. Раньше по очереди проводили посиделки: сегодня в одном дворе, завтра в другом: девки пряжу прядут при лучине, парни сказки рассказывают.

А со временем, при китайцах-то, у Пашки стали часто проводить: детей у того не было, можно гулять хоть круглыми сутками. Марфа самогонку где-то научилась гнать. Несла молодежь к ним кто дрова, кто курицу, кто картошку, кто что. Пряжа уже побоку – с вечера пир горой начинается, самогонка, пьянка-гулянка, танцы до глубокой ночи. Даже с ночевой некоторые оставаться начали, бордель Пашка открыл, вроде нынешних ночных клубов. Скандалы в деревне начались в семьях. Нескольких Пашкиных молодых активистов и активисток заявление в комсомол написали, что жить хотят по-коммунистически, коммуной значит, что бы всё у них общего пользования было.

Вот и приехала та «тройка» коммуны в Поперечном организовывать.

А главная их комиссарша и лицом, и повадками – вылитая Лолита из передачи «Без комплексов» с Первого телеканала. Такая же наглая и бесстыжая. Я как её увидела первый раз, когда она ещё в какой-то рекламе со своим Сашей под одеялом кувыркалась, сразу ту комиссаршу вспомнила. Нынче они неполноценными комплексами совесть объявили, да честь, да скромность, и тогда то же самое вытворяли. Вела себя баба-комиссарша так распущенно, что смотреть боязно: на шею своим продотрядовцам вешалась-обнималась со всеми подряд, заголялась прилюдно, вот точь-в-точь Лолита на концертах.

Объявили деревенский сход, на котором комиссарша выступила и объявила организацию коммуны в деревне Поперечной, Пашка Мишин стал записывать желающих жить вместе, одним двором и парней и девок, чтобы и спать, и есть, и петь совместно, революционно.

Тятя мой, Михаил Петрович, возьми и назови комиссаршу на деревенском сходе прямо в глаза «блядью», а коммуны их «содомом». Тут же арестовали всех нас за оскорбление власти. Мне тогда лет десять было, я с ними жила, с Галинкой водилась: Манечке годика четыре, Галинька еще не ходила.

Тут же приговор зачитали: полная экспроприация и три года ссылки. Все в доме реквизировали, даже сиротский сундук – мамино приданое, с которым она за тятю замуж выходила. После маминой смерти он мне остался. Маму я не помнила, а сундук открою, там платья её, сарафаны, кофточки – так хорошо мамой пахнет.

Бабка Татьяна кричала: всё возьмите, сиротский сундук не трожьте! Нет, забрали и сундук.

Увезли нас в телеге без ничего на пристань под китайскими штыками, там таких же ссыльных всех вместе на пароходе дальше отправили. В десять лет оказалась рабой на таёжном лесоповале – сучкорубом работала. Когда кто начинает говорить, что чекисты о детях заботились, в морду тому так и хочется плюнуть.

Как нам потом рассказали, коммуна в нашем доме разместилась. Поселились коммунары в тятином пятистенке, стали жить: скот резать, мясо жарить, самогонку пить и по деревне ходить – матерные частушки орать. Коня Карьку загнали. Куда-то шибко летели-торопились, приехали и сразу водой напоили, тот исдох. Синеблузники к ним приезжали городские, спектакль ставили про буржуев. Короче, проели-пропили все чисто под метелочку, разбежались по своим домам обратно. Кончилась на том коммуна. В нашем доме тогда «красную избу» организовали. Революционные дни праздновали, да сожгли по пьяному делу. Горелый сруб в колхозные времена трактором оттащили к Чубарке, там долго стоял никому не нужный.

Ныне про коммунистическую теорию «стакана воды» либо умалчивают, либо поминают нехотя: дескать, заблуждения революционного романтизма. Сами очень хорошие люди были: чистые, смелые, за народное счастье боролись.

На самом деле коммунисты объявляли женщину-жену товаром, находящимся в собственности у мужа и громко протестовали против сего, борясь за право женщины... быть товаром, но общего пользования, чем-то вроде стакана воды, из которого может пить любой мужчина, а не только муж.

Именно через коммунальное житье коммунисты намеревались уничтожить семью и прийти к коммунизму – *Коммуне Всеобщей*. Общежитие виделось кремлёвскому руководству повсеместным и всеохватным способом существования народных масс. Семья должна исчезнуть, ей объявлялась беспощадная война как «отрыжке буржуазного строя», закрепляющей жену собственностью одного мужа. Нет, женщина должна принадлежать всему коллективу!

Раствление пропагандировалось и внедрялось в сознание масс с самых высоких трибун, как ныне сексуальная порнография с телеэкранов.

Так в 1923 году известная большевичка, «фурия революции» А. Коллонтай написала даже своего рода эротический манифест новой пролетарской власти «Дорога крылатому Эросу» («Молодая гвардия, № 3, 1923): «Для классовых задач рабочего класса совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. Главное в новом обществе – «все для коллектива».

Города наполнялись образцово-показательными коммунами, идеи коммунального бытия изо всех сил проталкивались и в деревне, ибо коммуны действительно являлись самым совершенным орудием уничтожения семьи, а заодно превращения народа в деструктурированные рабские массы, которыми легко управлять, неважно, городские они или сельские.

Семья – основа нации и народа, именно в ней хранятся традиции, моральные основы, происходит воспитание человека, формирование его морального облика. Деграция семьи была необходима коммунистам, чтобы вместо народа получить рабские массы, не способные к сопротивлению.

Однако, к большому неудовольствию творцов нового общежития, образцово-показательные коммуны сразу стали рассадниками венерической заразы.

Писатель В. Зазубрин описывает плоды этой «сифилизации партии» в рассказе «Общежитие»:

«... осмотр членов партии и комсомола... одеяла вонючи и грязны... пахнет ночными горшками... захватано все тело. Все зацеловано, захватано, все было... Спинек нагая лежит...»

– Ну?

– Вы были близки со Спинек, и я был с нею близок. У Спинек сифилис, у меня сифилис, у моей жены сифилис. У вас и у вашей жены, и у Паши, и у Берты Людвиговны тоже сифилис, и у наших детей».

Интересно, что ругали Зазубрина критики данного произведения за то, что «автор не смог выбраться из реакционных оков семьи» (Кохи), «Автор зовёт к старому, к реакционному быту, к укреплению семьи и брака» (Попов). Впоследствии Зазубрина расстреляли за его «реакционное» творчество, показанную им «сифилизацию» партии, чекистские расстрелы гражданского населения (повесть «Щепка»): власть желала сокрытия страшных итогов социального эксперимента, который она произвела над захваченным при помощи вражеских иностранных легионов населением страны.

К концу 20-х годов ленинисты прекрасно понимали, что коммуна действительно ведет к «сифилизации», но коммунизацию крестьянства продолжали изо всех сил. Лишь к 1930 году было решено предпочесть «коммунизации» глобальную крепостническую коллективизацию крестьянства: хата пусть твоя остается, жена ладно, так и быть, тоже, а вот коров, лошадей, землю, инвентарь сдай в колхоз и сам отныне будешь работать только на него.

При такой постановке вопроса деревня Поперечная оказалась обреченной на уничтожение: свободолюбивый местный народ с его нежеланием «околхозиться» стал властям поперёк горла.

Слишком хорошо здешние жители помнили рассказы деда Сергия о незавидной холопией доле, посему записывать себя и своих детей в новое крепостничество под названием «Новый мир» (колхоз с таким названием был создан Пашкой Мишиным в деревне), желающих нашлось много. Как и во всей Томской области.

Сотни тысяч деревень в Сибири и России были уничтожены при осуществлении целенаправленного геноцида русского крестьянства.

Всех несогласных поголовно, от старого до малого, партийное начальство (руководил Западной Сибирью красный немец Роберт Эйхе) объявили специальным законом кулацким отродьем, и под красными штыками китайских наёмников, лишив имущества, земли, прав, сослали голыми и сырими в Нарымскую каторгу.

Нарымское отделение НКВД, кстати говоря, совсем не случайно возглавлял красный австрияк Иштван Мортон, так же как и Эйхе воевавший против России в Первую мировую, попавший в русский плен и остро ненавидящий русских. Начальствующие посты им были даны в награду за участие в Гражданской войне в 5-й Армии, почти целиком состоявшей из бывших пленных германо-австрияков, кадровых солдат и офицеров. Командовал 5-й Армией, бравшей в декабре 1919 году Томск, Генрих Эйхе. Из 2 млн 200 тысяч пленных германцев по договору с Германией, Троцким в 1918 году было сформировано 700-тысячное войско, называемое «красными мадьярами», ставшее основной ударной силой 5-миллионной Красной Армии. В Томске до сих пор одна из улиц носит название 5-й Армии – германского легиона в Сибири, установившего здесь советскую власть.

Большевистская политика в отношении крестьян была проста, как топор палача: кто не согласен добровольно становиться крепостным по месту жительства, коминтерновская власть объявляла своими рабами-спецпоселенцами насильно.

Приведу несколько выборок из Интернета по фамилии Мячиных из деревни Поперечной, Кожевниковского района Томской области, пострадавших от репрессий. Детей и взрослых:

• **Мячин Андрей Григорьевич**

Родился в 1929 г. Проживал: д. Поперечная Кожевниковского р-на.

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Каргасокский р-н.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячин Григорий Ильич**

Родился в 1898 г., Томская обл., Кожевниковский р-н, д. Поперечная; русский; образование начальное; б/п.

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Каргасокский р-н.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячин Иван Васильевич**

Родился в 1875 г., Томская обл., Кожевниковский р-н, д. Поперечная; русский; неграмотный; б/п; строительно-учебный центр, плотник. Проживал: Томск.

Арестован 17 сентября 1937 г.

Приговорен: 13 октября 1937 г., обв.: «Союз спасения России».

Приговор: расстрел. Расстрелян 23 октября 1937 г. Реабилитирован 8 июня 1989 г.

Источник: «Книга памяти Томской обл.»

• Мячин Иван Михайлович

Родился в 1902 г., Томская обл., Кожевниковский р-н, д. Поперечная; русский; образование начальное; б/п; колхоз «Новый мир», колхозник. Проживал: Томская обл., Кожевниковский р-н, Поперечная д.

Арестован 30 октября 1937 г.

Приговорен: 13 ноября 1937 г., обв.: ст.58-02, КРА.

Приговор: 10 лет, 5 лет поражения в правах. Реабилитирован в июне 1963 г.

Источник: «Книга памяти Томской обл.»

• Мячин Иван Федорович

Проживал: Кожевниковский р-н.

Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Томской обл.

Источник: УВД Томской обл.

• Мячин Илья Васильевич

Родился в 1876 г., Томская обл., Кожевниковский р-н, д. Поперечная; русский; неграмотн; б/п; ТИИ, рабочий. Проживал: Томск.

Арестован 15 сентября 1937 г.

Приговорен: 15 октября 1937 г., обв.: «Союз спасения России».

Приговор: расстрел. Расстрелян 26 октября 1937 г. Реабилитирован 6 апреля 1989 г.

Источник: «Книга памяти Томской обл.»

• Мячин Николай Федорович

Проживал: Кожевниковский р-н.

Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум.

Источник: УВД Томской обл.

• Мячин Степан Федорович

Родился в 1926 г. Проживал: Кожевниковский р-н.

Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Томской обл.

Источник: УВД Томской обл.

• Мячин Федор Григорьевич

Родился в 1930 г. Проживал: д. Поперечная Кожевниковского р-на.

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение – в Каргасокский р-н, ум. в 1931.

Источник: УВД Томской обл.

• Мячин Федор Никитич

Родился в 1886 г. Проживал: Кожевниковский р-н.

Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Томской обл.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячин Яков Васильевич**

Родился в 1875 г., Томская обл., Кожевниковский р-н, д. Поперечная; русский; неграмотный; б/п; горосоавиахим, плотник. Проживал: Томск.

Арестован 25 сентября 1937 г.

Приговорен: 13 октября 1937 г., обв.: «Союз спасения России».

Приговор: расстрел. Расстрелян 23 октября 1937 г. Реабилитирован в июне 1989 г.

Источник: Книга памяти Томской обл.

• **Мячина Акси́нья Ивановна**

Родилась в 1903 г. Проживала: Кожевниковский р-н.

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Каргасокский р-н. Томск.обл.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячина Акулина Филатовна**

Проживала: Кожевниковский р-н.

Приговорена: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячина Валентина Григорьевна**

Родилась в 1925 г. Проживала: д. Поперечная Кожевниковского р-на.

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Каргасокский р-н.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячина Ксения Ивановна**

Родилась в 1901 г. Проживала: д. Поперечная Кожевниковского р-на.

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение – в Каргасокский р-н.

Источник: УВД Томской обл.

• **Мячина Мария Григорьевна**

Родилась в 1921 г. Проживала: Кожевниковский р-н.

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Каргасокский р-н.

Источник: УВД Томской обл.

• Мячина Таисия Федоровна

Родилась в 1919 г. Проживала: Кожевниковский р-н.

Приговорена: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение в Томской обл.

Источник: УВД Томской обл.

• Мячина Таисья Григорьевна

Родилась в 1925 г. Проживала: д. Поперечная Кожевниковского р-на.

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).

Приговор: спецпоселение – в Каргасокский р-н.

Источник: УВД Томской обл.

Таким образом, «благодаря неустанным заботам партии и правительства», деревня деда Сергия была стёрта с лица земли.

После войны в Поперечном из жителей оставался лишь прежний «активист», комбедовец Пашка Мишин.

Я приехала на родину, увидела кругом запустение и развалины, Чубарка пересохла в грязную лужу. Решила надавать по морде Пашке за сиротский сундук. Зашла к ним. Пашка старый стал, но узнал, когда назвала себя, обрадовался, закричал: «Марфа, Верка Бодаёва пришла, давай, тащи чугунок! Ложек найти не могу, где у нас ложки?». «Вчерась на сеновале видела». «Эх, – говорю, – Пашка, как был ты дрянью подзаборной, таким и остался». Ушла, не стала руки об него марать.

Отбыв трёхлетний срок за оскорбление комиссарской личности на каторге-лесоповале, семья возвратилась, но уже не в родное Поперечное.

Имущества никакого у них не было, перебивались по чужим баням. В колхоз так и не записались, хотя можно было, жили случайными заработками, голодали.

Мать моя в шестнадцать лет ушла жить в Томск. Из документов у неё была только лагерная справка, клеймо «врага народа». Она ее выбросила, пошла в милицию, сказала беспризорницей, сиротой. На медкомиссии врачи определили ей возраст по зубам – 16 лет, и тогда в милиции выдали чистый паспорт.

С началом Великой Отечественной войны Михаил Петрович (1891 г.р.) в пятидесятилетнем возрасте был призван рядовым на фронт, в пехоту, воевал с немцами, снова собравшихся сделать из славян рабов, был тяжело ранен в голову и правую руку. В госпитале врачи хотели руку ампутировать, он не дал: «Как без руки буду работать?». Гангрены не случилось, хотя пальцы на руке свело в кулак, который не разгибался, но косить приспособился. Шутил: «Вот когда только стал настоящим кулаком».

После войны жил в Больших Ключах, Малых Ключах, Воронине. Вел свое хозяйство, держал корову, овец, садил много картошки, накапывал до двухсот «кулей», в колхозе не соглашался работать даже сторожем.

В конце шестидесятых годов косили с ним сено у болота. Трава –

сплошная осока, я ему говорю: «Что же ты, дед – инвалид войны, кровь на фронте проливал, боевых медалей – несколько горстей, а покос тебе на болоте выделили, разве мало вокруг хороших участков?».

Он усмехнулся невесело: «Так, вишь, какое дело, не колхозник я по крови. Никогда им не был и никогда не буду. Сельсоветские про то прекрасно знают, и хоть дать покос инвалиду войны обязаны, выделяют, где похуже. Как говорится, в воспитательных целях. Чего с них взять? С паршивой овцы – хоть шерсти клок».

Нынче деревни Поперечной нет в Томской области ни на карте, ни в действительности. Говорят, осталось старое кладбище. Где-то на нём в безымянных могилах лежат бывший панский холоп и сибирский поселенец дед Сергей, ценивший свободную жизнь превыше всего на свете, освободитель славян от турок дед Петрован, сербиянка бабка Татьяна, бабушка Аксинья. Умирая, мать просила схоронить её на кладбище в Поперечном, но я не решился везти на исчезнувшую родину: кладбище старое, никто за ним не следит, могут взять да распахать в любой момент под какую-нибудь очередную кукурузу.

Не выполнил просьбу, похоронил в Томске.

**Сергей Константинович
ДАНИЛОВ**

Родился в Барнауле в 1956 году. Окончил мехмат ТГУ, работал программистом на различных предприятиях. Печатался в журналах «Алтай», «День и Ночь», «Начало века», «Сибирские огни».

Член Союза российских писателей». Живёт в Томске.

**Борис
ИВАНОВИЧ
(псевдоним)**

Родился в 1954 году на севере Томской области. Образование филологическое и историческое. Ранее не публиковался.

**Владимир Иосифович
ИЛЬИНЫХ**

Родился в 1948 году в Алтайском крае. Окончил исторический факультет Пермского государственного университета. Работал редактором районной газеты. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса» и других изданий. Живёт в селе Быстрый Исток Алтайского края.

**Елена Николаевна
КИРИЛЛОВА**

Родилась в г. Хабаровске, выпускница ТГУ, кандидат физ.-мат. наук, доцент. Член Союза российских писателей, автор двух поэтических сборников.

**Борис Николаевич
КЛИМЫЧЕВ**

Родился 1 июня 1930 года в Томске. Поэт и прозаик. Один из самых значительных представителей историко-приключенческой прозы. Автор романов: «Томские тайны», «Прощаль», «Корона скифа» и многих других. Почётный гражда-

нин г. Томска. Член Союза писателей России. Живёт в Томске.

**Елена Викторовна
КЛИМЕНКО**

Поэт, автор книг «Неуместные письма», «В подстрочнике мая», «Время витья гнёзд». Родилась в Первомайском районе Томской области. Окончила Томский приборостроительный техникум, факультет прикладной математики ТГУ. Член Союза писателей России. Живёт в Томске.

**Олег Валентинович
ЛАПШИН**

Родился в пос. Шпалозавод Парабельского района Томской области в 1963 году. Выпускник ММФ ТГУ, доктор физико-математических наук. Поэтическая книга «Лировый месяц» (Томск, 1994). Публикации стихов и рассказов в альманахе «Каменный мост» (2004 –2007). Книга прозы «Набор сувениров» (2008).

Член Союза российских писателей.

Живёт в Томске.

**Ирина Михайловна
НЕКЛЮДОВА**

Поэт и прозаик. Автор книг стихов: «Рифы радости», «Живая свеча», «Всё чаще чудо снится». Родилась в с. Белоусово Томского района Томской области. Закончила исторический факультет Томского государственного университета. Работала учителем, воспитателем. Живёт в Томске.

**Леонид Николаевич
ПОПОВ**

Родился 25 августа 1947 года в пос. Вохма Костромской области. Окончил Московский геолого-

разведочный институт в 1974 году. Автор трех поэтических книг. Член Союза писателей России. Место жительства – пос. Вохма Костромской области.

**Сергей Александрович
ПОТЕХИН**

Родился 14 июня 1951 года в деревне Костоме Галичского района Костромской области. Учился в педагогическом училище, работал в колхозе. Печатался в журналах «Юность», «Огонек», в «Литературной России». Автор поэтических книг: «Молодой бобыль», «Слеза на песке», «Снежная баба» и др.

Член Союза писателей России. Живет в родной деревне.

**Сергей Борисович
СМИРНОВ**

Родился 11 мая 1957 г. в г. Татарске Новосибирской обл. Писатель.

Автор многих романов: «Спаситель мира», «Собачий бог», «Дети погибели» и др.

Умер 19 декабря 2009 г. в Томске.

**Татьяна Георгиевна
ЧЕТВЕРИКОВА**

Поэт. Автор тринадцати книг стихов. Член редколлегии журнала «Сибирские огни». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Омске.

**Валентина Анатольевна
ЧУБКОВЕЦ**

Родилась в п. Батурино Асиновского района Томской обл. Окончила техникум по специальности «технолог общественного питания».

Публиковалась в пяти коллективных сборниках. Автор книги «Стихи разных лет».

Живет в Томске.

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал
Издание томских писателей

Главные редакторы

Г. Скарлыгин

В. Крюков

Вёрстка журнала

М. Шарвэ

Корректоры

В. Дмитриева, Н. Синявская

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12–14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС121331 от 21 марта 2007 года.
Выдано управлением Росохранкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу. © Составление и оформление: «Начало века», 2010 г.

Формат 70x108¹/₁₆. Гарнитура ScoolbookC, PragmaticaC.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 406.
Отпечатано в ОАО «Издательство «Красное знамя».